

ВЕСТНИК
ШКОЛЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Общая тетрадь



Москва 2016

Издание выходит
раз в квартал

Редакционный совет:

А.Н. Архангельский
Е.В. Барabanов
И.М. Бусыгина
С.А. Васильев
А.В. Макаркин
М. Мертеc (ФРГ)
С.В. Мошкин
Е.М. Немировская
В.А. Рыжков
Ю.П. Сенокосов
А.Ю. Согомонов
А. Хиль-Роблес (Испания)
Дж. Хоскинг (Великобритания)

Главный редактор: *Ю.П. Сенокосов*

Ответственный секретарь: *С.А. Максимов*

Художественный редактор: *Людмила Иванова*

Верстка: *Валерия Козак*

Фото: *Олег Начинкин*

*Издание этого номера журнала осуществлено при поддержке
НО «Благотворительный фонд культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова)»,
группы компаний «Рольф».*

Содержание

№ 1–2(70) 2016

К читателю

Правозащита – искусство невозможного 5
Михаил Федотов

Тема номера

Обществу граждан — гражданское просвещение 8
Юрий Сенокосов

Право и просвещение 16
Арсений Рогинский

Вызовы и угрозы

Игроки покидают поле 21
Юрген Хабермас

Война и мир

Хотят ли русские войны 30
Андрей Колесников

Европа и Россия

Правовой диалог, мораль и трудности перевода 41
Елена Лукьянова

Почему Россия (не) Европа 46
Василий Жарков

Точка зрения

Российское общество: чувства и ожидания 59
Алексей Макаркин

Российское общество: ценности и действия 69
Элла Панеях

История учит

Томас Гоббс и укрощение Левиафана 78
Андрей Захаров

Универсальные ценности 88
Леон Конрад

Гражданское общество

Гражданское образование в контекстах мировой истории
Александр Согомонов 102

Дискуссия

Конфликт мировоззрений: попытка иррационального объяснения
Иван Ниненко 129

Об иррациональном объяснении
Родион Гаршин 136

Горизонты понимания

Институты и демократия в современном мире: Бразилия – от успеха к провалу
Татьяна Ворожейкина 144

Наш анонс

Что дальше? Выживание в XXI веке
Кристофер Паттен 162

Книги

Раскаявшийся коммунист
Андрей Захаров 172

Контрапункт
Александр Волков 174

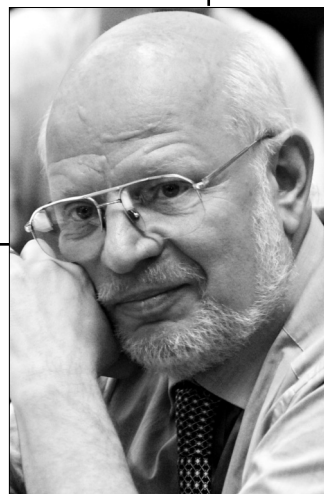
Nota bene

Бабочка на стекле, или Похороны факта
Денис Драгунский 183

От горожанина к гражданину: долгий путь к «гражданству»
Максим Трудолюбов 187

В оформлении этого номера журнала использованы работы авторов из Великобритании, Ирана, Испании, Италии, КНР, Мексики, Польши, Португалии, России, США, Франции, ФРГ.

Правозащита – искусство невозможного*



*Михаил Федотов,
председатель Совета
при президенте РФ
по развитию
гражданского общества
и правам человека*

Учитывая то, что все мы участвуем не просто в правозащитной, а в юбилейной конференции, посвященной 40-летию Московской Хельсинкской группы, я хотел бы посвятить свое выступление обоснованию следующего тезиса —

«Правозащита есть искусство невозможного». Искусством возможного, как мы знаем, обычно называют политику. И для этого есть весомые основания. Во-первых, политик никогда не будет стремиться осуществить невозможное, поскольку он как прагматик точно знает, что результат никогда не покроет затраты. Во-вторых, политик всегда будет стремиться реализовать только возможное и извлечь из него для себя максимальную выгоду.

В правозащите всё как раз наоборот. Сорок лет назад группа советских, но антисоветски настроенных граждан образовала Московскую Хельсинкскую группу, официально назвав ее «Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР». Людмила Михайловна Алексеева заметила в своей книге «Поколение оттепели», что это название звучало «довольно иронично» (с. 292). Но в этой идее была своя четкая логика: «Отчет группы — писала Людмила Михайловна, — это экспертный документ, его нельзя будет проигнорировать, как это бывало с эпизодическими обращениями правозащитников. Нарушение перечисленных в гуманитарных статьях прав граждан перестанет быть внутренним делом.

Значит, используя давление Запада, можно вынудить власти вступить в диалог с нами» (с. 293).

Обратим внимание на это симптоматичное признание: это не Запад использовал правозащитников, как утверждала советская пропаганда, а правозащитники использовали Запад, чтобы защищать права человека в своей стране.

* Выступление 12 мая 2016 г. на юбилейной конференции, посвященной 40-летию МХГ.

Так что это было: политика или правозащита? С одной стороны, речь шла о том, что прямо вытекало из Итогового акта СБСЕ, — об общественном контроле за соблюдением прав человека страной — участницей Хельсинкского процесса. С другой стороны, в Советском Союзе Конституция, не говоря уже о текущем законодательстве, не упоминала о правах человека, а, следовательно, миссия общественного контроля за соблюдением того, чего нет, носила чисто правозащитный характер, то есть была совершенно невыполнима.

Почему эта инициатива стала поперек горла советским руководителям? На этот вопрос четко ответило Телеграфное агентство Советского Союза, сделав официальное заявление, которое красочно описал Юрий Федорович Орлов в своей книге «Опасные мысли». «В нем (в заявлении. — *Ред.*) утверждалось, — пишет он, что советское правительство не против наблюдения за соблюдением Хельсинкских соглашений (это была ложь, замечает Орлов). Важно, однако, кто этим занимается (это была правда). Занимается Орлов, профессиональный антисоветчик, давно забросивший науку (это была ложь). Группа же его — антиконституционна (и это была чистая правда; по советской Конституции всякая организация должна быть руководима Коммунистической партией)» (с. 183).

Пожалуй, я соглашусь с тогдашним заявлением ТАСС в том, что первостепенное значение имеет ответ на вопрос: кто занимается контролем за соблюдением прав человека. Действительно, кто были эти люди? Мы знаем их имена, знаем профессии: физик Юрий Орлов, редактор Людмила Алексева, математик Натан Щаранский, журналист Алик Гинзбург, рабочий Анатолий Марченко и т.д. Мы знаем, что все они были людьми с собственной, причем весьма критической, позицией по отношению к советскому тоталитарному режиму, то есть инакомыслящими, иным словом, диссидентами. Но разве быть инакомыслящим и быть правозащитником — это одно и то же? Разве «диссидент» и «правозащитник» синонимы? Не уверен, что это так однозначно.

Берусь предположить, что любой настоящий правозащитник в большей или меньшей степени является инакомыслящим, то есть человеком, выбивающимся из общего потока. «Диссидент, — написала Людмила Михайловна Алексева в уже упоминавшейся книге “Поколение оттепели”, — служил молчаливым — или не молчаливым — напоминанием о том, что у человека есть выбор и что есть люди, которые не боятся вести себя как граждане». (с. 251).

Но далеко не каждый диссидент является правозащитником. Он может быть, например, радикальным националистом или сторонником насильственных действий ради достижения общественного блага, как он его понимает. Напротив, правозащитник — всегда миротворец. Он всегда следует тропой Махатмы Ганди, а не Хо Ши Мина или Че Гевары.

И на этой тропе он оттачивает свое искусство пробивать бетонную стену теннисным мячиком. Можно ли пробить ее теннисным мячиком? Разумеется, это невозможно! Но в микромире, где вместо мячиков летают элементарные частицы, такое не просто возможно, но и является обычным делом, для которого придуман даже специальный термин — «туннельный

эффект». И нечто подобное как настоящее чудо — просачивание мячика сквозь бетон через «окно возможностей» — бывает в том мире, где живем мы. Однако сотворить такое чудо под силу только подлинным мастерам реализации искусства невозможного, то есть правозащитникам.

Чтобы понять природу искусства сотворять невозможное, нужно представить себе искомый результат как событие, вероятность которого ничтожно мала и зависит она от того, по какому сценарию пойдет процесс. При этом на выбор сценария в свою очередь влияют флуктуации, то есть очень небольшие, малозначимые с исторической точки зрения процессы.

Наиболее сильное влияние на ход процесса едва заметные как внешние, так и внутренние флуктуации оказывают в условиях так называемого *переходного периода*, который можно уподобить состоянию неустойчивого равновесия, когда общество может теоретически *свалиться* в любую сторону. И хотя до завершения переходного периода в принципе сохраняется возможность возвращения к изначальному состоянию, по мере продвижения к концу переходного периода могут возникать все более и более мощные воздействия, чтобы повернуть процесс трансформации вспять или отклониться от него. Вот почему правозащитники особенно востребованы именно в переходные периоды, когда людям так нужно чудо.

Именно такой переходный период мы переживаем последние четверть века. Но Московская Хельсинкская группа родилась на 15 лет раньше, в период, который официально назывался развитым социализмом, а неофициально — концом света в отдельно взятой стране. Полагаю, что в самом словосочетании «конец света» есть определенность и законченность, некая окончательная стабильность, подобная той, что обретает трамвай на конечной остановке маршрута. И только правозащитники не отчаивались перед фундаментальностью этой законченности, а продолжали нащупывать «окна возможностей» для перемен.

И стена рухнула. Конечно, ее повалил не Андрей Дмитриевич Сахаров, а прежде всего Горбачев и Ельцин. Но без Сахарова, без его идей и морального влияния, то есть без самых мизерных, по советским понятиям, флуктуаций, не было бы ни того Горбачева, который разрушил Берлинскую стену, ни того Ельцина, который дал России новую, поистине правозащитную Конституцию.

Повторюсь, в переходный период правозащитники особенно нужны. И я счастлив, что в президентском Совете по правам человека есть столько прекрасных правозащитников, для которых это не профессия, а миссия, которая никак не зависит от должности или членства в чем бы то ни было. Многих из них я вижу сегодня в этом зале. И я с удовольствием уступаю эту трибуну им.



*Юрий Сенокосов,
основатель
Школы
гражданского просвещения*

Обществу граждан — гражданское просвещение

Нет сомнения, что жизнь, когда мы ее чувствуем и переживаем, не сводится к экономике и политике или к безопасности; мы не воспринимаем ее в терминах экономических или политических теорий, как результат работы существующих институтов. Реальную жизнь мы воспринимаем скорее как события и явления, повседневность самой жизни или, как сказал бы философ, в терминах человеческих возможностей, которым сопутствует «смысл» и которые можно ассоциировать с такими понятиями, как «любовь», «совесть», «покаяние», «возрождение», «просвещение», «собранность». Так как известно, мы либо собираем свою жизнь в нечто осмысленное, либо бессмысленно ее тратим.

Девиз нашей Школы «Обществу граждан — гражданское просвещение».

Почему именно просвещение? Потому что, получив паспорт и являясь формально гражданами, молодые люди не всегда и не сразу становятся взрослыми в силу разных причин. Назову лишь одну из них, исходя из моего опыта жизни в СССР, — государственная патерналистская опека.

Хорошо известно, как эта опека осуществлялась. С помощью террора и идеологии, которая в своем развитии дошла в какой-то момент до такого состояния, когда ее эффективность уже не зависела от того, разделяли люди эту идеологию или не разделяли. Она, как говорят в таких случаях, сработала, и в результате было разрушено словесное пространство. Произошло разрушение языка, говорил по этому поводу Мераб Мамардашвили, и вам оставалось только подмигивать друг другу — пожалуйте. А когда вы хотели узнать, что думаете сами, вы не могли этого сделать в силу отсутствия в обществе навыка независимого мышления. Возник так называемый синдром публичной немоты.

Итак, механизмы установления зависимости общества от государства, казалось бы, известны — идеология и пропаганда. Причем идеология может быть не только поли-

тическая. Существуют ли в таком случае какие-то пути преодоления диктата идеологии и освобождения от опеки и пропаганды?

Перефразирую вопрос: можно ли знать то, чему не учился и о чем не думал? О государстве, которое может вызывать уважение, а не страх или ненависть своим произволом. О власти, достигающей поставленных целей не из-за недоверия и страха перед народом, а из знания того, как сохранить общественное спокойствие. О необходимости свободы — во всех случаях жизни — публично пользоваться своим умом.

Сошлюсь на одно из посланий древнеримского поэта Горация, в котором говорится: «Чтобы зарезать человека, разбойник встанет до света. Так неужели ты не проснешься, чтобы уберечь себя? Стоит ли уподобляться глупцу, ждущему, когда мимо него протечет вся река, чтобы перейти на другой берег? Не лучше ли немедленно начать упорядочивать свою жизнь, чем ждать, пока она кончится? Тот, кто начал, сделал уже половину дела. Дерзни мыслить — *Sapere aude!* Решись!»

Sapere aude! — имей мужество пользоваться собственным умом! — провозгласил спустя почти две тысячи лет после Горация Иммануил Кант в эпоху Просвещения.

Что он имел в виду? Ведь заставить человека стать просвещенным невозможно.

В статье «Ответ на вопрос: что такое просвещение?» Кант писал: лень и трусость — вот причины того, что большинство людей остаются всю жизнь несовершеннолетними; и по этой же причине так легко другие присваивают себе право быть их опекунами. И дальше. Если у меня есть духовный пастырь, совесть которого может заменить мою, врач, пишущий мне такой-то образ жизни, или адвокат, то зачем тогда утруждать себя? То есть думать (это уже мой коммен-

тарий) о грехах, о своем здоровье, нарушении закона? Ведь есть же люди, которые отпустят грехи, вылечат, защитят в суде...

Действительно, есть. А если не защитят, не вылечат и не отпустят грехи? Что из этого следует? Что мы должны быть одновременно и священниками, и врачами, и адвокатами? Разумеется, нет. Провозглашая, что просвещение — это выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по своей вине, Кант имел в виду абсолютно другое. А именно что для просвещения требуется только свобода, и притом, по его словам, самая безобидная — во всех случаях публично пользоваться собственным умом. И тогда «почти неизбежно публика сама себя просветит».

То есть фактически Кант предлагал тем самым задуматься над смыслом вошедшего в европейскую культуру XVIII века понятия «гражданское общество», когда не только в рамках «государства-опекуна» начал развиваться непростой процесс нахождения точек для сотрудничества, партнерства и участия людей в общественных делах.

Но вернемся к идеологии. Синдром публичной немоты в СССР означал, что ко времени перестройки государственная система утратила свою жизнеспособность в том числе и потому, что еще раньше, после XX съезда КПСС (1956), в обществе появились группы людей, осмелившихся *думать*. Или, другими словами, заниматься самыми разными возможными способами прояснения своего жизненного опыта. Причем не только в Советском Союзе, но я говорю об СССР, где в 1957 году публикуется повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине», герой которой ищет самые главные слова в главный, кульминационный момент своей жизни. Он пытается что-то самое существенное понять, он думает. «Дело непривычное — думать, вот в чем



Мартин Киппенбергер. Музей современного искусства Сирос (Греция). 1993

беда. Что такое думать? Думать — это значит обдурить, обжулить, обмануть, обвести вокруг пальца, но ведь здесь все это не годится...».

Разумеется, не годится. Но ведь тот, кто лжет, тоже пользуется умом и может сказать, что он **думает**, когда приводит какие-то соображения и доводы в свое оправда-

ние. Как и вор, ограбивший человека, может найти оправдание причины или повода для ограбления.

Так что же такое «думать»?

В XVIII веке современник Канта — Монтескье, отвечая фактически на этот вопрос, но по-иному сформулированный, писал: «Я счел бы себя счастливейшим из смертных, если бы мог излечить людей от свойственных им предрассудков. Предрассудками я называю не то, что мешает нам познавать те или иные вещи, а то, что мешает нам познать самих себя».

То есть мешает, конечно, отсутствие сомнения в отношении собственного ума. Ибо узнать, что такое ум, можно лишь сомневаясь, так как мышление не дано нам природой. Природой дан инстинкт, а думать и мыслить мы учимся, извлекая опыт, чтобы объяснять, что происходит в окружающем мире, и понимать. Не только слушать других, а учиться самим. Учиться понимать себя. Ибо, только понимая себя, можно понять других. И тогда, зная, что все в нашей жизни взаимосвязано и пронизано предрассудками, становится понятно, что ложь и зло всегда находят причину и оправдание, а для совершения добра и благородных поступков нет причин. Добро, как и общественное благо, творятся потому, что всегда находятся люди, для которых они, как и свобода, самоценны и в этом смысле беспричинны. И их познание, как и познание справедливости, начинается с удивления, а познание зла — с пережитого страха. Но в том и в другом случаях познание, безусловно, предполагает свободу, которая не сводится к выбору. Сошлюсь на русского поэта Максимилиана Волошина, который в конце 20-х годов XX века сказал по поводу трагических последствий большевистской революции: «Чтобы описать эпоху, мало ее пережить, надо еще и забыть ее! Ведь процесс забвения есть процесс усвоения».

Это парадоксальное высказывание (не помнить, а забыть, чтобы усвоить) имеет, на мой взгляд, прямое отношение к свободе — не как к выбору, когда ты уже бессилён что-либо изменить, а к претворению памяти о зле, когда у тебя есть шанс понять, что только через собственное свободное развитие и просвещение можно влиять на окружающую действительность.

Именно в этом я вижу, кстати говоря, смысл деятельности нашего российского «Мемориала» и работы мемориальцев — архивной, просветительской, конкурсной, правозащитной, помогающей людям избавляться от «заороженности злом».

Есть такое латинское выражение, которое наверняка вам знакомо — «*homo faber*» — **человек творящий, делающий**. И думаю, буду прав, если скажу: обычно мы хорошо понимаем только то, что сделали сами, своими руками и головой, конечно. А как можно понять гражданское общество, которое не делается руками?

Спрашиваю об этом, чтобы напомнить: быть свободным сегодня значит придерживаться тех принципов — защиты естественных прав человека, экономической свободы, частной собственности, равенства всех перед законом, разделения властей, легальной оппозиции, — которые изобретались людьми и продолжают изобретаться, потому что просвещение продолжается, ценой риска и упрямства и затем на уровне физического навыка, методом проб и ошибок, как показывает исторический опыт, массово личностно осваиваются. Только так возникает общество граждан, способных мыслить критически, преодолевая соблазны и искушения культурного фундаментализма, популизма, политического насилия и безразличия, индифферентности к качеству социальной сферы. Поскольку все мы, так или иначе, хотим быть счастливыми, успешными, любить и быть любимыми и свободными.

Так что же мешает нам быть успешными и свободными — патернализм? идеология? лень? Возможно, вы слышали или помните советский анекдот про хотенье? «Я опять хочу в Париж. — Почему опять? — Потому что на прошлой неделе хотел».

Но мы ведь действительно чего-то хотим, о чем-то мечтаем, на что-то надеемся, к чему-то стремимся. Так что же мешает нам осуществлять наши мечты и желания? Отсутствие талантов, социально-экономические условия, бюрократия, авторитарная власть? Или «нехватка демократии и эффективных лидеров», как утверждает в своей книге «Что ждет Европу в будущем?» Энтони Гиденс.

Об этом можно рассуждать, что я и постараюсь сделать дальше, не забывая о просвещении.

Все мы знаем о религиозных заповедях. Поэтому сошлюсь вначале на Библию.

Среди провозглашенных в Евангелии эмпирических, конкретных предписаний и заповедей: «Почитай отца твоего и мать твою», «Не делай себе кумира», «Не убивай», «Не кради» и др. — есть и метафизический завет апостола Павла (цитирую): «К свободе призваны вы, братия... любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: “Люби ближнего твоего, как самого себя”. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом» (Гал. 5, 13-15).

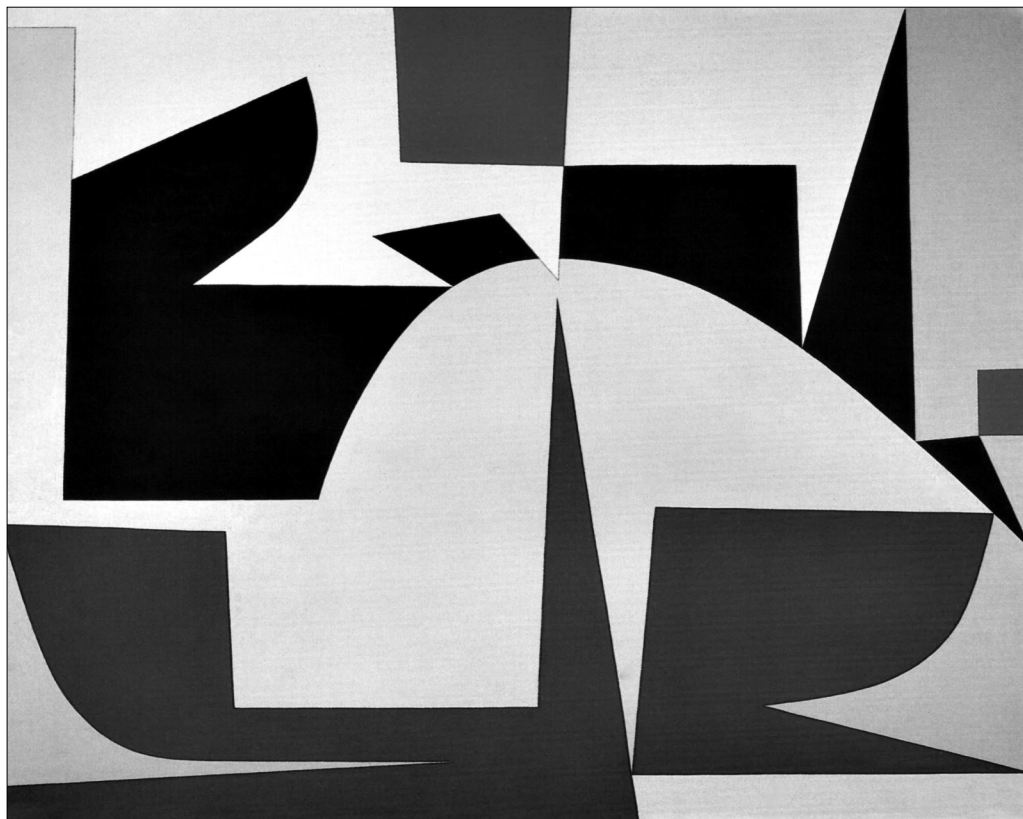
Имеют эти слова апостола Павла из Послания к галатам сегодня отношение к нам? Безусловно. Мы живем в эпоху глобализации и одновременно в период глобального кризиса, когда все известные подходы — экономические, политические, культурные — для преодоления нарастающих кризисных явлений и порождаемых ими конфликтов практически не эффективны, в том числе и в Европе. Идет ли речь о кризисе в финансовой сфере, беженцах, экологии, гонке вооружений. Возможна ли

в этих условиях интеллектуальная альтернатива кризису на родине практически всех научно-технических достижений и общественных преобразований? Возможна, если не забывать, что быть европейцем значит быть свободным, когда свобода напрямую соотносится с правом (*natural right*) и, конечно, с законом.

То есть я хочу подчеркнуть, что именно понятия свободы, права и закона определяли во многом развитие европейского общества. Естественно, в разные эпохи по-разному. Если в эпоху, которую можно назвать эпохой универсализма веры, горизонт их восприятия и понимания был задан религией, то есть связью (от лат. *religo* — связывать) человека с Богом и с Церковью, как телом Христовым, то в эпоху универсализма разума их смысл стал восприниматься в зависимости от социально-экономических условий. Скажем, в СССР названные понятия воспринимались в контексте марксистско-ленинского учения о классовой борьбе как движущей силе развития общества.

«Советское социалистическое право, — цитирую 4-е издание «Краткого философского словаря» 1954 года, — это возведенная в закон воля советского народа, воля, содержание которой определяется задачами, стоящими перед диктатурой рабочего класса: подавление эксплуататоров, союз рабочего класса с крестьянством, построение социализма и коммунизма».

Чтобы было ясно, зачем я это процитировал, еще одна цитата — из эссе Джорджа Оруэлла «Лев и Единорог», опубликованного в начале 1941 года. «Тут мы сталкиваемся, — пишет Оруэлл, характеризую общественную атмосферу в стране, которую бомбила в то время немецкая авиация, — с чрезвычайно важной английской чертой: уважением к законности, вере в “закон” как нечто, стоящее выше государства... Тоталитарная идея, что закона нет, а есть только власть, в Англии так и не привилась».



Виктор Вазарели. Композиция № 301. 1951

Почему в СССР, в Германии, Италии, Испании она привилась, а в Англии не привилась? Каким образом удалось этого избежать? Ответ, казалось бы, очевиден, потому что Англия родина не только Великой хартии вольностей (1215), но и одного из первых парламентов, разделения властей. А Италия, которая является родиной европейского Возрождения, почему она не избежала фашистского соблазна? Или габсбургская Австро-Венгрия — родина австрийского Ренессанса, где во второй половине XIX и начале XX века сосуществовали разные языки и нравы, аристократическая и массовая культура, родина психоанализа и теории относительности Эйнштейна. Почему распалась она? Не говоря уже о России...

Ведь, в самом деле, почему так легко рухнула в России казавшаяся монолитной

советская власть, за идеалы которой было пролито столько крови? Из-за Горбачева? Но он этого явно не хотел. Из-за Ельцина? Или еще вопрос: что произошло в 1917-м, когда пала власть царская? О чем это говорит? О деградации в стране всех общественных устоев. Сколько же должно было накопиться в условиях самодержавия и реализации советского проекта страданий, обид, страха, безразличия, ненависти, недоверия, чтобы такое случилось дважды за 70 лет! Поистине, как сказано в Евангелии от Матфея: «Не думали, пока не пришел потоп» (24, 39). Не разрушение, а саморазрушение, начавшееся в начале XX века в атмосфере взаимной нетерпимости и создания Лениным партийной организации с ее маниакальным стремлением (которое было присуще ее создателю, а

затем Сталину) все подавлять и контролировать.

Как разорвать этот порочный круг несвободы?

Я говорю об этом, чтобы напомнить: после того как 26 декабря 1991 года было объявлено о прекращении существования СССР, через полтора месяца, 7 февраля 1992 года, был подписан Маастрихтский договор, положивший начало Европейскому союзу. Удивительно, да?.. Страна-победитель распадается, а побежденная страна и Франция становятся локомотивом объединения Европы.

Однако 25 лет спустя в результате глобального социально-экономического кризиса, проявления национальных амбиций, угроз терроризма и растущей иммиграции Евросоюз, Россия и весь мир снова переживают отнюдь не легкие времена.

Есть ли какая-то альтернатива, способная исправить ситуацию? На мой взгляд, есть — на путях гражданского диалога и, кого-то, видимо, это удивит, **гостеприимства**. То есть не просто отношений между индивидами, определяемых понятиями *взаимодействие, связь, коммуникация*. А в том смысле, что человек как вид множественен, и его сущность не есть некий автономный факт, а она проявляется в той мере, в какой человеческая личность поддерживает и сохраняет общение. И происходит это с успехом благодаря именно гостеприимству, учитывая, что общение может навязываться пропагандой, то есть быть принудительным. А гостеприимство исключает принуждение.

Почему я обращаю на это внимание? Во-первых, потому, что гений языка рождает слова и понятия, которые помогают, как я сказал вначале, собирать нашу жизнь в нечто осмысленное. И во-вторых, напомню, что с начала XVI века в Европе появляется особый философский жанр трактатов о «вечном мире» и получает вторую жизнь латинское слово *hospitālis* — гостеприимство. Я имею в виду «Жалобу

мира» Эразма Роттердамского, «Всеобщий совет об исправлении человеческих дел» Яна Коменского, «Опыт о настоящем и будущем мире в Европе» Вильяма Пенна, «Суждение о вечном мире» Жан Жака Руссо, «К вечному миру» Иммануила Канта, «Рассуждение о мире и войне» русского социального мыслителя Василия Малиновского. Все авторы этих трактатов, осуждая войны, мечтали об установлении мира на все времена, который представлялся им либо в виде непосредственного результата разумной политики просвещенных правителей, либо заключения договора между правительствами.

«Война, подобно морозам, сразу уничтожает все человеческие блага и приостанавливает гражданское развитие общества, — писал в своем трактате Вильям Пенн. — ...Ни промышленности, ни строительства, ни ремесла; исчезают гостеприимство и милосердие; все, что дарует мир, пожирает война». Будучи сторонником договорной теории происхождения государства, Пенн предлагал правительствам отказаться от решения спорных вопросов силой оружия и вступить в союз государств путем создания европейского конгресса, парламента или палаты государств. При этом его проект предусматривал включение в союз также России и Турции.

Преимущество такого союза Пенн видел в возникновении и укреплении личной дружбы между государями и парламентами. И тогда, по его словам, возникло бы стремление к миру, и они могли бы свободно беседовать друг с другом и лично выказывать или получать знаки взаимной доброжелательности. Подобное гостеприимство, заключает он, едва ли станет поводом для возникновения недоразумений и споров.

А вот что писал в своем трактате «К вечному миру» Кант. Только разум может подсказать, как найти выход из беззакон-

ного состояния дикости и вступить в союз народов, где каждое, даже самое маленькое государство могло бы ожидать своей безопасности. Поэтому «право всемирного государства должно быть ограничено условиями всеобщего гостеприимства». То есть правом человека, продолжает Кант, на дружеский, а не враждебный прием при посещении любого государства. Ибо это право принадлежит всем людям в силу права общего владения земной поверхностью, на которой, как на поверхности шара, люди не могут рассеяться до бесконечности и поэтому должны терпеть и уважать соседство других.

Сегодня можно по-разному относиться к названным трактатам. Кто-то скажет, что они не оказали никакого влияния на политические судьбы Европы. И по своему будет прав, так как войны продолжают. Другие согласятся и добавят, что они имели слабый общественный резонанс. И будут тоже правы. Третьи, которых большинство, скорее всего о трактатах даже не слышали, и уж точно — вообще не думают о каком-то вечном мире. Однако трактаты появились, и в 1945 году, 150 лет спустя после публикации кантовского трактата, не без их влияния появилась уникальная за всю историю человечества Организация Объединенных Наций, созданная для поддержания и укрепления международного мира и развития сотрудничества между государствами. В преамбуле Устава этой организации сказано: «Мы, народы Объединенных Наций, в полной решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, стремимся вновь утвердить веру в основные права и свободы человека».

Повторю еще раз важное, на мой взгляд, в этой фразе слово «стремимся». Не «хотим» и не «пытаемся», а «**стремимся**

вновь утвердить веру в права и свободы человека». С какой целью? Чтобы обрести и сохранить дух миротворчества и гостеприимства, о котором писали авторы трактатов о вечном мире.

Разумеется, можно и хотеть, и пытаться, и мечтать. Или просить. Чего хочешь, гласит русская пословица, того и просишь. Раньше просили у Бога, теперь часто у государства. С надеждой, что получишь. Хотя известно, что наша вера, или, точнее, наше упование на Бога должно быть настолько полным, чтобы не оставалось надежды на Его участие в наших делах. А это значит, когда мы говорим о мире и наша цель утвердить веру в основные права и свободы человека, у нас не может не быть доверия к гению языка, благодаря которому, общаясь, мы продолжаем понимать друг друга.

Только общество, основанное не на внешнем принудительном, а на внутреннем моральном уважении к другим мнениям, способно создать прочный фундамент свободного демократического устройства. Поскольку ценность демократии не в том, что она власть всех, а в том, что она свобода всех. То есть смысл ее скорее отрицательный: демократия означает освобождение от опеки и nepoтuзma.

Черчиллю, как известно, принадлежит афоризм: «Демократия — наихудшая форма правления, за исключением всех остальных». Наихудшая, как я понимаю, только в одном смысле: под демократией он имел в виду некое пустое пространство, которое никто не имеет права приватизировать целиком. Ни царь, ни король, ни народ, ни партия, ни бизнес. В условиях демократии есть место всем. И если вы с этим согласны (а я думаю, согласны), приведу другой афоризм, другое изречение — русского философа Семена Франка: «Демократия, основанная на свободе, есть наилучшая из возможных форм политического устройства».



*Арсений Рогинский,
председатель правления
правозащитного
и благотворительного
общества «Мемориал»*

Право и просвещение

Доброе утро, дорогие коллеги. Я приветствую вас от имени «Мемориала». Для нас большая честь и радость принимать Школу гражданского просвещения. Школа — одна из братства гражданских организаций, которая тащит воз гражданственности на протяжении больше чем 20 лет. Тема вашего нынешнего семинара — «Право и просвещение», и в смысле общей идеи мы абсолютно совпадаем, хотя наша тема — «Бесправие». Это и память о бесправии, и борьба с бесправием сегодня. Это довольно сложная область, потому что в нашей стране в национальном сознании бесправие, может быть, одна из самых укорененных традиций. Сошлюсь на известные факты. После отмены в 1861 году крепостного права в России в течение нескольких лет была проведена судебная реформа. То есть право и правовое государство в монархической тогда стране начало формироваться за 50 лет до ноября 1917 года, юбилей которого будет отмечаться через год. Этих 50 лет оказалось мало: едва вошедшие в жизнь порядки были резко сломаны революцией. Вместо права возникло «революционное право», возникла «революционная законность». И главным словом в 30-е годы стало — «целесообразность». Я не знаю, многие ли из вас читали роман Домбровского «Факультет ненужных вещей». Тех, кто не читал, очень прошу прочитать: кроме того, что это великолепное художественное произведение, оно и замечательно по мыслям. Оно именно о совести, праве, добре, гуманности — словом, цивилизации, которая оказывается жертвой «истории бдительности» и «борьбы с благодушием». «О чем вы? — говорит следовательница главному герою. — Какое право? Есть целесообразность». Традиции бесправия укоренялись на протяжении всех советских лет. Только один пример приведу. По политическим мотивам (есть такой термин «политический

** Выступление на открытии семинара Школы «Просвещение и истоки правового мышления». Москва, 12 марта 2016 г.*

мотив» — из закона «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 года, в работе над которым принимал участие и «Мемориал») было репрессировано приблизительно 11,5 млн человек. Сама по себе цифра грандиозная, но я сейчас не о цифре, а о другом. Дело в том, что из этих 11,5 млн человек около 9 млн были репрессированы не судебными органами. То есть на протяжении многих десятилетий людей осуждали или депортировали без суда.

Что такое «не судебные органы»? Это коллегия ВЧК сначала, а потом ОГПУ, существовавшее до 1934 года. Потом, до 1953 года, было особое совещание при НКВД СССР. Это «тройки» НКВД — специальные внесудебные органы, которые в 1937–1938 годах рассматривали дела заочно, обвиняемого не вызывали на рассмотрение его дела. Там не было никакой состязательности сторон, ничего этого не было и близко. Где-то за закрытыми дверями сидели какие-то люди, рассматривали бумажки и выносили решение, часто по «Первой категории» (расстрел).

Огромное количество людей было депортировано. Это крестьяне в эпоху коллективизации или те, которых власть признала социально опасными элементами, или арестованные на новых территориях (аннексированных в 1939–1940 годах: часть Польши, прибалтийские страны и др.), или так называемые наказанные народы во время войны. У этих людей не было никаких индивидуальных обвинений, их депортировали под разными предлогами по принципу принадлежности к какой-либо этнической, этноконфессиональной и социальной группе, по спискам.

Всех их было около 9 млн человек, тех, кто не видел своих судей, считая и тех, кто таким образом приговаривался к расстрелу.

Был еще придуманный Сталиным закон от 1 декабря 1934 года (день убийства Кирова), по которому дела о «террористических организациях и терактах» рассматривали «в упрощенном порядке» — без адвокатов, прокуроров и права на обжалование; приговоры приводились в исполнение в течение суток.

Или совершенно безумная история расстрельных списков, которые передавались на рассмотрение и подпись Сталину и его подручным, затем списки делились на две категории (1-я — расстрел, 2-я — 10 лет заключения) и передавались для исполнения Военной коллегии Верховного суда. «Мемориал» издал в полном виде, то есть с сопутствующими документами, 363 «расстрельных списка».

На протяжении десятилетий людей приучали к тому, что власть может делать с ними все что угодно, поскольку у нее на это есть все права. Традиция бесправия стала поэтому генетическим маркером советского человека.

Наша задача состоит в том, чтобы преодолеть эту традицию. Как человеку объяснить, что у него есть права и их нужно защищать?

Правовая среда, конечно, не возникает на пустом месте и не развивается сама по себе. Это результат вечной борьбы тех, кто понимает, что за правовую культуру, воспитание адекватного правосознания необходимо бороться. Лишь так возникают общественные структуры, которые начинают заниматься просвещением, сравнивая ситуацию в обществе с нормами и принципами мировой правовой культуры.



Маноло Вальдес. Орта-де-Эбро (в честь Эдуардо Чильды). 2003

Такие структуры стали возникать у нас еще в советскую эпоху. Это были так называемые диссидентские правозащитные организации; Людмила Михайловна Алексеева — одна из зачинательниц этого движения. Вообще это особенная история. Поздняя советская эпоха, террор уже не массовый, он избирательный, точечный, но тут надо было преодолеть важный барьер: одно дело, когда человек лично выражает протест против неправиль-

ного ареста, например, кого-либо, и совершенно другое, когда люди собираются в группу и, не скрывая своих имен, начинают систематически наблюдать за ситуацией в сфере соблюдения (нарушений) прав человека. Группа — это то, что всегда пугало советскую власть. Собрались 20 человек, не скрывающие своих имен, и активно занимаются наблюдением за правами человека. Их арестовывали, лишали свободы, выдавливали в эмиграцию.

Потом наступила горбачевская перестройка. Для нас она заключалась в том, что была разрешена самоорганизация людей, деятельность которых не преследовалась. В конце 80-х создаются десятки, сотни общественных организаций самого разного характера; многие из них начинают системно заниматься правозащитной проблематикой или просвещением. В 90-е годы они только осваивали методы и способы работы, учились быть полезным ресурсом совершенствования нового общества. Многим это удалось. Однако на рубеже столетий стала меняться общая атмосфера. Выросшие снизу независимые структуры стали вызывать у власти все больше и больше опасений. Началось все с преследования СМИ, настройки их на решение властных задач. Вы даже представить себе не можете, какой разнообразной была пресса 20 лет назад, грустно видеть, насколько она впоследствии стала зависеть от государства.

Вслед за огосударствлением прессы началась охота за общественными организациями, в том числе теми, что занимались гражданским просвещением, экспертизой в области права и т.п. Охота началась по-серьезному в 2004–2005 годах, когда у власти после так называемых цветных революций возникла мания, что эти организации готовят оппозиционную аудиторию. Возникло сильное желание поставить их под контроль. Период примерно с 2005 по 2012 год был для них жизнью под жестким контролем и прессингом. Многие тогда не выдержали давления контролирующих инстанций, постоянно требующих огромного количества отчетов. С этим может еще как-то справиться только большая и сильная организация, маленьким же организациям просто не хватает для этого ресурсов. Потом наступил 2012 год — реакция власти на протест граждан против фальсификации выборов, на так называемое белоленточное движение. Власть всегда ищет организатора; вышли три человека на улицу с плакатами, и она убеждена, что за ними обязательно кто-то стоит...

С 2012 года в России принято более 30 (36, если не ошибаюсь) разных новых законов и поправок, которые сужают права граждан, включая дополнение к закону об общественных организациях, который в просторечии называют «законом об иностранных агентах». Если вы получаете грант из-за границы и занимаетесь политической деятельностью, то признаетесь иностранным агентом. После этого обязаны на всех документах, печатных материалах организации писать, что она «иностранный агент». Это, безусловно, унижение, поскольку в нашем общественном сознании «иностранные агенты» — это шпионы.

В общем, началось преследование организаций по этому принципу. Сегодня таких организаций набралось больше 100, все они есть на сайте Министерства юстиции. Из мемориальных организаций туда попало шесть

региональных организаций. Того «Мемориала», который возглавляю я, по стечению обстоятельств, на сегодняшний день там нет. «Политической деятельностью» власти называют любую деятельность, направленную на формирование общественного мнения и изменение государственного строя. Фактически это может быть все что угодно. Остается лишь зашить себе нитками рот и не существовать.

Среди первых, на кого было обращено грозное око власти, была Школа гражданского просвещения. Казалось бы, Школа не пишет, как правозащитный центр «Мемориал», жестких заявлений. Она этим не занимается, она занимается просвещением. Это случайно или нет? Подумайте: почему просвещение людей — самое мирное занятие — вызвало такое раздражение?

Это поразительная история, у многих это не умещается в сознании, но людям приходится буквально совершать подвиг, выполняя свою миссию. Недавно правозащитников выволокли из автомобиля, который шел из Ингушетии в Москву, и зверски избили. Это замечательное общество «Комитет против пыток», во главе которого стоит Игорь Каляпин. Оказывается, фронт может быть не только на Северном Кавказе, фронт — это голова, интеллект: то, чем занимается Школа.

Если люди действительно объединились для какого-то дела, они будут этим заниматься, несмотря ни на какие обстоятельства, за это волноваться не надо. Я желаю вам удачи. Когда возникает в голове чуть больше рефлексии, больше мыслей — это уже хорошо.

Елена Немировская, основатель Школы:

— Все общество и так называемая его элита, то есть люди, которые привыкли думать, что они общественно значимые, не поняли очень важного — до конца не поняли, насколько сильна советская ментальность, как советский опыт превратил всю нацию в немую субстанцию, лишил ее языка. И люди не могут выражать, помимо индивидуальных эмоций, никакую общественную или рациональную эмоцию. И никогда это не переходит ни во что, кроме эмоциональных вздохов, ни в какое структурированное понимание вопрошаний «а что же все-таки за всем этим стоит?» и «что мы должны делать для будущего?». Поэтому мы, как школа просветительская, решили наш единственный пока что в России такой круглый стол посвятить обсуждению того, что происходило в европейской мысли в течение многих веков, как формировалось интеллектуальное, государственное и нравственное сознание общества. Мы решили сделать этот семинар общеобразовательным для нас самих. Потому что когда нам открылся Запад, мы на него смотрели потребительски. Мы не изучали, что такое этот мир и почему некоторые его идеи стали универсальными с точки зрения современного государственного строительства. Ничего нельзя восполнить, но пытаться снова учиться, чтобы понимать, — в этом наша задача. Я еще раз благодарна всем экспертам, которые решили участвовать в этом семинаре, благодарна, конечно, «Мемориалу» и самому Арсению Рогинскому, который открыл нам свои двери и готов это делать всегда для наших мероприятий.

24 июня этого года были опубликованы результаты состоявшегося в Великобритании референдума о выходе страны из ЕС. Большинство британцев проголосовало за выход, что вызвало большую дискуссию. Ниже публикуется интервью немецкого журналиста германской газеты *Die Zeit* Томаса Ассхойера с известным немецким философом **Юргеном Хабермасом** о брекзите и кризисе Европейского союза.



Юрген Хабермас, немецкий философ, социолог (ФРГ)

*Игроки покидают поле**

Die Zeit: Г-н Хабермас, могли вы когда-нибудь представить себе возможность брекзита**? Какие чувства вы испытали, когда узнали об успехе кампании по выходу из ЕС?

Ю. Хабермас: Я не думал, что популизм нанесет поражение капитализму в стране, где он возник. Если принимать во внимание значение банковского сектора для Великобритании и учитывать медийную власть и политическую напористость лондонского Сити, то кажется маловероятным, что вопросы самоидентификации могут оттеснить на задний план стратегические интересы.

Die Zeit: Многие теперь требуют провести референдумы и в других странах. На ваш взгляд, итоги референдума в Германии отличались бы от британских?

Ю. Хабермас: Думаю, да. Европейское единение было — и до сих пор остается — в интересах Германии. В течение первых послевоенных десятилетий лишь благодаря нашим осторожным действиям и желанию быть «хорошими европейцами» мы смогли постепенно восстановить полностью разрушенную национальную репутацию. В результате нам удалось заручиться поддержкой ЕС для воссоединения страны. Германия извлекла максимум выгоды из членства в Европейском валютном союзе, что особенно проявилось в период кризиса евро. И поскольку Германия с 2010 года отстает в

* *Jurgen Habermas. Die Spieler treten ab // Die Zeit Nr. 29/2016, 7. Juli 2016.*

** *Брекзит — английский неологизм, образованный из первых двух букв слова «Британия» и слова exit (выход). Имеется в виду выход Великобритании из Евросоюза.*

Европейском совете* вопреки Франции и югу Европы неолиберальные принципы своей политики экономии, то для Ангелы Меркель и Вольфганга Шойбле** нет ничего проще, как изображать из себя внутри страны истинных представителей европейской идеи. Хотя у них очень национальный взгляд на вещи. Но этому руководству нет резона опасаться, что какое-то независимое от правительственного курса СМИ проинформирует население о настоящих причинах, которые в других странах ЕС привели к совсем иной оценке ситуации.

Die Zeit: Вы упрекаете прессу в лояльности правительству? Но г-жа Меркель уж точно не может пожаловаться на недостаток критики. По крайней мере в вопросах миграционной политики.

Ю. Хабермас: Собственно говоря, это не наша тема. Но скрывать не буду: миграционная политика вызвала противоречивые оценки в немецком обществе и разделила позицию прессы в стране. Таким образом, закончилось затянувшееся на годы беспрецедентное состояние оцепенения в политическом публичном пространстве. Но я имел в виду предыдущий, политически очень острый период кризиса евро. Вот тогда следовало бы ожидать в широкой общественности таких же острых дебатов по поводу антикризисной политики ФРГ. Технократический курс, имеющий лишь отсрочивающее действие, обсуждался как контрпродуктивный по всей Европе, но не в ведущих двух ежедневных и двух еженедельных печатных изданиях, которые я регулярно читаю. Если это наблюдение верно, то объяснение причин требует социологического

исследования. А я спрашиваю себя с позиции активного газетного читателя: «Не может ли быть так, что этот пенный ковер политики усыпления госпожи Меркель распространяется не без определенного содействия прессы, занявшей приспособленческую позицию?» Без альтернативного мышления мыслительный горизонт сужается. В настоящий момент я наблюдаю поставку очередной партии транквилизаторов. Например, в последнем репортаже о программной конференции СДПГ позиция правительственной партии относительно такого важного события, как брекзит, что объективно должно горячо интересоваться каждого, излагается, как сказал бы Гегель, в камердинерской перспективе и сводится к теме следующих выборов в бундестаг и личным взаимоотношениям между господином Габриэлем и господином Шульцем.

Die Zeit: Как вы считаете, желание британцев покинуть ЕС имеет скорее национальные и сугубо внутренние причины? Или это симптом кризиса Европейского союза в целом?

Ю. Хабермас: И то и другое. У британцев совсем другая история за спиной, чем у тех, кто на континенте. Политическое сознание мировой державы, которая в XX веке дважды была победоносна, а теперь сдает свои позиции в мировой политике, с трудом примиряется с изменившимся положением. С таким национальным самосознанием Великобритания оказалась в затруднительной ситуации еще в 1973 году, когда исключительно из экономических соображений вступила в Европейский экономический союз, поскольку политические элиты при

* Высший политический орган Европейского союза, состоящий из глав государств и правительств стран — членов ЕС.

** Немецкий политик, депутат бундестага от партии ХДС, с 2009 г. министр финансов ФРГ.

Тэтчер, Блэре и Кэмероне отнюдь не намеревались отказываться от дистанцированного взгляда на материк. Таким был взгляд Черчилля, который в 1946 году в своей по праву знаменитой европейской речи в Цюрихе видел Британскую империю в роли благосклонного крестного отца будущей объединенной Европы — но никак не составной ее части. Британцы и в Брюсселе действовали по принципу: «Умыться и не замочиться» и вели политику оговорок.

Die Zeit: Вы имеете в виду экономическую политику?

Ю. Хабермас: У британцев было отчетливо либерально-рыночное представление о ЕС как зоне свободной торговли, нашедшее выражение в отношении к политике расширения ЕС без соответствующего укрепления сотрудничества. Без Шенгена и без евро. Исключительно инструменталистский подход политических элит к ЕС отразился и в агитационной кампании лагеря под девизом «Остаться». Равнодушные его сторонники ограничились лишь экономическими аргументами в своей кампании запугивания. Каким же образом в широких массах может утвердиться дружественная к Европе позиция, если политическое руководство в течение десятилетий вело себя так, будто бесцеремонное продвижение национальных интересов является достаточным условием единения в наднациональном сообществе государств? При отдаленном рассмотрении фигуры таких эгоцентрично действующих игроков, как Кэмерон и Джонсон, представляют собой два разных, изобилующих нюансами воплощения сегодняшнего провала политических элит.

Die Zeit: В этом голосовании бросается в глаза не только раскол между молодежью и стариками, но и между городами и сель-

ской местностью. Мультикультурный город потерпел поражение. Почему вдруг возникло противостояние национальной идентичности и европейской интеграции? Видимо, европейские политики недооценили взрывоопасность национального и культурного эгоизма?

Ю. Хабермас: Вы правы. Решение британских избирателей отразило в некоторой степени и общее состояние кризиса в ЕС и его странах-участниках. По результатам анализа референдума повторяется сценарий, который наблюдался во время президентских выборов в Австрии и у нас на последних выборах в ландтаг. Сравнительно высокое число проголосовавших говорит о том, что популистскому лагерю удалось мобилизовать традиционно не голосующий сегмент населения. Эти голоса рекрутируются из маргинальных групп общества, которые ощущают себя «отщепенцами». Такому выводу соответствует и другой результат, когда более бедные, социально уязвимые и менее образованные слои относительно чаще голосовали за выход из ЕС. Не только раскол мнений в сельской местности и городах, но и географическое распределение сторонников брекзита, их концентрация в регионе Мидленд и частях Уэльса, в том числе и в опустевших индустриальных зонах, которым экономически так и не удалось восстановиться, говорят о социальных и экономических предпосылках брекзита. Резкое обострение социального неравенства и ощущение безысходности от того, что интересы этих жителей не представлены на политическом уровне, создают мотивационный фон для мобилизации против «чужих», отказа от объединенной Европы и ненависти к Брюсселю. Для напуганного повседневного мира «национальный и культурный эгоизм», как вы говорите, становится стабилизирующей опорой.

Die Zeit: Это действительно только социальные вопросы? Ведь сейчас наблюдается поистине историческое движение к идее национальной самопомощи и отказу от кооперации. Наднациональные институты означают для граждан потерю контроля. Они думают: «Только нация — та скала, на которой можно строить». Не доказывает ли это, что трансформация национальной демократии в транснациональную потерпела неудачу?

Ю. Хабермас: Попытка, которая даже не предпринималась, не может быть названа неудачной. Определенно призыв *Take back control* («Вернем себе контроль!»), сыгравший свою роль в ходе референдума, — симптом, требующий серьезного рассмотрения. Наблюдателю бросается в глаза очевидная иррациональность не только результатов голосования, но и самой агитационной кампании. Также и на континенте ксенофобские движения набирают силу. Социально-патологические черты политически разнузданной агрессивности указывают на то, что повсеместное системное давление экономически неуправляемого и виртуально разрастающегося глобального общества перенагружает формы социальной интеграции, которые демократично были отлажены в национальном государстве. Это вызывает регрессию. Как пример, фантазии в духе Вильгельма Завоевателя небезызвестного Ярослава Качиньского, ментора действующего польского правительства. После британского референдума он предложил переформировать ЕС в свободный союз суверенных национальных государств, чтобы затем незамедлительно объединиться в бряцающую оружием милитаристскую супердержаву.

Die Zeit: Но можно сказать, что Качиньский всего лишь реагирует на потерю контроля национального государства.

Ю. Хабермас: Как и все симптомы, ощущение потери контроля имеет реальную причину — выхолащивание национально-государственных демократий, которые ранее предлагали гражданам шанс участвовать в создании условий их общественного существования. Британский референдум продемонстрировал наглядные примеры ключевого слова «постдемократия». Очевидно, что инфраструктура, благодаря которой политическая общественность в состоянии существовать, развалена. После подведения первых итогов референдума ни медиа, ни конкурирующие партии не проинформировали население о релевантных вопросах и элементарных фактах, дающих основу для разумного формирования суждения, не говоря уже о том, чтобы предоставить сумму аргументов за и против полярных точек зрения в общественном мнении. Экстремально низкое участие якобы ущемленной в пользу стариков молодежи от 18 до 24 лет является еще одним характерным показателем.

Die Zeit: Звучит так, будто снова виновата пресса.

Ю. Хабермас: Нет, но анализ поведения этой возрастной группы дает ключ к пониманию, как в электронный век молодые люди используют медиа и как изменилось их отношение к политике в целом. Согласно идеологии Силиконовой долины, мир спасут рынок и технологии, а демократия, как и все старомодное, останется за бортом. В этой связи фактором, требующим серьезного отношения, стала всеобщая тенденция к «огосударствлению» политических партий. Так что отнюдь не случайно политика европейского уровня не укоренилась в гражданском обществе. Ведь она так организована, что стратегические экономико-политические решения, касающиеся всего общества, лишены процедуры демокра-

тического формирования воли [необходимого для их принятия]. Это технократическое размытие повестки дня, с чем гражданам еще предстоит столкнуться, не вызвано естественной судьбой, а является следствием закрепленного в договорах дизайна. В связи с этим играет роль и политически намеренное распределение полномочий между национальным и европейским уровнями. Власть ЕС сосредоточена там, где существует вероятность взаимной блокировки национально-государственных интересов. Правильным ответом на это могла бы стать транснационализация демократии. Иным способом в тесно взаимосвязанном мировом сообществе невозможно компенсировать потерю контроля, которой так боятся граждане и которая действительно наступила.

Die Zeit: Однако многие уже перестали верить в возможность транснационализации демократии. Для социолога Вольфганга Шреэка ЕС стал машиной дерегуляции [рынков]. ЕС, по его мнению, не защищал нации от дикого капитализма, а, напротив, подвел их к нему. Теперь национальные государства должны снова взять все в свои руки. Почему нельзя вернуться к прежнему социально-государственному капитализму?

Ю. Хабермас: Анализ кризиса Вольфганга Шреэка основывается на убедительных эмпирических данных. Я разделяю его вывод об износе демократической субстанции, институализированные формы которой существуют пока только в национальных государствах. Я разделяю и другие похожие диагнозы политологов и юристов, которые указывают на фатальные для демократии последствия введе-

ния новых политических и правовых форм «правления по ту сторону национальных государств». Но защитительная речь о возвращении к формату маленьких национальных государств меня не убеждает. Так как на глобализированных рынках этими государствами нужно управ-

До тех пор пока существует эта недемократичная структура, не стоит удивляться антиевропейским настроениям в обществах. Демократии в Европе невозможно достичь никаким другим путем, кроме как через укрепление европейского сотрудничества

лять в стиле глобальных многопрофильных концернов. А это означает окончательную капитуляцию политики перед императивами нерегулируемых рынков.

Die Zeit: Появилось интересное разделение на два лагеря. Для одного ЕС как политический проект себя изжил, и брекзит дал четкий сигнал к тому, что Европу нужно демонтировать. Другая сторона, например Мартин Шульц, говорит: «Так дальше не может продолжаться. Кризис ЕС обусловлен именно отсутствием углубления — есть евро, но нет европейского правительства, нет экономической и социальной политики». Кто прав?

Ю. Хабермас: Когда Франк-Вальтер Штайнмайер на следующее утро после брекзита пригласил на встречу министров иностранных дел шести государств-основателей и соответственно взял инициативу в свои руки, Ангела Меркель мгновенно почувствовала опасность. Потому что в формате этой встречи читается желание после всех потрясений начать реконструирование Европы из ее ядра. В ответ на это



Ван Гуанги. Материалист. 2006

она настояла на том, чтобы в первую очередь искать единения среди оставшихся 27 государств — членов ЕС. Прекрасно зная, что конструктивное единение в этом кругу и с такими авторитарными националистами, как Орбан или Качиньский, невозможно, Ангела Меркель решила фактически подавить в зародыше саму мысль о дальнейшей интеграции. В Брюсселе она призвала Совет занять позицию выжидания. Возможно, она еще надеется на успешную нейтрализацию торговых и экономико-политических последствий брекзита или даже его пересмотр.

Die Zeit: Ваша критика не нова. Вы часто упрекали госпожу Меркель в политике «статус-кво». По крайней мере в том, что касается европейской политики.

Ю. Хабермас: Я опасаясь, что ее политика умиротворения укоренится или уже укоренилась — и никаких перспектив. Аргумент звучит так: «Не переживайте, Европейский союз всегда же менялся!» А в действительности это бессмысленное барахтанье в условиях нарастающего кризиса евро привело к тому, что ЕС в реактивном режиме приспособления уже не в состоянии функционировать, «как раньше». Такое суетливое приспособление к нормальности «яростного затишья» приводит к отказу от методов политического управления. И при этом именно Ангела Меркель была человеком, который дважды впечатляюще опроверг распространенное среди социологов мнение о недостаточном пространстве для политических маневров — при решении вопросов глобального потепления и проблемы принятия беженцев. Зигмар Габриэль и Мартин Шульц — единственные авторитетные голоса, которые еще сохранили политический темперамент и не желают мириться с застенчивым отказом политики от любой попытки думать хотя бы на три или четыре года вперед. Связь с реальностью потеряна, когда

политическое руководство предоставляется свинцовому ходу истории. «В опасности и крайней нужде нерешительность приводит к беде» — в эти дни мне часто приходилось вспоминать фильм моего друга Александра Клюге. Разумеется, люди лишь спустя время узнают о том, что были и другие возможности. Но прежде чем отвергать любую неиспробованную альтернативу, нужно попытаться представить нашу современность как прошлое в современности будущего историка.

Die Zeit: Но как можно представлять укрепление Союза так, чтобы граждане не опасались дальнейшей потери демократического контроля? До сих пор любая попытка укрепления вызывала рост евроскепсиса. Вольфганг Шойбле и Карл Ламерс годами ранее говорили о Европе двух скоростей, о ядре Европы. И тогда вы с ними соглашались. Как можно это представить? Для этого нужно изменить договоры?

Ю. Хабермас: Созыв представительного конвента с целью внесения серьезных поправок в существующие договоры и референдумы будет иметь смысл только тогда, когда ЕС сформулирует наиболее острые проблемы и активно возьмется за их решение. Самые острые проблемы сегодняшнего дня — это продолжающийся кризис евро, нерешенная проблема с беженцами и актуальные вопросы безопасности. Но одно их перечисление в какофонической компании 27 участников Европейского совета делают консенсус невыносимым. Компромиссы возможны только среди готовых идти на компромиссы партнеров, при этом их стратегические интересы не должны слишком сильно расходиться. Обеспечить минимальный уровень конвергенции интересов вероятней всего среди членов Европейского валютного союза. Кризисная судьба единой валюты, причины которой, впрочем, очень хорошо

исследованы наукой, уже годами связывает эти страны друг с другом, пусть даже и асимметричным образом. Поэтому еврозона предлагается как естественная величина для определения будущего ядра Европейского союза. Если бы страны — члены валютного союза имели политическую волю, то они воспользовались бы закрепленным в договорах принципом «тесного сотрудничества» и сделали первые шаги к дифференциации такого ядра, а также к давно назревшему формированию партнерского состава для еврогруппы Совета в рамках Европейского парламента.

Die Zeit: Это вызовет раскол ЕС.

Ю. Хабермас: Правильно. В отношении этого плана прозвучат упреки в «расколе». Но при условии, что кто-то действительно заинтересован в европейском единении, этот упрек не обоснован. Ибо функционирующее ядро Европы заставит поляризованное население всех стран — участников Союза поверить в смысл этого проекта. Только при таком условии можно привлечь граждан даже тех государств, где упорно дорожат суверенитетом, к возможности вступить в Союз, который всегда (!) должен быть для всех открыт. В этой перспективе, однако, следует добиваться согласия выжидающих правительств, так как они с самого начала должны признать этот проект. Первый шаг к компромиссу внутри валютного сообщества очевиден: ФРГ должна прекратить препятствовать более тесной финансовой, экономической и социально-политической кооперации, а Франция — пойти на уступки в соответствующих вопросах своего суверенитета.

Die Zeit: И кто [из них] блокирует?

Ю. Хабермас: У меня долго было впечатление, что сопротивления нужно ожидать

в большей степени со стороны французов. Но сегодня это не так. Любая попытка укрепления разбивается сегодня из-за твердолобой позиции правящего блока ХДС/ХСС, в котором уже систематически недооценивают своих избирательниц и избирателей. Каждый раз, когда в преддверии очередных выборов они разжигают национальный экономический эгоизм, они не в силах понять, что граждане ФРГ в большинстве своем способны идти на значительные уступки в их личном интересе. Им достаточно лишь энергично предложить дальновидную и хорошо обоснованную альтернативу вялотекущему продолжению прежнего курса и прежнего опыта.

Die Zeit: Брекзит усиливает немецкое влияние. Германия уже сейчас воспринимается как гегемон. Как она может прийти к такому пониманию?

Ю. Хабермас: Возвращение к предполагаемой национально-государственной «нормальности» вызвало у нас в стране изменения в менталитете, который десятилетиями формировался в ходе полемических дискуссий в старой ФРГ. Но теперь определяющими становятся возрастающий самоуверенный стиль и все более отчетливая «реалистическая» ориентация политики Берлинской республики [объединенной Германии] в сторону внешнего мира. С 2010 года мы наблюдаем, как германское правительство использует невольно закрепившуюся за ним ведущую роль в Европе все чаще в собственных, чем в общих, интересах. Даже передовая статья *Frankfurter Allgemeine Zeitung* сетует на контрпродуктивное действие германской политики, «так как она все чаще и чаще путает европейское руководство с насаждением собственных представлений о порядке». (FAZ, от 29.06.2016). Германия — немотивированный, равнодушный и неподготовленный

гегемон, который одновременно использует и отвергает нарушенное равновесие в европейском распределении власти. Это пробуждает неприязнь, особенно в странах еврозоны. Как себя должен чувствовать испанец, португалец или грек, если в результате принятой на Европейском совете политики экономии он теряет рабочее место? Он не может призвать к ответу немецких членов правительства, которые проводят эту политику в Брюсселе. Так как он не может их избирать или требовать их отстранения от должности. Но во время кризиса в Греции он наверняка читал, как те же самые политики с негодованием отвергали ответственность за те социально катастрофические последствия, которые они же и допускали при утверждении подобных программ экономии. До тех пор пока существует эта неудачная недемократичная структура, не стоит удивляться антиевропейским настроениям в обществах. Демократии в Европе невозможно достичь никаким другим путем, кроме как через укрепление европейского сотрудничества.

Die Zeit: Это означает, что правые группировки только тогда исчезнут, когда станет больше объединенной Европы и ЕС демократически реорганизуется?

Ю. Хабермас: Нет, уже в ходе этого процесса они должны потерять влияние. Если я правильно вижу, то сегодня все стороны исходят из того, что ЕС нужно вернуть к себе доверие, чтобы перекрыть кислород правому популизму. Одна из сторон выбрала целью демонстрацию своей дееспособности, чтобы игрой мускулов завлечь правую клиентуру. Слоган звучит так: «Никаких разглагольствований, только компетентное решение про-

блем». С этой точки зрения Вольфганг Шойбле теперь уже и публично отрекся от своей идеи о ядре Европы. Он полностью ставит на интергouverнментализм, то есть на то, чтобы главы правительств и государств договаривались между собой. Он выбирает видимость успешного сотрудничества сильных национальных государств. Но примеры, которые он приводит — цифровой союз Эттингера, европеизация военного бюджета или энергетический союз, вряд ли будут восприняты как желаемый импонирующий эффект. И в случае действительно безотлагательных проблем — сам он называет при этом миграционную политику и формирование европейского права на убежище, оставив в стороне драматически выросший уровень безработицы среди молодежи в южноевропейских странах, — затраты на кооперацию будут так же высоки, как и раньше. На это другая сторона предлагает в качестве альтернативы углубленное и обязательное для всех сотрудничество в более узком кругу надежных и готовых к сотрудничеству государств. Такому союзу не нужно будет заниматься поиском проблем, чтобы подтвердить свою дееспособность. Еще в процессе его формирования граждане должны быть уверены, что необходимые меры по решению социальных и экономических проблем, которые вызывают чувство неуверенности, страх опуститься вниз по социальной лестнице и ощущение потери контроля, уже приняты. Социальное государство и демократия образуют внутреннюю взаимосвязь, которую в рамках валютного союза отдельное государство не в состоянии гарантировать.

*Перевод с немецкого языка
Нины Манджиевой*



*Андрей Колесников,
руководитель программы
Московского центра Карнеги,
колонист газеты
«Ведомости» и интернет-
издания «Газета.Ру»*

Хотят ли русские войны

Война в советском и постсоветском сознании

В 1961 году культовый в то время поэт Евгений Евтушенко написал по-своему замечательное стихотворение «Хотят ли русские войны?». Песня композитора Эдуарда Колмановского в исполнении советского шансонье Марка Бернеса стала не только хитом, но и своего рода идеологическим объяснением вечно миролюбивой политики КПСС, согласно которой русские войны не хотят, но внешние обстоятельства все время войну провоцируют. Особое звучание эта песня приобрела на фоне разразившегося спустя год Карибского кризиса, притом что в стихах — точнее, в той их редакции, в которой песня исполнялась Бернесом, — содержалась прямая апелляция к вероятному противнику: «Не только за свою страну / Солдаты гибли в ту войну, / А чтобы люди всей земли / Спокойно ночью спать могли. / Спросите тех, кто воевал, / Кто вас на Эльбе обнимал / (Мы этой памяти верны), / Хотят ли русские войны!» В редакции, которая вошла в более поздние сборники стихов Евтушенко, на этом месте другая, тоже с «внешнеполитическим» акцентом, строфа: «Под шелест листьев и афиш / Ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж. / Пусть вам ответят ваши сны, / Хотят ли русские войны». Та же логика лежала в основе ядерной политики Советского Союза — бомба считалась фактором сдерживания западных противников: без бомбы война стала бы неизбежной (что, собственно, вписывалось и в американскую доктрину сдерживания). «Если бы мы ее (атомную бомбу. — А.К.) не сделали, не было бы у нас этого разговора, бая. И половины человечества тоже», — говорил облученный физик Гусев в одном из самых главных шестидесятилетних советских фильмов — «Девять дней одного года» Михаила Ромма (1962).

Идеологема, сформулированная Сталиным в 1930 году, а затем нашедшая свое стихотворно-песенное воплощение в «Марше советских танкистов» братьев Даниила и Дмитрия Покрассов и Бориса Ласкина — «Чужой земли

мы не хотим ни пяди, / Но и своей вершка не отдадим», — тоже на долгие годы стала одной из ключевых для массового сознания. И ее устойчивость — вплоть до сегодняшнего дня — не поколебала богатая событиями история советских вторжений в другие страны.

Парадоксальным образом все эти войны оценивались в доперестроечную эпоху и оцениваются сегодня снова как превентивные и оборонительные и даже служат косвенным оправданием нынешних крымской, донбасской, сирийской, турецкой кампаний. Горячая, холодная, гибридная, информационная, торговая войны ведутся под аккомпанемент старой советской поговорки «Лишь бы не было войны». И здесь нет парадокса. Потому что люди имеют в виду войну «большую», войну между державами. Все кампании последнего времени считаются лишь боевыми операциями, направленными на предупреждение «большой» войны.

В российской политической мифологии фраза «Лишь бы не было войны» — одна из ключевых. В истории СССР война и подготовка к ней были едва ли не базовым лейтмотивом политики, в том числе политики экономической. Имелось и богатое теоретическое обоснование — Ленин, ссылаясь на Энгельса, писавшего об оборонительных войнах, разработал вполне стройную теорию справедливых войн, которые ведет пролетариат. После Великой Отечественной — после Победы — с этой теорией, получившей моральное оправдание, стало сложно спорить (в 1960-е она трансформировалась в теорию справедливых революций, символом которой в официальной идеологии стала Куба).

Николай Вознесенский, председатель Госплана СССР и фаворит вождя, им же и уничтоженный, писал в работе «Военная экономика СССР в период Отечественной войны» (1947): «Ленин и Сталин не раз предупреждали социалистическую родину о неизбежности исторических битв между империализмом и социализмом, готовили народы СССР к этим битвам. Ленин и Сталин разъясняли, что войны, которые ведет рабочий класс, победивший у себя буржуазию, в интересах своей социалистической родины, в интересах укрепления и развития социализма, являются законными и священными войнами».

Великая Отечественная война легитимировала власть Сталина — именно он, пусть и вместе с народом («русским народом», как было сказано в его знаменитом тосте 24 мая 1945 года), победил нацизм. Когда в героях войны Сталин усмотрел конкурентов и угрозу своей единоличной власти, День Победы стал обычным рабочим днем (с 1948 года). В брежневскую эпоху память о войне была основой (причем в большей степени, чем марксизм-ленинизм) легитимности советского режима эпохи застоя. Логика тех лет, как показали писатели и публицисты Петр Вайль и Александр Генис, была примерно такая: «Война — тот эталон, с которым можно сверяться ежеминутно. В отличие от Днепрогэса и колхозов, победу трудно рассматривать с разных сторон. Она есть — и точка. Все остальные вопросы — второстепенные». Так же рассуждал и Леонид Брежнев, когда беседовал с писателем Константином Симоновым, жаловавшимся на то, что его дневники 1941 года запрещены к изданию. По воспоминаниям Александра Бовина, работавшего в те годы спичрайтером Брежнева, генеральный секретарь говорил

писателю: «Главная правда — мы победили. Все другие правды меркнут перед нею... Дойдет время и до твоих дневников».

До сих пор Великая Отечественная остается одной из основ легитимации сегодняшнего политического режима, не имеющего образа будущего, питающегося соками славного прошлого и отождествляющего себя с ним. Отсюда и масштабное празднование 70-летия Победы в 2015 году, которое в отсутствие отказавшихся приехать западных лидеров стало своего рода торжеством изоляционизма по-русски.

Под лозунгом «Лишь бы не было войны» осуществлялись милитаризация советской экономики и гонка вооружений, в результате чего Советский Союз подломился под бременем военных расходов. Существенную роль в кризисе Советского Союза сыграло решение о вводе советских войск в Афганистан. Как писал в книге «Гибель империи» (2006) Егор Гайдар, «решение о введении войск в Афганистан будет дорого стоить советскому режиму вплоть до последних лет его существования. Убитые в Афганистане солдаты и офицеры, горе их семей, инвалиды, и все это на фоне непонятной обществу войны — важный фактор подрыва основ легитимности режима. Но и экономически война стоила недешево». Гайдар приводит фрагменты из протоколов заседаний Политбюро ЦК КПСС, из которых следует, что поначалу советское руководство побаивалось прямого военного вторжения: Юрий Андропов, например, говорил, что «ввести свои войска — это значит бороться против народа, давить народ, стрелять в народ»; но уже спустя несколько месяцев решение о вводе войск было принято. Логика была примерно та же, что и у американцев во Вьетнаме, — сначала посылаются военные советники, потом оказывается помощь вооружениями и поддержкой с воздуха, а потом уже начинается полномасштабная война.

Афганская война, безусловно, была для граждан позднего СССР и раннего постсоветского времени травмой. И до сих пор советское вторжение в Афганистан оценивается пусть и меньшим числом людей, чем раньше, но все-таки как государственное преступление (44% в 2014 году против 69% в 1991-м — *здесь и далее — данные Левада-Центра*). Но сегодня, по прошествии более четверти века, на фоне последовательного обеления всего советского периода и новых кампаний по применению силы, афганская война перестает казаться россиянам политической авантюрой (количество согласных с этой точкой зрения с 1999 по 2014 год упало на 13%). И чаще описывается как действия, предпринятые для защиты геополитических интересов СССР в противовес США. Рост здесь, правда, небольшой — всего 4%. Но надо понимать, что опрос проходил в феврале 2014 года, еще до присоединения Крыма и скачкообразного подъема патриотических настроений и новой конфронтации с Западом и США. Притом что сразу после начала сирийской кампании существенное число респондентов сравнило ее именно с афганской войной: 78% опрошенных не исключили, что операция может перерасти в «новый Афганистан». И все же одобрение россиянами самих бомбардировок — очевидный факт. Решение Совета Федерации, разрешающее использовать российские войска за рубежом, в связи с началом сирийской операции в целом поддержали 46% опрошенных.

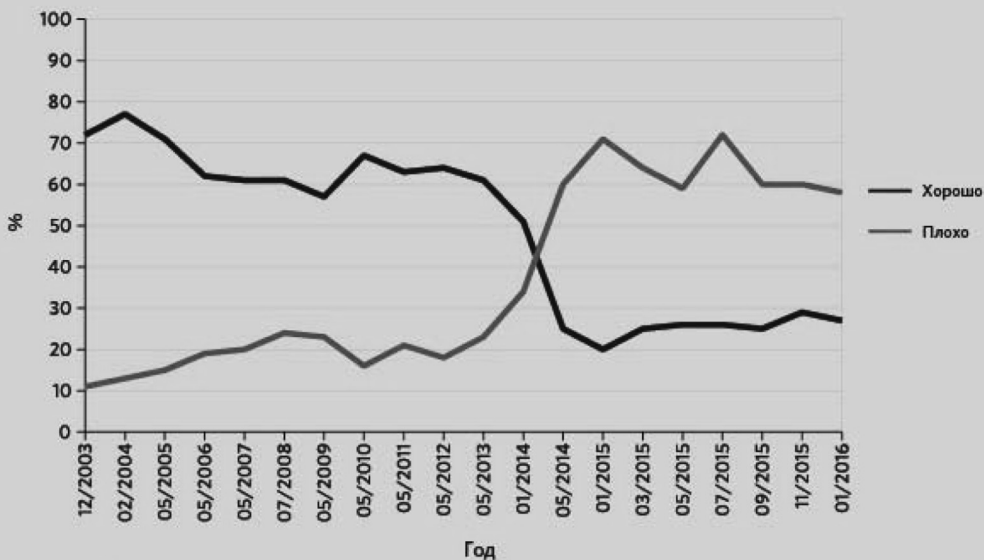
Социолог Левада-Центра Алексей Левинсон объясняет это явление (равно как и то, что до начала сирийской операции военное вмешательство не было популярным у респондентов) тем, что общественное мнение, которому раньше, чтобы измениться, нужен был лаг примерно в два месяца, сейчас меняется стремительно, менее чем за неделю. И движется ровно в фарватере того, что говорит власть, персонифицированная во Владимире Путине.

Продажа войны

В постсоветское время «традиционная» война и милитаризация, казалось бы, перестали быть актуальными, однако появились новые войны, например и в первую очередь чеченские кампании. Беспощадность к чеченским боевикам стала одной из основ харизмы Владимира Путина. Так что война всегда присутствовала — открыто или латентно — в массовом сознании россиян. Терроризм же вошел в повседневную реальность только после терактов, ставших предметом общественных дискуссий и резкой реакции власти: 1999 (взрывы жилых домов в Москве), 2002 (захват Театрального центра на Дубровке) и 2004 (Беслан). В 2015 году международный терроризм окончательно утвердился в официальной риторике в качестве врага номер один, а борьба с ним оправдывала дистанционные и «превентивные» удары российской авиации в Сирии.

Впервые идея войны как эффективного средства мобилизации общественного сознания в поддержку власти была почти интуитивно нащупана во время российской «операции по принуждению к миру» в Грузии в августе 2008 года. Из приводимого ниже графика (отношение к Европейскому союзу, декабрь 2003 года — сентябрь 2015 года) видно, что резкое ухудшение отношения к ЕС приходится как раз на конфликт с Грузией. А кривые

Рис 1. Как вы в целом относитесь к Европейскому союзу?



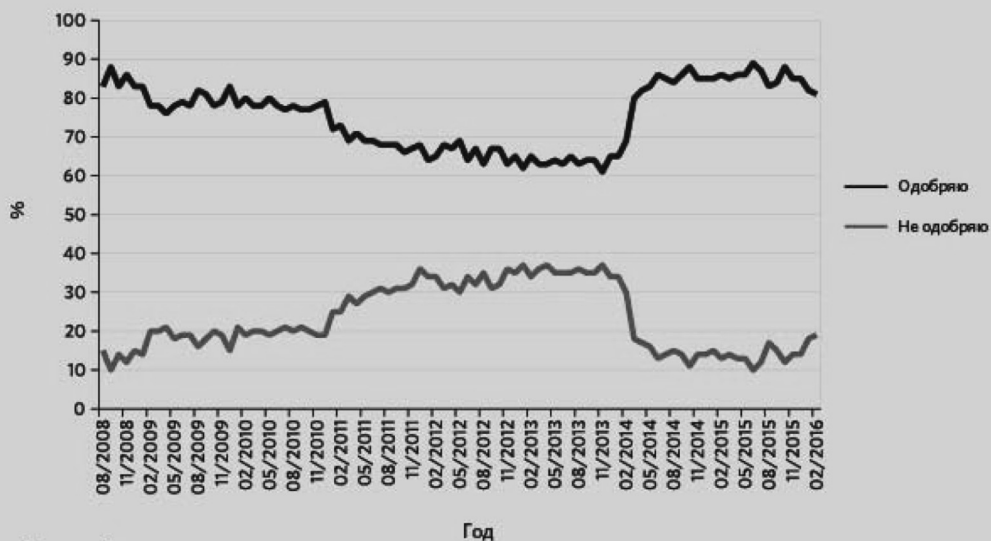
Источник: «Левада-центр»

плохого и хорошего отношения образуют крест в той точке, когда Россия присоединила Крым: кривая негативного отношения последовательно продолжает движение вверх, позитивного — вниз, а нагнетание эмоций происходит в том числе и во время украинского майдана.

Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина свидетельствует о том же. Сразу после грузинской кампании, в сентябре 2008 года, рейтинг тогдашнего премьера Путина (все понимали, что, несмотря на должность, именно он отвечал за решение о применении силы) вырос до 88%. Дальше он медленно, а потом все быстрее снижался. Это был период отсутствия агрессивности, взвинченного патриотизма, искусственно провоцируемых изоляционистских настроений. На этом спокойном фоне в декабре 2011 года рейтинг одобрения деятельности Путина опустился до 63%. Январь 2013-го, несмотря на то что в 2012 году Путин получил обновленный мандат на правление от народа, был отмечен показателем 62%. Январь 2014-го — умеренные 65%. Февраль, нагнетание ситуации вокруг Украины и уже Крыма — 69%. Март — резкий скачок до 80%. Июнь на фоне войны на юго-востоке Украины — уже 86%. Дальше военно-патриотический фон держит рейтинг Путина выше 80%, с пиком в июне 2015-го в 89% и в октябре 2015-го (после начала сирийской операции) в 88%.

Война стала фоном, повседневной рутинной в сегодняшней России. Что посвоему органично для страны — «осажденной крепости», чье руководство взяло курс на изоляционизм, готово оправдывать огромные расходы на оборону и безопасность и снижающийся уровень жизни происками «врагов», внешних и внутренних. Старые мифы были реанимированы очень быстро и обрели новую жизнь в массовом сознании. Войны (или «применения силы», или военные операции), которые ведутся ради того, чтобы «настоящей» войны не было, обладают следующими свойствами: победоносность

Рис 2. Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента (премьер-министра) России?



Источник: «Левада-центр»

(например, Крым «взят» без единого выстрела; война с ИГИЛ, запрещенной в России организацией, согласно официальной пропаганде, вообще не продвигалась до тех пор, пока не начались российские бомбардировки), триумфальность, легкость (формальное отсутствие жертв или их небольшое число; даже, как это ни дико звучит, живописность (знаменитый прогноз погоды в Сирии по каналу «Россия 24»: «Время для нее (операции. — А.К.) с точки зрения погоды было выбрано очень удачно»), оборонительный и превентивный характер. Кроме того, пропаганда внедряла в сознание россиян идею, что военные действия 2014–2015 годов справедливы, так как являются частью нашей программы по обороне от врагов, в традициях Великой Отечественной.

Конец постгероической эпохи

С момента присоединения Крыма российское политическое руководство опробовало разные формы войн и военных кампаний, присовокупив к крымской операции гибридную войну на востоке Украины, бомбардировки в Сирии, масштабную пропагандистскую войну и войну торговую — контрсанкции против западных стран и санкции против Турции. Санкции и контрсанкции тоже встроены в логику войны — информационного, торгового и дипломатического противостояния с Западом. Даже в январе 2015 года, когда эффект санкций стал более чем очевидным для существенного числа граждан (34% респондентов отмечали, что санкции имели для них серьезные последствия, а 47% ждали от них серьезных проблем в будущем), преобладала следующая точка зрения: «Продолжать свою политику, невзирая на санкции» — так ответили 69% опрошенных. Среди ответных мер самой популярной опцией были контрсанкции — 34%. Но когда санкции стали рутинной, фоном жизни, уже всего четверть населения (27%) говорила, что санкции Запада создали для них серьезные проблемы, и лишь 29% опасались таких проблем в будущем. 58% были уверены в эффективности и «положительных политических результатах контрсанкций» — это данные августа 2015 года. Получается, что в условиях полуизоляции России превращение санкционного противостояния в рутину, когда санкции стали чем-то обычным, естественным фоном жизни, привело к тому, что, в глазах российских респондентов, и в этой «войне» Россия победила. И санкционную «войну», противостояние прежде всего с Западом, стоит продолжать — решительно и последовательно.

«Девестернизации» российского массового сознания способствовало и психологическое оправдание войны в принципе, отчасти спровоцированное тем фактом, что Владимир Путин, как когда-то Екатерина II, занял Крым весной 2014 года без единого выстрела. Отсюда возникла иллюзия триумфальной легкости войны.

О феномене современного восприятия войны в развитых странах в книге «Изобретение мира» писал британский историк Майкл Ховард, когда отмечал «общее для западных урбанизированных обществ нежелание нести тяжелые потери» и называл эту эпоху «постгероической». Но труд-

но увлечь такой идеей мир, где героизируется смерть за Пророка, где в Сирии ведется эффективная и вроде бы почти без жертв операция по применению силы, а безвестная гибель на полях Донбасса сравнивается с героизмом солдат Великой Отечественной войны. Поэтому и получается, что в современной России, где пропаганда, а вслед за ней и массовое сознание ставят знак равенства между государственной властью и страной, постгероическая эпоха либо никогда не наступала, либо закончилась.

Судя по всему, в ситуации нового мирового «беспорядка» торговая взаимозависимость и глобализация, «сладость коммерции» (*doux commerce*, по Шарлю Монтескье) уже не пугают от войн. Британский исследователь Кристофер Коукер, перефразируя затертую фразу Карла фон Клаузевица о войне как продолжении политики иными средствами, отмечает важное психологическое свойство современной войны, которое характерно и для тех операций, которые проводит Россия: «Война — это продолжение туризма иными средствами. Иногда это телевизионный, или виртуальный, “военный” туризм».

Телевизионный пульт как инструмент «управления» войнами

С самого начала конфликта на Восточной Украине, да еще на волне крымской эйфории, миллионы людей были погружены в атмосферу войны просто потому, что сидели у телевизионного экрана. На фоне триумфального «взятия» Крыма казалось, что и эта война окажется столь же легкой, быстрой, не слишком кровавой. Многие думали, что расширение территории России возможно и за счет юго-востока Украины. Во всяком случае, на экране телевизора новый конфликт не казался опасным. Возможно, именно поэтому участие российских добровольцев в боевых действиях в мае 2014-го одобрял 61% опрошенных, в июне — 64%. Прямое вмешательство в конфликт, то есть ввод регулярных российских войск, поддерживал в мае 31% респондентов, в июне — 40%. Тогда еще, вероятно, оставалась надежда на быстрое, легкое, триумфальное разрешение конфликта.

Характерно, что за три месяца — с апреля по июль 2014 года — взгляд на статус юго-востока Украины серьезно поменялся: выросло число сторонников независимости Донецка и Луганска. Постепенно становилось понятно, что конфликт настоящий — затяжной и с жертвами. Кроме того, судя по всему, россияне начали задумываться о социальном и экономическом бремени войны и цене восстановления объектов инфраструктуры после нее.

Тем не менее ощущение справедливости военных действий и позиции президента никуда не исчезло. Что подтвердила история того же лета 2014 года со сбитым малайзийским Boeing. Абсолютное большинство россиян отказывалось верить, что пассажирский самолет был сбит сепаратистами, которых поддерживает российская сторона, — это явным образом входило в противоречие с представлением о вмешательстве в конфликт на юго-востоке Украины как деле безукоризненно справедливом. Согласно опросу Левада-Центра, проведенному почти сразу после



Эдвард Стайхен. Руки над головой. 1934

этой трагедии, 46% опрошенных считали, что самолет был сбит из украинского ЗРК, 36% — что Boeing сбил самолет ВВС Украины, 3% — ополченцы, 2% полагали, что самолет потерпел крушение в результате теракта, 1% — что за трагедией стоят российские военные, 16% затруднились с ответом.

Сирийский вопрос

Еще один характерный пример изменения массового сознания — стремительная эволюция отношения к вмешательству России в сирийский конфликт. В сентябре 2015 года, незадолго до начала бомбардировок, идея поддержки режима Башара Асада как препятствия распространению ИГИЛ (запрещенная в России организация) находила понимание лишь у 22% респондентов. При этом прямая военная поддержка и вовсе была самым непопулярным вариантом (14%).

После начала бомбардировок общественное мнение быстро начало меняться. 72% респондентов одобрили удары по позициям исламистов, а когда они начались, 47% согласились с тем, что Россия должна поддержать Башара Асада в его борьбе с исламистами и (что важно!) оппозицией. В ноябре 2015-го российские авиаудары в Сирии одобряли 55% респондентов.

Почему общественное мнение столь стремительно менялось? Операция в Сирии стала демонстрацией мощи России, подтверждением статуса великой державы. А стиль операции — применение силы далеко за пределами российской территории — напомнил времена СССР и превратил путинскую Россию еще и в геополитического игрока. На фоне всех военных операций, в том числе и сирийской, выросло доверие населения к армии: с 43% в 2013 году до 64% в 2015-м. Сирийская операция пока остается еще одной победоносной войной в ряду других успешных операций, к тому же инициированной и проводимой Путиным, сохраняющим необычайно высокую степень доверия и одобрения. Как указывает социолог Алексей Левинсон: «Попытки обратить внимание общественности на потери среди российских военнослужащих не только жестко пресекались официальными инстанциями, но и не получили сколько-нибудь заметного резонанса в обществе. Почему? Да потому что войну в Донбассе общество желало представлять как повтор операции в Крыму, а там потерь не было. “Вежливые люди” сделали свое дело быстро и без шума. Операция в Сирии поначалу также отвечала всем этим требованиям: мы эффективно громили не очень понятного противника с неба и с моря — и снова без жертв, то есть безнаказанно».

А теперь самое время разобраться в нюансах — особенностях национального восприятия войны и террора на примере фокус-групп, проведенных Левада-Центром по заказу Московского центра Карнеги.

«Мир живет под диктовку США»

Фокус-группы были проведены в Москве 21 декабря 2015 года. В одной участвовали респонденты в возрасте от 40 до 60 лет, во второй — от 20 с небольшим до 35 лет. Все это работающие, зарабатывающие люди, со средним или высшим образованием, которых по профессиональным признакам можно отнести к российскому среднему классу.

Обе гендерно и профессионально разнообразные группы были единодушны в абсолютной поддержке нынешней власти, президента и его действий, в том числе огромных оборонных расходов, ведения боевых действий в Сирии, на Украине, санкций против Турции. Россия, в представлении респондентов, сильная держава, на которую со всех сторон, но безуспешно давят «враги». Целеполагание этого давления респондентам не очень понятно, но, по их мнению, участвуют в нем практически все, включая страны Восточной Европы, а на стороне «добра» оказываются Китай, Индия, даже Иран (!).

В полном соответствии с установками официальной пропаганды, например, были усвоены и повторялись как мантра слова Путина об «ударе в спину» со стороны Турции, о торговле нефтью между «Исламским государством» и Турцией (в этот факт участники фокус-групп верят безоговорочно; вообще многое респонденты объясняют борьбой за нефть, поскольку углеводород-

ное сырье в российской политэкономической мифологии решает все). «Наша» операция на востоке Украины считается успешной, но при этом российские солдаты называются «заблудившимися» (респонденты в точности воспроизводят пропагандистское клише, явным образом избегая самостоятельной оценки) — два абсолютно противоречащих друг другу представления мирно уживаются. Война в Сирии — превентивная, затеянная для того, чтобы избежать проникновения террористов в Россию. Таким образом, речь идет об абсолютно буквальном и некритичном цитировании пропагандистских штампов.

Старшая по возрасту группа выражала свое доверие институту, который должен защитить граждан от терактов, — ФСБ. Армия, по мнению респондентов, демонстрирует «мощь» страны. Главный враг России, в представлении участников фокус-групп всех возрастов, это США и их «прихвостни». Обоснований никто не дает — это выдается за аксиому. Основная террористическая угроза исходит от представителей «Исламского государства».

При этом все респонденты согласны с тем, что ИГИЛ (запрещенная в России организация) создано Соединенными Штатами, а затем просто вышло из-под их контроля. Ухудшение отношений России и Турции произошло тоже «с подачи США». Вообще — и такое мнение преобладает во всех возрастных группах — «мир живет под диктовку США», имеет место «агрессия со стороны Европы и Америки», вокруг нас «враги», и из-за этого «мы не можем продавать свою нефть достойно».

Важно понимать: рационально никто не смог обосновать заинтересованность США в поддержке терроризма и противостоянии России, но это не является предметом рефлексии для участников фокус-групп — звучат лишь робкие оценки («чтобы подорвать стабильность, доверие российского народа к правительству»).

Как отмечалось выше, все происходившее в Крыму, на юго-востоке Украины, в Сирии не оценивается как война (хотя само слово употребляется). Во всяком случае, как «настоящая» война. Пример такой логики: «Крым остался наш, и хорошо, что без войны». Или: «Минские соглашения будут выполнены, если, конечно, Порошенко не начнет войну». Все, что делает российское руководство, объясняется старым, живучим советским клише: «Чтобы был мир на земле». Кроме того, войны наши действительно справедливые и оборонительные: «Мы же не атакуем, мы защищаемся».

Сирийскую операцию участники фокус-групп полностью одобряли, воспроизводя пропагандистские клише с точностью до буквы — «территория освобождается», «показали миру современное оружие». При этом рефреном звучало утверждение: войны мы не хотим, сухопутная операция в Сирии не нужна, «пускай воюют сирийцы» (вероятно, историческая память об афганской войне хотя и слабеет, но все еще сильна — вспомним количественное исследование по Афганистану). Респонденты не считали, что в связи с авиаударами в Сирии террористическая угроза внутри России увеличится. Это находится в некотором противоречии с тем, что, как уже говорилось, терактов респонденты боятся.

На деликатный вопрос, надо ли скрывать в мирное время (раз уж оно мирное) боевые потери, участники фокус-групп дают положительный ответ.

Причем в выражениях, которые на первый взгляд могут показаться парадоксальными: «чтобы паники не было»; «народ будет возмущаться»; «народ будет выступать против войны и правительства». Войны-то вроде нет, но само слово снова и снова проскальзывает в рассуждениях.

При этом абсолютной ценностью в последние годы остается «стабильность» — надо, чтобы не было возмущений, манифестаций, любых проявлений социально-политического беспокойства. Вопрос о снижении цены человеческой жизни, об аморальности войны и проч. для респондентов не стоит. Стабильность, неизменность политического режима — важнее.

Несмотря на то что респондентов беспокоит ситуация в социальной сфере и особенно в здравоохранении, они с пониманием относятся к масштабным расходам государственного бюджета на оборону. И, отвечая на вопрос, в каких пропорциях они распределили бы деньги, как правило, 50% все равно отдают оборонным статьям в ущерб образованию и здравоохранению. Здесь работает и психология «осажденной крепости» — жизнь во враждебном окружении, и старое клише, что такая страна, как Россия, не может существовать без мощных вооруженных сил. Особенно сейчас, когда она, в глазах большинства россиян, восстановила статус великой державы и геополитического игрока.

Не встречает понимания предположение, что, затеывая войны, власть пытается отвлечь граждан от экономических проблем: респонденты, несмотря на то что сами признают значительные объемы военных расходов, повторяют все пропагандистские мифологемы об «уничтожении врага на подступах» и не видят здесь никакого подвоха и никакой связи.

Мифология перманентной войны

Современному российскому политическому режиму удалось вернуть войне мифологический «героизм», помочь ей обрести ореол справедливости, убедить население страны, что парадоксальным образом агрессия — это оборонительная война (точнее, даже не война, а череда военных операций), ибо осажденную крепость нужно защищать. В такой ситуации у жителей крепости — а на самом деле ее заложников — развивается по отношению к ее коменданту стокгольмский синдром.

Идет война — одновременно горячая, гибридная и холодная — под лозунгом «Лишь бы не было войны». Таковы парадоксы постсоветского сознания. И это единственное, что заполняет пустоту — политическую бессодержательность персоналистского режима, который свою легитимность ищет не только в победах прошлого, например в Великой Отечественной, но и в поражениях — как в Финской кампании 1939–1940 годов.

Проблема в том, что цель — сохранение власти — может потребовать продолжения военного «банкета» в жанре триумфального шествия. Остановиться после Крыма, Донбасса, Сирии, Турции у этого механизма если и получится, то с большим трудом. Операция в Сирии не помирила Россию с Западом и создала угрозу столкновения с Турцией — членом НАТО. Это важно для мобилизации граждан вокруг власти, но очень мешает нормальному развитию страны.

Правовой диалог, мораль и трудности перевода

В прошлом году у нас разразилась острая дискуссия по вопросу о том, что важнее — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) или Конституция России? Постановление о применении в России решений ЕСПЧ, которое в июле 2015 года принял Конституционный суд, почему-то напугало особенно журналистов, которые решили, что наш Конституционный суд признал верховенство российской Конституции над Европейской конвенцией 1950 года по правам человека. Ничего подобного! Конституционный суд России постановил лишь то, что права человека защищены российской Конституцией в принципе лучше, чем Конвенцией. Ведь Конвенция принималась больше полувека назад и в целом ряде своих положений этот документ очень лаконичен и неконкретен. Развитие многих его положений происходило в национальных законодательствах в последние полвека, фиксировалось в самой Конвенции посредством специальных протоколов. Наша Конституция, принятая в 1993 году, написана точно по модели с точки зрения прав человека Европейской конвенции, которая имеет приоритет над «обычными» законами страны. Однако в большинстве стран, включая Россию, статус конституции выше статуса конвенции. Так что выполнение конституционных и законодательных положений во многом зависит от людей, которые поставлены служить закону.

Изменения в конституции происходят практически во всех странах. В мире сегодня как раз очень много серьезных исследований на эту тему. Каковы процедуры, методы, основания изменений, есть ли для них предел и т.д. Есть такая практика и в России, но далеко не всегда она легитимна. В этом году был подготовлен доклад «Конституционный кризис в России и пути его преодоления», в котором обоснован и поставлен диагноз кризиса. Установлено, что за последние шестнадцать лет достаточно сильно была изменена Конституция — не только в смысле прав человека, но и в других статьях. Отмечен



*Елена Лукьянова,
профессор факультета права
Высшей школы экономики,
член Общественной палаты
РФ (2010–2014)*



Дэвид Смит. Черно-белое прошлое. 1961

очень серьезный перекося в системе разделения властей. Например, президент получил по разным оценкам от трехсот до семисот внеконституционных полномочий, в том числе переданных парламентом. Семьсот полномочий — это серьезно! По сути, изменены параметры политического режима и форма правления в отличие от заложенных в Конституции. Отсюда очень многие проблемы, которые

сегодня возникают, в том числе и в диалоге с Европой.

Может быть, те, кто писал в 1993 году Конституцию России, по крайней мере руководители, которые допустили вообще существование такой Конституции, полагали, что она будет достаточно серьезно защищена, в частности Европой и теми международными обязательствами, которые взяла на себя Россия, ратифицировав

Европейскую конвенцию. И она-таки действительно оказалась защищена, потому что Европейский суд принял несколько решений, которые очень не понравились в России. И Россия теперь размышляет, что же ей делать, притом что наши политики очень любят европейские машины и недвижимость, но очень не любят европейское правосудие. Придется выбирать, что им больше нравится, а остальным, то есть нам с вами, придется выбирать путь, которым мы пойдем, хорошо понимая, что досужие разговоры о том, что у страны есть совершенно особый путь, это занятие для любителей: у этой псевдоособенности нет никакой серьезной научной основы, она ни к чему не приведет.

Цивилизованный мир стремится жить по-другому, устав от множества войн, вражды, неэффективности. И нужно, как и о ценностях, которые заповеданы в главных религиозных книгах, договориться на светском уровне о том, что приемлемо, а что нет, что можно делать и чего нельзя, как сделать так, чтобы меньше было в мире жертв, обиженных, обделенных. Люди разобрались, по крайней мере по итогам XX века, отчего одни страны живут лучше, а другие хуже. И пришли к выводу, что это прежде всего вопрос политических институтов, политической конкуренции и, конечно же, эффективного обеспечения прав личности — словом, демократической сферы. Да, демократия не идеальный политический режим, но лучшего пока ничего не придумано.

Год назад вышла моя статья, из-за которой разразился скандал, — о присоединении Крыма к России... Она называется «О праве налево». В ней я начинаю, однако, не с Крыма, а с дискуссии об адекватном понимании и соответственно применении непростых понятий «верховенство права» и «верховенство закона». Очевидно, что трудности перевода препятствуют формированию в российской юридической науке общепризнанной док-

трины правового государства. Как очевидно и то, что область верховенства права, которое мы когда-то обозначили в нашей Конституции как правовое государство, нами до сих пор не изучена, а кто-то, уверена, об этом ничего даже не прочитал.

Но я уже сказала, что наша Конституция оказалась гораздо больше защищена, в том числе механизмами, инструментами правосудия Европейского союза — ЕСПЧ. По мере того как выносились решения по делам российских граждан (а Конституционный суд все время стоял на позиции, что их надо исполнять), мы адаптировали наше законодательство к практике ЕСПЧ вынесения решений в отношении жалоб из России. Медленно, трудно, но мы научились все же читать нашу собственную Конституцию. Нам помогает в этом Венецианская комиссия, помогает наша собственная дискуссия. Мы, например, в Высшей школе экономики ввели семинар «Читаем Конституцию. Конституция — это модно». Слово за словом, статью за статьей раз в месяц читаем и анализируем ее с лучшими специалистами в разных областях правоправедения и правоприменения, заглядывая в Европейскую конвенцию. И понимаем, что этой работы нам хватит еще на много лет.

Но проблема в том, повторяю, что в России помимо множества субъективных факторов адекватному пониманию сущности правовой сферы препятствует лингвистическая трудность. Самое важное слово *law* переводится у нас и как право, и как закон, а это неаутентичное прочтение, исходящее из позитивистской теории права, до сих пор доминирующей в отечественной юриспруденции. И это в то время, когда в юридическом дискурсе верховенство права в Европе уже прочно ассоциируется с моралью *law and morality*, а не просто *rule of law*. То, что мы толкуем слово *law* как закон и право, с законом не имеет фактически ничего общего,

разве что лишь в определенном контексте и с определенными оговорками.

Понятие и действие национального права, которое выработала Европа за вторую половину XX века, усилено правилами поведения во взаимоотношениях государств (вспомним принцип субсидиарности в деятельности ЕСПЧ). Собственно правом становится правило, освященное моральным сознанием. То есть сначала отрабатываются жизненно приемлемые правила поведения, которые вербализуются и получают либо юридическую силу в отдельном государстве, либо международную защиту.

Сейчас явно обозначилась важнейшая дискуссия: международное право не знает, как адекватно оценивать самоопределение государств, если попытки сецессии (отделения) становятся реальностью, которую нельзя игнорировать. Речь уже о том, не надо ли признать право на сецессию, ввести ее в международный оборот, определить рамки легитимности, условия и пр. Думаю, ее не признают, но дискуссия такая важна, потому что границы все-таки меняются и, вероятно, будут меняться. Европа сделала все, чтобы зафиксировать границы, потому что их движение — почти всегда война. Европа решила: стоп, мы больше не хотим воевать! Оставляем послевоенные границы, а если будет необходимо что-то изменить, будем договариваться, пусть долго и медленно, но договариваться. Сегодня в мире есть попытки сецессии. Право на самоопределение провозглашено в Уставе ООН.

То, что произошло с Крымом, это нарушение Конструкции Европы, установленной в 1945 году, страной, подписавшей все международные обязательства и в один прекрасный момент просто растоптавшей все это. Это абсолютно противоречит ее декларациям, учитывая, что именно эта страна настаивала на мирном процессе и понесла самые тяжелые потери во время Второй мировой войны.

Поэтому наш юридический диалог с Европой после Крыма приобрел особую актуальность и вызвал дискуссию о смыслах и ценностях нашей Конституции, которые ничем не отличаются от смыслов и ценностей основных законов стран сегодняшнего Европейского союза, просто мы их не умеем читать и адекватно применять. В России толком не прочитали свою Конституцию. К тому же, повторяю, у нас доминирует в юриспруденции идея позитивизма, который нуждается в очень серьезной научной корректировке.

Институциональная система современной Европы имеет инструментарий, позволяющий обеспечивать легитимность законов и их применение. В соответствии с ним закон принимается парламентом, который должен правильно избираться, в полной мере отражая доверие большинства к меньшинству. Таким образом, качество законов обеспечивается качеством избирательной системы. При том порядке формирования парламента, который доминировал в России, множество принятых законов нельзя считать правовыми, и поэтому они должны бы быть отменены как не соответствующие принятым критериям, признанным в мире необходимыми. Вообще качество законов выявляется исходя из их соответствия функциям защиты прав и свобод человека. Во 2-й главе российской Конституции есть статья 18, которую я считаю главной в основном законе страны. В ней сосредоточена системообразующая идея регулирования положения личности в обществе и государстве, а также развития всей государственно-правовой системы России. В статье обозначено, что права и свободы человека должны определять смысл, содержание и применение законов, деятельность всех ветвей власти, местного самоуправления и суда. Вот если мы ее суть с детства усвоим, то кем бы мы потом ни стали, не говоря уже о чиновниках, судьях, прокурорах, нам будет намного сложнее нарушать

права и свободы человека. Европа росла и растит своих детей на ценностях и приоритете личности, свободе личности и личного пространства.

Нам в России нужно перефокусировать взгляды, особенно юристам, на законотворчество и правоприменительную практику. А парламент должен работать так, чтобы законы, которые становятся общеобязательными и поддержанными силами государственного принуждения, принимались и исполнялись людьми, чтобы о них можно было судить с позиций европейского правосудия и Европейской конвенции по правам человека.

Важные области законотворческой и правоприменительной деятельности — выборы и суд. В судопроизводстве у нас дела плохи не потому, что судьи не независимы, а потому что у них чудовищно плохое образование в первую очередь! Если сегодня перепроверить их знания, мы рискуем лишиться большей части судейского корпуса: многие просто не ответят на элементарные вопросы, связанные с нашим законодательством. Часть их получила образование в далекие времена, когда господствовали принципы особой, социалистической, законности и правосознания, основанного на доминировании государства и пренебрежении правами личности. То же касается и части правоохранительных органов. Поэтому судейское и правоохранительное сообщество нуждается в существенной трансформации, если мы всерьез предполагаем реформу правоохранительной и судебной системы.

А вот с выборами не все так скверно. Если новый ЦИК даже при очень плохом избирательном законодательстве не станет играть в «плохого полицейского» на ближайших выборах и потребует чистоты и честности хотя бы в одномандатных округах, которых будет 250 в этот раз, то можно будет продвинуться вперед к реализации избирательных прав. Общество к этому готово. Есть наблюдательный кор-

пус, готовы платформы, на которых можно размещать карты голосования, готовы социологи, участки оборудованы аппаратурой видеонаблюдения.

Есть очень хороший доклад Венецианской комиссии о верховенстве права (2011). Это отличный документ в том, кто и как понимает верховенство права. А начинать надо с этого, потому что за двадцать лет мы не удосужились разобрать и в науке, что же такое правовое государство. А у него много признаков, но главный — это приоритет прав человека. В России сегодня (я специально посчитала) всего шесть кафедр на всю огромную страну, которые называются кафедрами прав человека. Но даже эти шесть могут подготовить значительное число специалистов, владеющих предметом. Плюс кафедры, которые так не называются, но где эта тематика все-таки преподается. Хуже, лучше, но преподается. И уже становится заметно, что профессиональное сознание тех, кто закончил эти юридические вузы, — другое. Если эти люди приходят в судьи, они уже работают иначе, чем те, кто вообще никогда не изучал предмет. К сожалению, в прокуратуру почти никто не приходит из тех вузов, где это всерьез преподают. Только Волгоградская академия МВД всерьез преподает предмет о правах человека. Кстати, в Волгограде и начали преподавать эту дисциплину, там целых три кафедры. А больше практически нигде в вузах, которые специально созданы для правоохранительной деятельности, этот предмет не преподается: ни в Академии Генеральной прокуратуры (Москва), ни в Академии управления МВД (Москва), ни в Академии ФСИН (Рязань). Не понимаю, зачем нам вообще такие высшие учебные заведения — академии? Какие такие академики оттуда выходят? Особенно имеющие отношение к правоохранительной работе. У нас, видимо, поэтому 0,3-0,4%, максимум 1% оправдательных приговоров, что правоохранители сплошь академики!



*Василий Жарков,
кандидат исторических наук*

Почему Россия (не)Европа

Начало этого бесконечного разговора уже мало кто помнит, и, видимо, никто не знает, как и чем он закончится. Аргументы обеих сторон известны и почти не меняются, более того, спорящие стороны часто используют один и тот же тезис, выводя из него диаметрально противоположные заключения. Можно ли каким-то образом суммировать сложившийся дискурс в отношении европейской идентичности России, сделав это с акцентом на более актуальной сегодня позиции «против», высказываемой теми, кто по тем или иным причинам считает, что Россию нельзя считать европейской страной.

Все выдвигаемые аргументы, как «за», так и «против», можно условно разделить на три группы. Во-первых, это аргументы, связанные с географией в самом широком смысле этого слова — от положения на карте мира до особенностей климата и рельефа. Вторая группа аргументов связана с поиском общего и различий в культуре. И наконец, в третью группу можно отнести все то, что связано с политикой и экономикой.

Взгляд на карту

Начнем с географии. Европа и Россия могут быть рассмотрены как географические понятия, которые должны быть каким-то образом соотнесены. Аргументы «за» достаточно тривиальны и лежат на поверхности. Европа и Россия образуют единое континентальное пространство, между ними нет никаких значимых географических объектов, будь то океаны, моря, пустыни или высокие горные хребты. Центрально-Европейская равнина переходит в Восточно-Европейскую, или Русскую равнину, на востоке. При этом если мы посмотрим на карту мира, то увидим, что европейский континент отделен практически от всего остального мира, кроме России. От Африки Европа отделена Средиземным морем, от Америки — Атлантическим океаном, от Передней Азии — пролива-

ми и морями Восточного Средиземноморья. Россия — практически единственное место, не отделенное от остальной Европы какими-либо естественными географическими препятствиями.

Исторически Россия, несомненно, является частью Старого Света, куда, правда, входит не только Европа, но и Ближний Восток. Важно, однако, что данное обстоятельство дополнительно привязывает Россию к тому месту на карте мира, где вот уже добрую половину тысячелетия Европа занимает центральное и главенствующее место.

Что еще немаловажно с точки зрения географии, Россия, как и большая часть европейских стран, находится в зоне умеренных широт. Известно, что как раз в умеренных широтах в Новое время возникли наиболее сильные государства с развитой политической системой, способностью создавать и внедрять передовые технологии и аккумулирующими мощный капитал. Географически Россия находится в этом же поясе, и с этой точки зрения должна принадлежать к числу наиболее богатых и устойчивых демократических стран мира.

Между тем каждый из приведенных аргументов может быть опрокинут в пользу ровно противоположных выводов. Особенно если начать копаться в деталях.

Описанное континентальное единство имеет место быть, но очевидно также, что в еще большей степени Россия остается континентальной частью северной Азии. Сколько мы знаем крупных российских рек, относящихся к бассейну Атлантического океана? Нева, в устье которой Россия смогла окончательно утвердиться лишь в XVIII веке, Дон, Днепр, на котором находится Смоленск, а также Западная Двина. Последние две из перечисленных рек имеют устье на территории других, ныне независимых государств Европы (Украины и Латвии). Остальные большие русские реки, включая Волгу и Урал (которые с точки зрения Мирового океана текут «никуда», впадая в гигантское соленое Каспийское озеро), идут в другом направлении. Большинство рек Русского севера и реки Сибири несут свои воды в сторону Северного Ледовитого океана. Так что если посмотреть на карту России, то можно легко увидеть, что Россия как страна принакает главным образом к Северному Ледовитому океану. Даже в современных условиях это пространство наименее приспособлено для судоходства, чем все остальные водные пространства мира. Таким образом, Россия находится на периферии основных океанских путей, в первую очередь трансатлантических.

При этом морской берег сильно удален от большей части континентальной России. Ближайший к Москве морской порт находится примерно в 650 км, что с точки зрения российских расстояний далеко не рекорд. Для сравнения: в Греции, на Пелопоннесе, или в Италии на Апеннинском полуострове ближайший порт находится максимум в сутках пешей ходьбы от любой самой удаленной континентальной точки. Собственно, везде в Европе до моря не слишком далеко. Особенно, если сравнивать с Россией. Это действительно важная разница, не только с точки зрения транспортной логистики. С одной стороны, Россия давно считается морской державой, но, с другой стороны, куда в большей степени Россия — гигантская континентальная страна,



Арнольдо Помодоро. Разрыв (в честь Эдуардо Чильиды). 2003

можно сказать, суперконтинентальная, особенно в сравнении с европейскими соседями.

Когда мы говорим об умеренных широтах, то не должны забывать, что изотерма среднесуточной температуры ноль градусов в январе проходит примерно по границе античной Римской империи. Это — территория западнее Рейна и южнее Дуная и Альп. На более восточных территориях между Рейном и Днестром температуры января понижаются от нуля градусов до минус восьми. Если же вы посмотрите на современную Российскую Федерацию, то ее территория практически полностью, за исключением части Псковской, Новгородской и Ленинградской областей, а также Ростовской области и южнее, находится к востоку от пролегания январской изотермы минус восемь градусов. Уже в Москве средняя январская температурная норма составляет минус десять градусов по Цельсию, а дальше вглубь страны зимние холода только сильнее. Это, конечно, существенно влияло на аграрную культуру в традиционном обществе, так как связано с совершенно разной длительностью сельскохозяйственных работ и иным уровнем урожая.

Даже Екатерина II не могла не напомнить Вольтеру, когда в одном из писем он намекнул ей о желании переселиться в Россию, что зима в нашей стране занимает большую часть года. Для сравнения: в Англии, служившей «крайним севером» Древнему Риму, зимние температуры редко опускаются ниже нуля, январская погода здесь ближе всего, пожалуй, к началу ноября в Подмоскovie, не самом, скажем прямо, суровом регионе России.

Наконец, сравним рельеф. Россия — это страна преимущественно равнинная, в то время как Европа имеет весьма разнообразный рельеф, так что даже от довольно крупных равнин Центральной Европы сравнительно недалеко ближайшиe горы. Не в последнюю очередь в силу этого обстоятельства Европа традиционно считается «цивилизацией камня», а Россия, страна с бескрайними лесами, — это «цивилизация дерева».

Другие «свои»

Тут-то, попутно упомянув американского историка Джеймса Биллингтона, мы плавно переходим к культурным различиям. Аргументы «за» европейский характер российской культуры более или менее очевидны. Россия — христианская страна (как и Европа, имеющая внутри мусульманское меньшинство). Стоит ли напоминать, что русский — это один из европейских языков, что русская письменность основана на греческой и, следовательно, она европейская.

Что же касается повседневных практик и привычек, пресловутого менталитета, то поводов для узнавания и понимания между русскими и европейцами у русских все же куда больше, чем с японцами, корейцами, индонезийцами, китайцами, индийцами или арабами. Отношение к времени, к семье и гендерным ролям, к труду и деньгам при всех известных различиях больше походит на не вполне развитую и не вполне благополучную Европу, нежели на Азию, на девиацию Запада, но не на нормы Востока. Менталитет русских и европейцев не такой уж разный, как нам порой хочется это продемонстри-

ровать. И что уж совершенно очевидно, мы давно должны перестать использовать слово «менталитет» к месту и не к месту, объясняя им буквально все — от низкой производительности труда до отсутствия прав и свобод.

Теперь культурные аргументы «против». Самое очевидное, лежащее на поверхности: восточно-христианская традиция в отличие от западно-христианской не имела развитой схоластики, тем более Россия позднего Средневековья не знала Гуманизма, Возрождения и Реформации. Эпоха Просвещения пришла сюда извне на совершенно иную почву, что не могло не отразиться на восприятии и понимании его идей, и в первую очередь это касалось российской интеллектуальной элиты. Ценности Просвещения были поняты поверхностно и фрагментарно. Довольно скоро возникла иллюзия, окончательно оформившаяся у Герцена, что Европа идет каким-то ошибочным путем, а Россия, глядя на это, может превратить свою отсталость в преимущество, избежав европейских ошибок и предложив некий другой путь. Довольно скоро фетишем русской интеллигенции стал социализм, который рассматривался именно в контексте российской исключительности.

Другая, не менее порочная идея была сформулирована Екатериной II и остается влиятельной вплоть до наших дней, в том числе среди российских либералов. Россия якобы «не готова» к европейским свободам, к демократии. Екатерина довольно лицемерно оправдывалась, что не может ввести представительную форму правления в России, так как ее подданные в большинстве своем для этого слишком малокультурны. И их нужно еще долго просвещать, прежде чем они смогут получить искомые права и свободы.

Вместе с тем отцы-основатели Соединенных Штатов тоже не строили иллюзий по поводу культурного уровня и моральных качеств иммигрантов, переселившихся в Северную Америку. Однако они смотрели на республиканскую форму, на представительную демократию как на универсальную структуру, которая может работать в отношении любого человека. Естественная природа людей вообще малосимпатична, с этим ничего не поделаешь, так что вряд ли даже человечество в целом становится сильно лучше от поколения к поколению. Это по крайней мере не очевидно.

Поэтому представляется бессмысленным кого-то «выращивать» для будущей демократии, хотя бы потому, что, не имея опыта демократии, люди вряд ли научатся существовать в ней и успешно действовать. Со времен екатерининской демагогии прошло более двух столетий, в России открылись тысячи школ и университетов, грамотность стала всеобщей, урбанизация возросла до невиданных ранее показателей, но мы все еще «не готовы». Это «воспитание сверху» может быть бесконечным, пока наконец нация не попробует сама реализовать демократические принципы на практике.

Еще один культурный аргумент — Россия не знала античной цивилизации. Кстати, Крым и Херсонес, пожалуй, и правда, единственное место, где Россия хоть как-то связана с античным прошлым Европы. Не случайно

у Бродского, особенно раннего, до того как он оказался в «большом мире», так много крымских, ялтинских мотивов. На цивилизацию Рима он смотрел отсюда, и этот взгляд был перевернутым. Потому что большая часть древнеримской цивилизации находилась южнее и западнее, а южный берег Крыма был для нее опять же скорее далеким и диковатым скифским севером.

Отсутствие античных корней с точки зрения отношений в государстве описывается главным образом как отсутствие традиции римского права. К этому можно добавить, что, в отличие от большинства других европейских стран, в том числе от Украины и Белоруссии, в средневековом Московском царстве не было ни Магдебургского права, регулировавшего самоуправление городов, ни своего рыцарства и университетов.

Все так. Но нужно заметить, что различия эти болезненны в первую очередь для тех, кто застрял в Средневековье. Собственно, задача Модерна — принести и развить новые институты вне зависимости от того, что на той или иной территории было когда-то в древности. Сам факт наличия мощной археологии на территории той или иной страны еще ничего никому не гарантирует. Посмотрите на Египет, где Александрия была центром эллинистической традиции, на ту же некогда греческую Антиохию, ныне именуемую Сирией. У этих стран нет проблем с культурным наследием прошлого, зато очевидные проблемы с достижениями Нового времени, с модернизацией не только экономики, но и политической структуры, общественных отношений, лежащих в основе современного мира.

Еще один важный момент связан с материальной культурой, со сферой быта. Разумеется, все знают примеры колоссальной роскоши отдельных русских нуворишей и чиновников, как в прошлом, так и в настоящем. Эта роскошь, всегда принадлежавшая немногим, потрясала и потрясает всю Европу. Однако среднестатистический российский человек как жил, так и во многих случаях продолжает жить в целом хуже и беднее своих европейских соседей. На протяжении столетий россияне привыкли к выживанию в очень тяжелых условиях, которые не способствовали формированию высоких требований ни к собственному быту, ни тем более к государству. Нужно признать, что на фоне прошедшего нефтяного бума не вся страна, конечно, но весьма значительная часть российских средних слоев, жители крупных городов, куда устремилась вся динамичная часть населения, пережили время беспрецедентной зажиточности, которую когда-либо могли себе позволить обычные люди в России. Не факт, однако, что это стало привычкой.

Слабое звено Модерна

Обратимся наконец к политико-экономическим аргументам. Это структурные аргументы, и на первый взгляд они выглядят достаточно сильными. В течение всего Нового времени Россия, в отличие от большинства стран Востока, не попала ни в колониальную зависимость от европейских стран, как это произошло с Индией, Индокитаем и Африкой, ни в полуколониальную зависимость, как Китай, Иран и Османская Порта. Более того,



Яннис Кунеллис. Без названия (в честь Эдуардо Чильды). 2003

Россия сама находилась в числе колониальных империй, она, несомненно, одна из сверхдержав Европы, деливших между собой мир.

Справедливости ради надо сказать, что у России был риск колониального подчинения, но он оказался преодоленным довольно рано. Русские купцы XVII века сумели защитить свои корпоративные интересы перед наступлением английского и голландского торгового капитала. Русская аристократия, государев двор и церковь не допустили в начале 1640-х годов свадьбы старшей дочери Михаила Романова, царевны Ирины, на бастарде датского короля Вольдемаре. Иностранцы купцы и дворяне не получили тогда права судебной экстерриториальности в России, хотя всячески этого добивались. Заимствованные из Европы протекционистские барьеры для иностранной торговли закрыли возможность внешнего колониального подчинения страны. К концу XVII века Россия уже была частью Вестфальской системы европейских государств и довольно скоро стала одной из империй Европы. Безусловно, Российская империя начала XX века имела большой внешний долг и зависела от европейских инвестиций в промышленность, поставляя в развитые страны преимущественно зерно и другое сырье, но она все же оставалась вполне дееспособным и несомненно самостоятельным государством, имевшим большие амбиции и перспективы роста. Для сравнения: финансы Османской империи периода заката управлялись извне, что до сих пор считается позорной страницей истории этой страны. Данное обстоятельство ставило Турцию вне Европы не менее чем культурные различия. Россия же подобной грани никогда в своей истории не переходила.

Получается, что Россия прошла схожие со странами Европы стадии структурного развития. И феодализм, и абсолютизм, и тоталитарные режимы не являются чем-то уникально российским. Сегодня они ассоциируются с архаикой, но это все, собственно, европейские явления. При этом в России предпринимались попытки развития демократии и случались, хотя и очень короткие, отрезки истории, когда свобода и демократия, казалось, были достигнуты полностью — мы не можем этого отрицать. Между прочим, в России до сих пор сохраняется республиканский конституционный строй.

Добавим к этому, что структура российской экономики эволюционировала от аграрной к индустриальной, как и в большинстве европейских стран. Хотя, конечно же, нельзя не признать: на складывавшихся мировых рынках Нового времени Россия играла роль сырьевого придатка.

Здесь опять же можно легко продемонстрировать, как все аргументы «за» могут быть повернуты вспять.

Так, будучи колониальной империей, в отличие от Испании, Португалии, Франции, Голландии и Англии, Россия оставалась исключительно континентальной страной. Ее территориальные вторжения шли исключительно по суше, севернее полосы пустынь и гор, которые начинаются от Ближнего Востока в сторону Памира и пустыни Гоби. Это была естественная географическая граница России с юга, которую она не смогла перейти. На западе империя уперлась в границы Центрально-Восточной Европы. Российский географ, действительный член Академии наук

Александр Гагемейстер писал в 20-е годы XIX века, что Россия в результате успешных захватов на юге и западе от своих границ оказалась всего в одном военном переходе от Вены и Берлина, столиц Австрии и Пруссии. Однако, цени свою принадлежность к европейской системе международных отношений, Российская империя никогда всерьез не рассматривала возможности перейти эту черту и двигаться дальше на запад. Для той России было невероятно важным оставаться в одной семье с другими европейскими странами. Империя дорожила своими землями на востоке Европы, но она никогда не претендовала и не могла претендовать на захват Европы целиком.

Говоря о неудачном опыте российской демократии, что весьма болезненно для многих, особенно в последние годы, нельзя забывать, что путь к свободе не был усеян розами и для большинства европейских стран. Долгое время в Европе существовало понятие старого порядка. Среди историков его также принято называть абсолютизмом, или деспотизмом. Но это европейский порядок. Его сердцем долгое время была Франция с особыми сословными привилегиями для дворян, с «одворяниванием» верхушки третьего сословия, с произволом королевских судей, тотальным взяточничеством и казнокрадством и, конечно же, с ничем не ограниченной властью «солнцеподобного» короля. «После нас хоть потоп» — эта столь известная и употребляемая в современной России фраза разве не оттуда? Сами европейцы не любят называть старый порядок европейским, французские просветители видели в нем «туретчину». Однако, пожалуй, нет такой страны в Европе, которая не прошла бы через «старый порядок». Кто-то вышел на другой уровень развития быстрее и безболезненнее других, кто-то застрял на подольше, а кто-то не может вылезти из ямы прошлого до сих пор.

Итак, мы видим, что любой из рассмотренных аргументов может быть обращен в противную сторону. Мы также видим, что это превращение тоже не выглядит стопроцентно убедительным. На сегодня я остановился бы на этом месте, зафиксировав в том числе некую опасную вязкость всего разговора вокруг европейской принадлежности России. Возможна ли не только взаимная критика, но и синтез аргументов?

Два ответа одной страны

Прежде всего необходимо отметить, что каждая группа аргументов превалирует на определенном этапе политического развития России. Эпохи оттепели, если угодно, эпохи неких демократических прорывов, связаны с доминированием идеи русской европейскости, своеобразного европейского оптимизма в отношении России. В то время как, конечно, в эпохи реакции (наиболее хрестоматийными здесь, конечно, были периоды правления Николая I и Александра III) превалировал не просто скептицизм, а порой агрессивное отрицание почти всего европейского в России.

Так что можно даже предположить, как только мы слышим рассуждения про «особый путь» России, что Россия — это не Европа, как только возникает очередная мода на разного рода конструкции, что Россия научит Европу

«правильной жизни» — все это обычно означает, что российское общество в очередной раз испугалось развития и повернуло в сторону регресса и архаики. Это, кстати, важный аналитический момент сам по себе. Независимо от того, какая из сторон права.

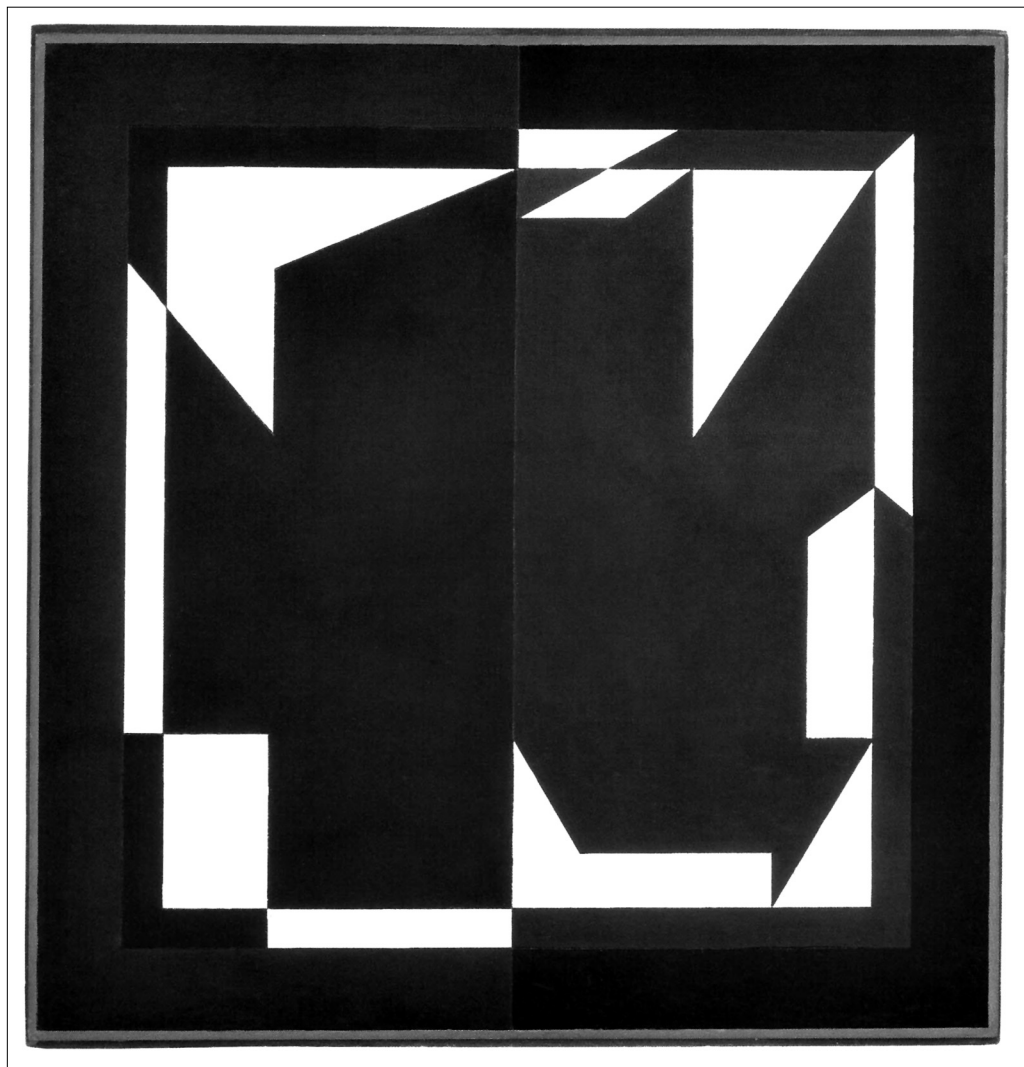
Ища баланс между аргументами «за» и «против», я попробую предложить довольно тривиальную формулу, где Россия может быть представлена и описана как особая ассоциированная часть Европы, представляющая одну из версий общего европейского опыта. Это самостоятельная часть Европы со своими географическими и культурными особенностями, главная среди которых — более позднее развитие, что ясно видно по тому, когда происходит принятие христианства, возникновение и развитие письменности, государственности и т.д. Посетив Музей палеографии в Париже, легко увидеть, насколько отставала Древняя Русь сразу же с момента своего возникновения. Просто нужно сравнить, когда возникли первые письменные документы у франков, а когда — у древних русов. Тогда эта разница в развитии составляла несколько столетий. Потом к началу Нового времени Россия, собственно, появившись на свет, пришла в состояние Европы раннего Средневековья, если судить по институтам и развитию искусств. То есть Россия — это Европа, но каждый раз более ранняя и архаичная, чем действующий европейский мейнстрим. То же сохраняется и сегодня, когда Россия все более похожа на Европу 30-х годов XX века.

Получается, что русские — это все же дети европейской цивилизации, но поздние и все время немного отстающие в своем развитии. Но они — из одной с европейцами семьи. Более слабое развитие общественной самоорганизации и политической структуры, идейная и техническая зависимость от других частей мира, и прежде всего, конечно, от Европы, догоняющее развитие — вот, наверное, важнейшие отличительные особенности российской версии европейской истории, культуры и политической структуры.

Стоит заметить также, что все российские особенности не являются тем, за что стоит держаться. Все это, по правде говоря, можно было бы с радостью оставить в прошлом. И вся проблема состоит как раз в том, что Россия от этих своих особенностей не может никак избавиться. Все время, на каждом этапе истории они хватают и тянут страну куда-то вспять, снова и снова заставляя рефлексировать, рассуждая, получится ли у нас современное европейское общество или не получится. И каждый раз, глядя на европейскую современность, мы описываем ее как проект для собственного будущего. Не удивительно, что каждый раз, достигая этого желаемого будущего, мы остаемся в европейском прошлом, так и не попадая в актуальное течение.

Другие стереотипы

Начиная подводить итоги, хотелось бы обратить внимание на, пожалуй, самое важное, методологическое ограничение во всем происходящем разговоре — Россия это Европа или нет? Почти все, о чем так порой уверенно



Виктор Вазарели. Эрфа. 1953

говорят историки, в той или иной степени представляет собой конструкции и построения их ума. И даже если нам иногда кажется, что это описание очень стройное и верное, взгляд с третьей стороны может быть принципиально иным, удивительным и совершенно неожиданным с точки зрения наших собственных представлений и стереотипов.

Где, к примеру, проходила граница между Европой и не Европой в сознании западноевропейских путешественников XVIII века? Достаточно заглянуть в известную книгу Ларри Вульфа, «Изобретая Восточную Европу», как станет ясно, что Европа англичанина или француза изначально ограничивалась странами так называемого большого путешествия, куда входили Фламандия, Немецкие земли, Северная Италия и Франция.

Восточнее Вены и Берлина начинался другой мир. Уже не Европа с привычным ее жителям уровнем комфорта, но еще не Великая Татария. Некое про-

странство экзотики и, если угодно, экстрима. Например, кровати в гостиницах, начиная с Польши, становились редкостью, так что часто нужно было спать на сеновале. Зато вокруг становилось много экзотических людей. Татары на лошадях, евреи в длинных лапсердаках и широкополых шляпах, цыгане, славяне. Плюс бескрайние леса, снег, овчинные тулупы и топоры вместо пил.

Вся это кажущаяся бескрайней земля включала в себя не только Россию, но и Польшу, и Венгрию, и Румынию, и Балканы. И не видно в этой оптике никакой границы между Россией и, скажем, Литвой, как не было и никакой особой границы между Россией и Турцией. Просто если долго ехать заснеженными польскими и прибалтийскими лесами на север, можно добраться до блистательного и роскошного Петербурга, где на Сенном рынке мужики в овчинах, со страшными бородами. А можно долго ехать по степям на юг, через Венгрию и Сербию, наблюдая цыган, мусульман и сербов во всей их нищете и бесшабашности, а потом оказаться в Константинополе с роскошными султанскими дворцами и удивительным восточным базаром. Все, что встретится на этом пути, и будет Восточная Европа.

Между прочим, весь позднесоветский период многие неконформистски настроенные интеллектуалы в странах народной демократии с отчаянием говорили об «историческом проклятии» Восточной Европы, которая, как ни старается, не может стать нормальной Европой. Сейчас, однако, это по большей части ушло. В своей региональной идентификации эти страны, освободившиеся от коммунистического прошлого, предпочитают говорить о своей принадлежности к Центральной Европе. Восточная Европа осталась вместе с «народными демократиями». И переместилась на Восток. Собственно, мы, Россия, сегодня и есть оставшаяся Восточная Европа. И природа отчаяния многих сегодняшних прогрессистов во многом сродни той, что была в Польше или Румынии 1980-х.

Еще один ракурс, более современный, представляют американцы. Американцы, разумеется, считают Россию частью Европы. Более того, для Америки, особенно Северной, Европа — это совсем не рай и не предмет для подражания. Земля обетованная — это сама Америка, которую открыли в тот момент, когда человечество достигло эпохи Просвещения. Именно тогда европейские религиозные диссиденты приезжают в Америку, как считали некоторые умы, для того, чтобы на этом новом месте построить общество, лишенное изъянов старой европейской жизни в виде религиозной ненависти, деспотизма, рабства, социального неравенства и т.д. и т.п. Для американца из этой его перспективы Россия — просто очень периферийная часть Европы, где наиболее полно сохраняются архаичные порядки и связанные с ними предрассудки. Но все это не делает Россию «не Европой», поскольку когда-то во всей Европе так ведь и было, повсеместно. Да и сейчас не без проблем.

Стоит ли говорить, что китайцы смотрят на Россию как на европейскую страну, ближайшую к их собственным границам. Более того, исторически Россия для китайцев — белая колониальная империя. Может быть, только Африка и Юго-Восточная Азия так на Россию не смотрят, потому что у России никогда не было колоний в Африке и Индокитае, а Советский Союз

декларировал борьбу за освобождение колоний. Однако в целом для многих на Востоке, в особенности же для джихадистов, Россия относится к той части мира, с которой они ведут свою бескомпромиссную войну. Мы для них такие же христиане и «крестоносцы», как любые другие европейцы.

Последнее отнюдь не по значению обстоятельство состоит в том, что сама Европа представляет собой культурное множество. И это множество растет, а не уменьшается. Поэтому, конечно, самое порочное в споре о европейской принадлежности Европы — это противопоставлять Россию некоему единому европейскому конструкту, а не сравнивать ее с отдельными странами, образующими европейское пространство.

В этом отношении куда интереснее, на мой взгляд, вопрос, почему Россия не Финляндия. И географически, и климатически, и с точки зрения истории, и в плане некоторых специфических бытовых особенностей обе эти страны не так уж далеки друг от друга, как кажется на первый взгляд. В Финляндии, некогда входившей в состав Российской империи, сохранилась русская деревянная архитектура XIX века, и она куда в лучшем состоянии, чем в самой России. Но при этом, конечно же, в Финляндии создана инфраструктура современной страны, развитая и самая устойчивая в мире политическая структура и т.д. Причем не стоит забывать, что еще в 30-е годы прошлого века Финляндия далеко не всеми в самой Европе воспринималась в качестве вполне европейской страны.

Выбираться из географической ловушки

Рассуждая о европейской принадлежности того ли иного государства, мы не должны абсолютизировать географический фактор, жаловаться, что нам не повезло с климатом и далековато до теплых морей. Испания, например, всегда находилась практически в идеальном положении с точки зрения географии и климата. У нее всегда был выход одновременно и к Средиземному морю, и к Атлантике, так что Испания стала первой империей, которая могла сказать о себе, что в ее пределах никогда не садится солнце.

Однако на протяжении столетий, почти весь период Нового времени Испания шла не вверх, а вниз в своем развитии, теряя лучших интеллектуалов, экономические возможности, колонии и бывшее международное значение. Начало XX века эта страна встретила депрессией, затем была гражданская война, фашистская диктатура генерала Франко. Только последние 40 лет Испания начала демонстрировать обратное движение, настолько стремительное и успешное, что сегодня, в отличие от 1950-х годов, никому уже не придет в голову сказать, что Африка начинается к югу от Пиренеев.

Не хотелось бы в заключение сеять ложный оптимизм. Ничто никогда не приходит само собой — это надо помнить и понимать. Прогресс в общественной жизни и экономике не подобен картошке и не будет расти, когда мы спим. Поэтому я очень надеюсь, что от все более бесплодной дискуссии о России и Европе, российские интеллектуалы перейдут к каким-то более конкретным делам, связанным с прогрессом и будущим для своей страны. Бесконечное хождение по кругу в спорах о том, Европа мы или нет, очень мешает развитию современной России.

Российское общество: чувства и ожидания



*Алексей Макаркин,
первый вице-президент
Центра политических
технологий*

На фоне длительной стагнации основных показателей экономики России все чаще в политических, экспертных и медиасообществах возникают дебаты, обнародуются сценарии и прогнозы в связи с перспективами институционально-экономического и социального развития страны. Выдвигаются гипотезы, часто противоречивые, способов реформирования важнейших компонентов Российского государства. Задаются вопросы: будут ли проводиться реформы? Если будут, то как? Какая роль в этой перестройке № 2 отводится отдельным сценариям, школам, персонам? Какое место может занять, например, Алексей Кудрин, который возглавляет совет Центра стратегических разработок и стал заместителем руководителя Экономического совета при президенте. Что может он предложить в качестве реальной программы выхода страны из кризиса?

В стране создается Российская гвардия — принципиально новая силовая структура. И в этой связи возникают вопросы: что это может означать и как это связано с состоянием общества? Чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо осмыслить общую картину восприятия обществом своего положения.

Общественное мнение

Без разговора об отношении общества к государству нельзя понять возможное развитие событий. Сегодня общественное мнение не благоприятствует реформам. Есть два интересных исследования Левада-Центра (начало 2016 г.). Одно — «Какая политическая система для вас предпочтительна?» — советская, современная или западная. Сейчас относительное большинство россиян высказываются за советскую систему (37%), а количество «западников» заметно сократилось. В 1996 году их было почти 30%, сейчас — 13%. Запад не только наш политический, но и ментальный, цивилизационный противник,

утверждают по телевидению. Тут, мол, сплошные иммигранты; стоит приехать сюда человеку, как его могут взорвать или зарежут исламисты. Это страшная цивилизация: на глазах у детей убивают животных в зоопарках, всюду однополые браки, гомосексуалисты и т.д. Запад отвергается не только на рациональном, но и на эмоциональном уровне.

Интересно, что нынешнюю политическую систему в России поддерживают 23% респондентов — и это несмотря на сохраняющийся (хотя и слабеющий со временем) «крымский» энтузиазм. Это свидетельствует о том, что мощная поддержка конкретных действий президента и результатов внешней политики власти не означает одобрения политического уклада в целом. Более того, присоединение Крыма вписывается в контекст ностальгии по «благостным» советским временам, когда страна была сверхдержавой, а советские люди отдыхали на крымском побережье.

Отношение к экономической политике также интересно. Распределение благ в социальной сфере и планирование в экономике поддерживают 52% респондентов. Практически никогда за последние два десятилетия эта цифра не опускалась ниже 50%, даже в первой половине кризисного 2008 года. Лишь 26% предпочитают частную собственность и рыночные отношения в качестве доминирующего уклада.

Власть и реформы

Такова самая общая картина настроений в обществе. А как обстоят дела во власти? Каковы ее действия, намерения, прогнозы ситуации в стране? Первое, что сегодня, кажется, начинают осознать — это необходимость структурных реформ, масштабных преобразований, которые должны коснуться не только экономики, но и общественных отношений. Например,

реформирование отношений между государством и гражданином — в частности, масштабные реформы судебной системы на всех уровнях осуществления правосудия. Эта реформа, наверное, наиболее назрела, так как современное состояние судебной и правоохранительной системы явно числится среди главных причин паралича модернизационных процессов.

Вторая область реформ — оптимизация финансово-бюджетной сферы в условиях нехватки средств. С одной стороны, неизбежно сокращение расходов, в том числе и социальных, а с другой — повышение эффективности государственного управления на всех его уровнях.

Беда, однако, в том, что столь необходимые структурные реформы маловероятны в силу двух проблем. Про общество я уже сказал: нет коалиции, нет обладающих необходимыми ресурсами людей, которые могли бы объединиться и выступить за эти реформы.

Поскольку подталкивание реформ снизу отсутствует, актором может выступить власть. В нашей истории было много реформ, некоторые из них стали буквально самыми настоящими «революциями сверху», если воспользоваться терминологией историка и писателя Натана Эйдельмана. Вспомним великие реформы Александра II и реформы конца 80-х годов прошлого века. Но сейчас власть ориентирована на удержание статус-кво, на консервирование порядков, устраивающих чиновничество, депутатский корпус, служащих Фемиды, многих бизнесменов.

Более того, не только власть, но и элиты ориентированы на статус-кво. Они все получили и не хотят этого лишиться. Им хорошо живется при нынешней судебной системе, вполне лояльной, как показывает практика правоприменения, к коррупции, и подходит такая система государственного управления, ведения дел в экономике, где система откатов, конкурсные процедуры для своих и прочие криминальные

схемы органично вписаны в порядок жизни чиновников, решающих вопросы там, где крутятся финансы, особенно государственные.

Похоже, сейчас Алексей Кудрин возвращается во власть. Может быть, со своими сторонниками он затеет какие-то политические и иные полезные реформы. Не стану гадать, есть ли у Кудрина какой-то свой антикризисный план и какова его суть. Напомню лишь, что был в свое время проект Германа Грефа, кстати, на площадке упомянутого Центра стратегических разработок (ЦСР), который им же был основан в 1999 году. В этом проекте были и серьезные политические компоненты, то есть программа ЦСР не была чисто экономической. Например, была реализована идея суда присяжных. Был предусмотрен ряд реформ в судебной сфере, которые имели реальное политическое значение. Или, например, был разработан правовой режим оборота земель сельскохозяйственного назначения. Причем если при Грефе отдельные преобразования осуществлялись с целью повышения инвестиционной привлекательности страны, то Кудрин в своем сценарии реформирования может опираться на иные идеи. Однако реализовать их ему будет непросто, сложнее, чем Грефу, который уже в 2000 году был министром экономического развития и торговли и продвигал свои идеи изнутри правящей системы. Кудрину же предстоит преодолеть некие барьеры, потому хотя бы, что к такому советнику с неясными полномочиями, я думаю, отношение может быть достаточно скептическое. Более того, слухи о том, что Кудрин может стать новым премьером, не способствуют его популярности внутри действующего правительства, что вполне естественно психологически.

Есть и другая проблема реализации институционального и экономического реформирования по сценарию Кудрина.

В России были реформы, направленные на снижение административных барьеров в отношении малых предпринимателей. Был принят хороший закон, где значительная часть барьеров была снята, существенно сокращено количество видов деятельности, подлежащих лицензированию. Однако через какое-то время стало ясно, что нагрузка на предпринимателей в результате выросла, так как на месте множества небольших барьерчиков были выстроены два-три, но огромных барьера. Такая профанация реформы (и экономической, и политической) также возможна, она имеет достаточно серьезную и грустную традицию.

Особенности оптимизации

Первое крупное оптимизационное мероприятие — хорошо известная монетизация льгот в 2005 году — было проведено крайне плохо. Власть полагала, что если объяснить народу достоинства монетизации два-три раза, то этого достаточно. Но народ вышел на улицу. Общество вообще к слову «реформа» с 90-х годов относится плохо. А здесь такой страх — отбирают привычные льготы! И это не просто удар по материальному положению, но и ущерб статусу. Льготы воспринимаются не только как материальный эквивалент, но и как знак признания обществом особых заслуг — трудовых, воинских и других. Этот протест удалось погасить огромными денежными вливаниями, благо деньги на это тогда были.

С тех пор власть начала работать с обществом аккуратнее. Это не означает, что она отказалась от оптимизационных мероприятий, но стала учитывать общественную психологию. Например, реформы предпочитают теперь не называть реформами. Обществу объясняется, что проходят абсолютно рутинные мероприятия — например, оптимизация числа медучреждений, школ в сельской местности.



Томас Шютте. Без названия. 1995

Кроме того, оптимизационные мероприятия растягиваются во времени: в одних регионах их проводят раньше, в других позже, и при этом всячески подчеркиваются их плюсы. Что пациентам стало лучше, что студенты радуются, когда учатся в укрупненных университетах, которые скоро будут похожи если не на Оксфорд (Запад же плохой!), то на китайский университет Цинхуа*. Тем более что плюсы в ряде случаев являются реальными — это не только пиар. Например, растет зарплата преподавателей, хотя и за счет увеличения нагрузки.

Наконец, у самих работников структур, подлежащих оптимизации, интересы нередко различны — и их разногласия можно дополнительно стимулировать. Допустим, в учреждении происходит существенное сокращение штатов. Работники сразу делятся на несколько групп, тем более что в России отсутствуют сильные и влиятельные профсоюзы, которые могли бы их сплотить. Те, кто знает, что остаются, становятся активными сторонниками реформ. Они выигрывают, могут получить дополнительные финансовые доходы, более высокий статус. Второй тип — менее уверенные; они пытаются зацепиться за место, доказывают своим руководителям, что они самые лучшие, самые преданные. Иногда даже информируют руководство о том, кто не вполне благонадежен; каждый играет сам за себя. Третьи — те, кто, наоборот, уверен в себе, но не принимает эти изменения. Такие могут уйти сами. Понятно, что в небольших городах это значительно сложнее, но в крупных — Москве и Петербурге — это существенно проще. Соответственно у всех этих групп есть свои стратегии, не предусматривающие участия в коллективном протесте. Наконец, четвертая группа поднимает флаг

борьбы, организует митинги, обращается к парламентской оппозиции, а иногда даже внепарламентской. Однако они составляют меньшинство.

Теперь в повестке новые оптимизационные мероприятия. Когда у нас сейчас говорят о реформах, имеются в виду именно они. Не масштабные структурные реформы, авторами которых выступают действительно квалифицированные люди. Другое дело, что будет затронута священная корова, которую не затрагивал никто, — это пенсионная реформа. Как мы знаем, это сделано уже в очень многих странах. Совсем недавно это произошло в Белоруссии, где Александр Лукашенко, правда, пошел по консервативному сценарию, повысив пенсионный возраст на три года для мужчин и для женщин. В России предложен шоковый сценарий — повышение пенсионного возраста для мужчин на пять лет, а для женщин на десять. Мне кажется, тут хотят сперва слегка людей напугать, а потом немного отступить, то есть сбросить пару лет. Это для начала, а потом будет видно. Ясно одно — повышать пенсионный возраст придется, потому что государство просто этих расходов не выдерживает при нынешней демографической нагрузке и в кризисной ситуации.

Запас прочности

Каков в этой ситуации запас прочности у власти? Как общество сейчас оценивает действия власти? Исследования Левада-Центра показывают, что за последние полгода заметно снизились все рейтинги, кроме президентского. В 2014 году после присоединения Крыма рейтинги пошли вверх, президентский рейтинг «рванул» и потянул за собой все остальные. Наши граждане прониклись теплыми чувствами

* Ведущий университет в КНР основан в Пекине в 1911 году. Входит в девятку элитных вузов страны. (Прим. ред.)

даже к депутатам Государственной думы, которых обычно не слишком жалуют: в 2014-м и большей части 2015 года Дума оказалась в плюсе, чего не было по крайней мере с середины 90-х годов, с самого создания Думы. Депутаты воспринимались как «государевы люди», голосовавшие за присоединение Крыма. И все же в декабре 2015-го Дума уже была в небольшом минусе: ее работу одобряли 48% респондентов, а не 51%. Позже это соотношение вернулось к обычному состоянию — 40% одобряющих против 59% не одобряющих. Губернаторы удостоились одинаковой оценки одобрения и недовольства — 49%. Оценка деятельности правительства была в большом плюсе. Сейчас она установилась на уровне обычных величин поддержки и неодобрения — 48% к 51%. Премьер-министр был в огромном плюсе — 23 пункта (62%) одобрения. Сейчас плюс 10 — немало, но куда меньше, чем раньше.

Таким образом, общество ощущает, что большие ожидания не реализовались, поэтому ищет ответственных, виноватых. Самые виноватые, конечно, депутаты, которые, по мнению россиян, принимают плохие законы и бездельничают, но и других все чаще винят.

Но есть две важные оценки, которые население ставит достаточно стабильно: это одобрение деятельности президента и вопрос о том, правильной ли мы дорогой идем или ошибочной.

Президентский рейтинг держится почти как скала — на уровне 85% в декабре 2015-го и на уровне 82% сейчас. Относительно того, правильной ли дорогой идет страна, соотношение в декабре 2015-го было 56 к 27% в пользу «правильности». Сейчас 50 к 37%. Ухудшилось, но не критически отношение населения к депутатам и к главам регионов.

Почему это происходит? Для понимания этого проводятся фокус-групповые исследования, когда людей спрашивают не толь-

ко о том, что они считают, но и почему они так считают. В ходе таких исследований (их проводят и Центр политических технологий, и другие аналитические и социологические структуры) даются разные ответы, но примерно одинаковые по идее: если не президент, то кто? Если мы сейчас откажем в доверии президенту, то дальше полная безнадежность. Ощущение такое, что люди на рациональном уровне могут разочароваться в политике, а на эмоциональном не рискуют расставаться с «путинско-крымским эффектом», с оппозицией Западу, невзирая на санкции.

И второй аспект, который традиционно свойствен президентскому рейтингу. Он связан с двумя факторами. Первый — это безальтернативность. Общество не видит других серьезных кандидатов. Даже те, кто голосует за Зюганова или Жириновского, в большинстве своем не видят их на посту главы государства. Они голосуют по инерции или из протеста.

Второй фактор заключается в том, что президент — это человек, который отвечает за политику. Люди не хотят глубоко погружаться в нее; им удобнее переложить ответственность на конкретного человека. Он президент, у него есть результаты, пусть работает, мы не хотим об этом думать, у нас и других дел полно — таков примерно ход их мыслей.

Рейтинг президента к тому же во многом отделяется от экономических факторов. Если в холодильнике становится меньше продуктов, то виноваты депутаты-дармоеды, виновато некомпетентное правительство. Президент выводится за скобки.

Серьезное падение рейтинга президента возможно только в случае, если общество сочтет, что ситуация совершенно безнадежная. Непопулярный курс может снизить этот рейтинг, но не сразу, а в течение достаточно длительного времени, так как 82% — достаточно высокий запас прочности. Даже если рейтинг президента снизится, например, до 70–65% (это его рей-

тинг до Крыма), то это все равно колоссальный отрыв от всех возможных конкурентов.

Разум и эмоции

Интересно, кто эти 30% граждан, которые не считают, что мы идем в правильном направлении, и в то же время одобряют деятельность президента? Думаю, что это результат подавления разума эмоциями. То есть на рациональном уровне человек понимает, что с политикой что-то не так, но он психологически держится за президента, у него

есть ощущение, что без президента все рухнет. Это основано на опыте конца 80–90-х годов, когда властный тотальный контроль сменился вакуумом власти, а обществу новый правящий класс просто посоветовал: «Разбейтесь сами. Зарабатывайте, как сможете, конкурируйте, выживайте. Кто пробьется наверх, тот молодец, кто упадет, тому просто не повезло, тот слабак». Это был колоссальный травмирующий фактор, люди не хотят чего-то подобного, и на этом фоне сложилось предпочтение видеть у власти лидера, в каком-то смысле уподобляемого царю в прежние времена. Само собой происходило сравнение нового президента с предшественником. Борис Ельцин слабый, пожилой, можно назвать массу других минусов. Новый президент, наоборот, сильный, молодой и способный управленец. Постепенно в его образе начали утверждаться черты суверена, охранителя Отечества и его духовных ценностей. И вот после Крыма это уже харизматичный лидер с имперскими амбициями. Поэтому, даже если дела в стране идут не так, как хотелось бы, виноваты депутаты, которые такой жуткий закон приняли;

виноваты Запад и прочие недруги, которым не нужна сильная Россия.

Но кроме эмоций действуют еще и представления о разделении функций и ответственности. За экономику, например, отвечают правительство, премьер и опять же депутаты, которые пишут законы. А прези-

Ощущение такое, что люди на рациональном уровне могут разочароваться в политике, а на эмоциональном не рискуют расставаться с «путинско-крымским эффектом», с оппозицией Западу, невзирая на санкции

дент отвечает в первую очередь за внешнюю политику и оборону, за что ему всегда ставили плюсы. Причем параметры внешней политики могут меняться на различных этапах. Вначале гордились тем, что мы теперь сидим в «восьмерке» не на приставном стульчике, как в 90-е, а как полноправные игроки, нас уважают, мы свои для мирового сообщества. Когда нас «ушли» из G8 после Крыма, то одобрение населением внешней политики России сохранилось, но с противоположной мотивировкой: мы вернули свое, нас пытаются поставить на колени, но у нас есть чем «им» ответить. То есть в распределении ролей между ветвями власти президенту достаются наиболее выигрышные внешнеполитические шаги, причем общественное мнение реагирует на них достаточно гибко, позволяя в разных ситуациях проводить как более жесткую, так и более мягкую политику — в зависимости от конкретных условий и вызовов.

Иранская аналогия

Важный и, наверное, самый интересный момент — как могут у нас развиваться



Эдуардо Чильида. Наковальня мечты III. 1958

события дальше. Проведем аналогию — при понимании ее условности, так как речь идет о конкретной ситуации в конкретной стране Иран, которая в президентство Махмуда Ахмадинежада оказа-

лась в жестком противостоянии с Западом, вызванном попыткой реализовать свою военную ядерную программу. Реакция иранского общества на эти события претерпела четыре фазы.

Первая фаза — эйфория сразу после введения санкций против страны. На первых порах ничего не происходит. В магазинах ценники не меняются, все хорошо. Главное, что не ударили, не разбомбили, как это сделали с Ираком, живем и даже процветаем. Эйфория проходит в считанные месяцы. В России — примерно то же самое.

Вторая фаза: да, стало похуже, но санкции являются не только негативным испытанием, но и шансом изменить, диверсифицировать экономику, создать ресурсы импортозамещения. Причем этим занимались серьезные люди из Корпуса стражей Исламской революции — элитной военно-политической структуры, которая имеет весьма большое влияние абсолютно на все сферы жизни страны. Это огромный конгломерат, у которого есть свои предприятия, прежде всего военно-промышленного комплекса. Иранцы начали строить импортозамещение с опорой на официальную идеологию, то есть на жесткие догматы религии и антиамериканизм. Все это зашло в тупик примерно года за полтора-два. Результаты импортозамещения в России, его временные рамки примерно такие же.

Третья фаза — застой. В Иране она в первую очередь коснулась среднего класса, традиционно голосующего за реформаторов. Но спад понемногу стали ощущать и другие слои общества. Сейчас и россияне, похоже, испытывают определенные ограничения, особенно в потреблении. Однако большинство населения считает, согласно опросам Левада-Центра, что политику в отношении Запада надо продолжать, несмотря на санкции. При этом 31% респондентов довольно обеспокоены санкциями, что, впрочем, не мешает и им считать оправданными действия власти.

Четвертая фаза — это попытка выхода из кризиса, когда люди начинают искать альтернативу. В Иране усилилась роль поли-

тиков, которые выступали за компромисс с Западом, так называемых реформаторов и умеренных консерваторов. Я их очень условно разделяю, потому что внутри этих групп большое количество небольших группировок, но две большие группы — умеренные консерваторы и реформаторы — сплотились вокруг Хасана Рухани, который был приемлем для рахбара — духовного и политического главы Ирана Али Хаменеи. На выборах 2013 года президентом страны стал Рухани. В июне 2015 года Иран отказался от ядерной программы, а еще через год были отменены санкции. И сейчас Рухани добился больших успехов на парламентских выборах. Его сторонники в коалиции с умеренными консерваторами на выборах в апреле 2016 года получили в парламенте большинство.

Российский вариант

В чем отличие российской политической системы от иранской? В том, что иранская система, притом что мы ее воспринимаем как очень жесткую, негибкую, сугубо идеологическую, на самом деле достаточно эластична. Во всяком случае, в стране возможна передача власти внутри исламской элиты, в которой есть разные группы и группировки, связанные не только с какими-то экономическими интересами, но и с идеологическим (в довольно широких рамках исламской идеологии), политическим и внешнеполитическим выбором. Президентами здесь успели побывать и умеренный консерватор Али Акбар Хашеми Рафсанджани, и, пожалуй, самый крайний реформатор Мохаммад Хатами, и крайний консерватор Махмуд Ахмадинежад, сейчас реформатор Рухани.

У нас система власти отчетливо моноцентрична, выстроена под одного человека, который, особенно после 2014 года, а также в связи с ролью России в иракской

кампании и отстаиванием особой позиции в международных делах, все более становится в глазах россиян харизматическим лидером. Президентские выборы 2018 года будут носить скорее плебисцитарный характер, то есть демонстрацию степени поддержки линии президента, что фактически означает выбор между «своим» и «чужими». В роли «чужих» выступит все тот же Запад и «пятая колонна» внутри страны.

Поэтому если огромный президентский рейтинг в 82% будет снижаться, все равно до 2018 года запаса прочности вполне хватит. Соответственно феномен Рухани (выборной конкуренции) у нас невозможен, а давление на главную фигуру может осуществляться какими-то другими способами.

Главный способ — давление снизу, когда люди достигнут предела недовольства оптимизациями, включая социальную нагрузку на бюджет, повышение пенсионного возраста, замораживание зарплат и пенсий и пр. Давление снизу возможно, оно может принять самые разные, в том числе радикальные формы.

И вот здесь мы возвращаемся к событию, о котором я упоминал в начале, — к созданию Национальной гвардии. Стали заметны демонстративные учения внутренних войск (теперь это Нацгвардия) в некоторых регионах, например в Смоленске. У каждого учения должна быть какая-то легенда. Легенда учений в Смоленске была следующая: граждане получили огромные платежи за коммунальные услуги, устроили несанкционированный митинг, стали забрасывать полицейских бутылками, камнями и дымовыми шашками, а внутренние войска их победоносно разогнали. Можно было, конечно, выдвинуть какой-то другой сценарий: несистемные оппозиционеры, «пятая колонна», экстремисты, американские агенты с криками «Даешь Оба-

му!» устроили незаконную акцию на американские деньги, на конфетки и печеньки. Это понятно и вполне вписывается в доминирующий пропагандистский тренд.

А тут легенда куда более реалистичная, населению прямо объясняется, что если самостийно на улицы пойдут даже «свои», с лояльными к первому лицу требованиями «Государь, спаси и защити от этих плохих депутатов и чиновников!», то реакция будет жесткой. Она будет мало отличаться от действий в отношении внепарламентской оппозиции.

И другой аспект возможных исканий, это уже не давление снизу, а это такие сигналы власти, что надо что-то менять, надо все-таки как-то идти на диалог с наиболее активными общественными группами, причем разными, надо разжимать политическую систему, нужен независимый суд, неотвратимость правосудия. При этом понятно, что никакое элитное давление на президента невозможно, попытки такого давления могут привести только к крайне печальным последствиям для любого представителя элит, который попытается это сделать. Поэтому это будет, конечно же, не давление, а попытки стимулировать, объяснить и т.д. Объяснить прежде всего, что для самой власти лучше превентивные либерализационные меры, чем вынужденные реформы в куда менее благоприятных условиях (это мы уже проходили в конце существования СССР).

Прогнозировать события после 2018 года, наверное, возможно, но это будут достаточно спекулятивные прогнозы. Очевидно, однако, что победить на выборах в условиях плебисцита будет значительно легче, чем реализовывать успешный политический курс в условиях дальнейшего сокращения количества ресурсов, которыми располагает государство.

Российское общество: ценности и действия



*Элла Панеях,
ведущий научный сотрудник
Института проблем
правоприменения
Европейского университета
(Санкт-Петербург)*

Существует достаточно устойчивое представление о том, что Россия — это страна неких нецивилизованных, отсталых ценностей или, наоборот, особых соборных, общинных ценностей, которые не позволяют ей включиться в магистральный путь развития цивилизации. О России говорят как об отстающей стране или как о стране, которую аршином общим не измерить, у которой особые критерии благополучия и успешности. Но, так или иначе, говорят как о стране, где живут люди, у которых представления о правильном мире и о себе в таком мире отличаются от тех представлений, которые помогают развиваться в общепринятом смысле: в сторону социального мира, материального благополучия и инклюзивного общественного климата.

Идея о том, что определенный набор ценностей помогает развитию, одна из самых старых идей в социологии. Предложил ее один из основателей социологии Макс Вебер. В своей книге «Протестантская этика и дух капитализма» (1905) он обосновывает, почему именно протестантские страны опережали другие в развитии. Потому что люди пришли к такой вере (они, конечно, не для этого выбирали себе протестантизм), которая почитает труд как добродетель, угодную Богу, что приводит к экономическому процветанию. Усердие, аскетизм, прилежание, рационализация сознания породили особую этику, психологию и культуру. Такой набор человеческих качеств, согласно Веберу, и привел к тому, что люди много работают, много сберегают, не стремятся к расточительности, инвестируют. Иными словами, эти культурно-религиозные качества, нормы становятся основой капиталистической формы хозяйствования западного мира, формирования соответствующих институтов власти и общества.

Мы сейчас понимаем, что дело не совсем в религии, а может быть, и совсем не в религии. Каждый раз, когда новая страна, например в Юго-Восточной Азии, с совершенно другой культурой, далеко не протестантской,

вдруг совершает скачок, движется к экономическому процветанию, исследователи начинают изучать ее ценности, традиции и т.д., и приходят к выводу, что не только религия определяет путь устойчивого развития.

Россия в этом дискурсе стигматизирована. Она словно выглядит как страна с ценностями антиразвития, хотя замеры этого, в общем, не подтверждают. Идея о том, что Россия не Европа в ценностном смысле, то ли никогда не была правдой, то ли устарела, потому что мы просто изменились и трансформировались уже так, что это перестало быть правдой.

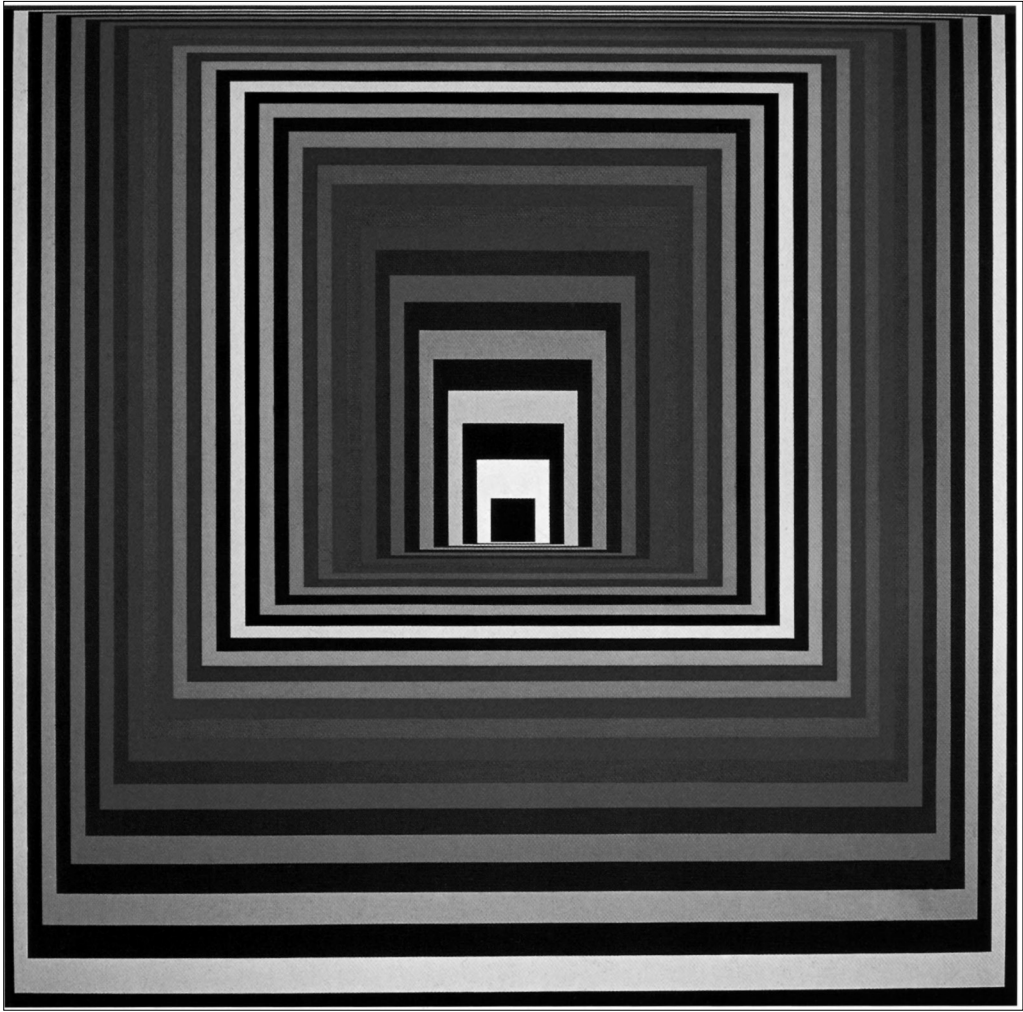
С 1981 года широко известно классическое исследование под названием World Values Survey (Всемирное исследование ценностей) Р. Инглхарта — Р. Вельцеля и их команды. Это выдающийся труд всемирной сети социологов, проводящих национальные опросы почти в 100 странах, охватывающие почти 90% населения мира. Опросы отражают самый широкий спектр человеческого бытия. Людям раздают анкеты и спрашивают, например, как они повели бы себя в ситуации, когда их соседом оказался человек, употребляющий наркотики? Что, по их мнению, нужно делать с людьми, которые употребляют наркотики: убить, лечить, оставить в покое, посадить в тюрьму, легализовать? В зависимости от своих представлений о правильном люди отвечали на этот вопрос по-разному. Естественно, анкета адаптируется для каждой страны; это не идеальный инструмент, но это общая линейка, которой измеряют множество ценностей почти всех стран мира.

В результате сложного факторного анализа полученных ответов построена графическая схема, отображающая место многих стран мира в ценностно-цивилизационном пространстве. Главными кумулятивными показателями выступают две шкалы: ось X фиксирует индекс ценностей выживания относительно ценностей самовыражения. Ось Y характеризует показатели традиционного миропорядка относительно секулярно-рациональных ценностей.

Если верить мифологии про Россию, то по индексу оси Y она должна быть рядом с Марокко: это вполне традиционная страна, полностью сосредоточенная на достижении средств выживания. Однако Россия, оказывается, очень секулярная страна! В России не уважают традицию, любят мыслить рационально, индивидуалистично. По секулярности Россия находится на одном уровне с такими странами, как Венгрия, Австрия, Франция, Швейцария, Исландия. Великобритания и США — страны более религиозные, более традиционные. Эта картина построена на данных опроса 2005 года, но культурные свойства — это не то, что очень быстро меняется.

С другой стороны, на оси ценностей выживания относительно самовыражения Россия находится на одном уровне с совершенно другими странами: Албанией, Румынией, Азербайджаном, Ираком, Палестиной, Иорданией. В Эстонии чуть-чуть побольше интереса к самовыражению, в Литве и Латвии — как у нас. Это вполне европейские страны, но из тех, где граждане предпочитают стабильность самовыражению.

Интересно другое исследование, имеющее отношение к проблематике ценностей. Важность этого исследования в том, что Россию померяли,



Виктор Вазарели. Дизайн ковра. 1968

исходя из европейских ценностных параметров. Как это выглядело? Существует европейский проект, цель которого выяснить и объяснить, как отличаются и в чем сходны между собой разные страны собственно Европы, Евросоюза, еврозоны. Россия в проект изначально не была включена. Тогда команда российских исследователей во главе с Владимиром Магуном применила европейский исследовательский инструмент и провела по той же методике опрос в России, опубликовав в 2015 году статью «Европейская ценностная типология и ценности россиян». Ее можно почитать в Интернете. Они сравнили Россию с другими европейскими странами.

Как устроено исследование? Людям задавали вопросы, а потом, исходя из их реакции, поделили население стран на пять категорий: люди, для которых главными являются ценности роста, дальше — сильная социальная ориентация, слабая социальная ориентация, слабая индивидуалистическая ориентация, сильная индивидуалистическая.

Сравнение показывает, что в России очень маленькая доля людей, которые разделяют ценности роста — всего 2% от числа опрошенных.

Но давайте посмотрим на другие группы населения. Если сравнить количество людей с сильной индивидуалистической ориентацией, Россия оказывается на общем уровне (26%) с европейцами. Похожа ситуация и в отношении социальной ориентации населения, где Россия опять-таки в европейской середине. Выходит, что единственная категория из пяти, где Россия оказалась аутсайдером — это отношение ее населения к ценностям роста. Причем этот низкий показатель отражает лишь особенности распределения населения разных стран по ценностным классам, в котором Россия средне-европейская страна, но пока на краешке по одному параметру, не критическому.

Зато есть соотношение показателей, которое о многом свидетельствует и в России явно проблемно. Это соотношение ВВП на душу населения и величина международного индекса коррупции. В принципе в странах с незначительным душевым ВВП коррупции больше, а в богатых — меньше. Что там от чего зависит, вопрос не такой однозначный, как кажется, но корреляция такая есть.

Так вот, по соотношению этих двух показателей у страны с таким ВВП, как у России, коррупция в среднем в два раза меньше!

Какие тезисы я пытаюсь отстаивать? Россия в ценностном отношении в целом сейчас вполне европейская страна. Проблемы, которые тормозят ее развитие, лежат в других сферах.

Я вижу таких проблем две. Первая очень неочевидная, я здесь делаю сильное допущение, и оно не очень легко доказывается. В России ценностно ориентированное поведение в гораздо меньшей степени выражено, чем в среднем в других странах. Люди меньше действуют в соответствии со своими ценностями. Я это вижу в своих исследованиях, когда совмещаю статистические показатели с интервью людей, из которых видно, во что они верят, и наблюдения, которые позволяют увидеть реальную ситуацию. Становится очевидно, что у людей действительно есть идеалы, которым они следуют, но с большой осторожностью, опасаясь как бы чего не вышло, только в тех пределах, когда цена действия не слишком велика.

Ценности не срабатывают не потому, что они какие-то дикие и нецивилизованные и неправильные, а потому что они слабенькие, они гораздо меньше управляют поведением людей в России, чем в других странах.

Их слабость находит, может быть, объяснение в историко-культурной сфере России. Другое объяснение, рациональное, имеет отношение к оценке рисков. Когда человек ссорится с начальством в цивилизованной стране, их спор, скорее всего, разрешает суд, чаще всего гражданский. Когда человек вступает в жесткий конфликт с начальством в России, то дело может дойти до уголовного разбирательства, потому что начальство прекрасно освоило тактику защиты своих интересов с помощью полиции. А российская полиция — это очень страшно, потому что она может преследовать вас или нет, исходя из принципа, удобно ли ей будет вас преследовать, какие трудности по службе ожидают самого полицейского, который решил дать делу ход или прекратить его. А человек, на которого «катит бочку» его собственное

начальство по месту работы, по ряду причин в этом плане очень уязвим: на него легко сделать компромат, найти свидетелей и т.д. Возможно, и европейский человек не стал бы следовать своим ценностям, если бы итог дела привел его в российскую тюрьму.

Второй комплекс проблем стагнации России и ужасающей картины коррупции — качество государства. У страны с таким качеством населения и таким качеством экономики обычно бывает правительство, которое гораздо более эффективно, гораздо менее коррумпировано, гораздо лучше умеет распоряжаться средствами. Или гораздо меньше стоит и гораздо меньше вмешивается в жизнь людей — одно из двух. Известный политолог Владимир Гельман недавно применил для этого термин «недостойное правление», обозначив так качество государственного управления очень далекое от того, чего заслуживает общество.

Есть много параметров развития общества. ВВП на душу населения — это наиболее очевидный индикатор, которым все пользуются. Но мы можем использовать более объективные показатели — процент людей с высшим образованием. Еще более объективный — детская смертность. С другой стороны, разработано уже много показателей качества правления, есть много международных рейтингов — коррупция, индекс легкости ведения бизнеса, есть просто индекс качества управления — их много. И какую бы мерку из этих мы ни взяли, Россия по качеству государства будет рядом со странами, которые по показателям качества населения находятся намного ниже нее. В большинстве стран с таким правительством доходы будут ниже, процент образованных людей намного меньше. Часто повторяемая подлая максима, что каждый народ заслуживает то правительство, которое имеет, это неправда вообще нигде, она даже в демократии неправда. Потому что есть институты, потому что набор людей для управления государством происходит не по жребию, как это было в Древней Греции. Это нерепрезентативная выборка людей. Государство берет на службу людей, даже политические партии, даже в идеально свободной стране, не полагаясь на волю народа, меритократия слишком редко применяется как модель назначения достойнейших. В России на государственные должности предпочитают брать верных себе людей, по знакомству. И Россия в этом смысле не уникальна. Система бюрократии к тому же вытесняет тех, кто не может работать так, как требуется в клановой иерархии. Среднестатистический государственный клерк менее честен, менее грамотен, а также менее энергичен и способен к самостоятельной деятельности, чем среднестатистический клерк в частной фирме. В России эта степень отбора, степень разрыва между тем, что представляет собой государство, и тем, что представляет собой общество, очень высокая и продолжает расти.

Однако на фоне деградации госуправления люди продолжают развиваться. Несмотря на серьезную трансформацию политического режима в последние два года, и перед этим тоже, в России происходят процессы низовой модернизации. Хотя термин «модернизация» нынешним правительством скомпрометирован, тем не менее существует процесс движения общества в сторону большей современности. Бурно растет число людей, которые пользуются современными технологиями и Интернетом, хотя в Интернет при-



Тони Крэгг. Конструктор (версия 1). 2007

шли государственные средства массовой пропаганды. Но Интернет — это медиатор, а не канал спецсвязи, который односторонне на нас воздействует. В этой среде средства государственной пропаганды чувствуют себя гораздо хуже, чем в традиционных СМИ.

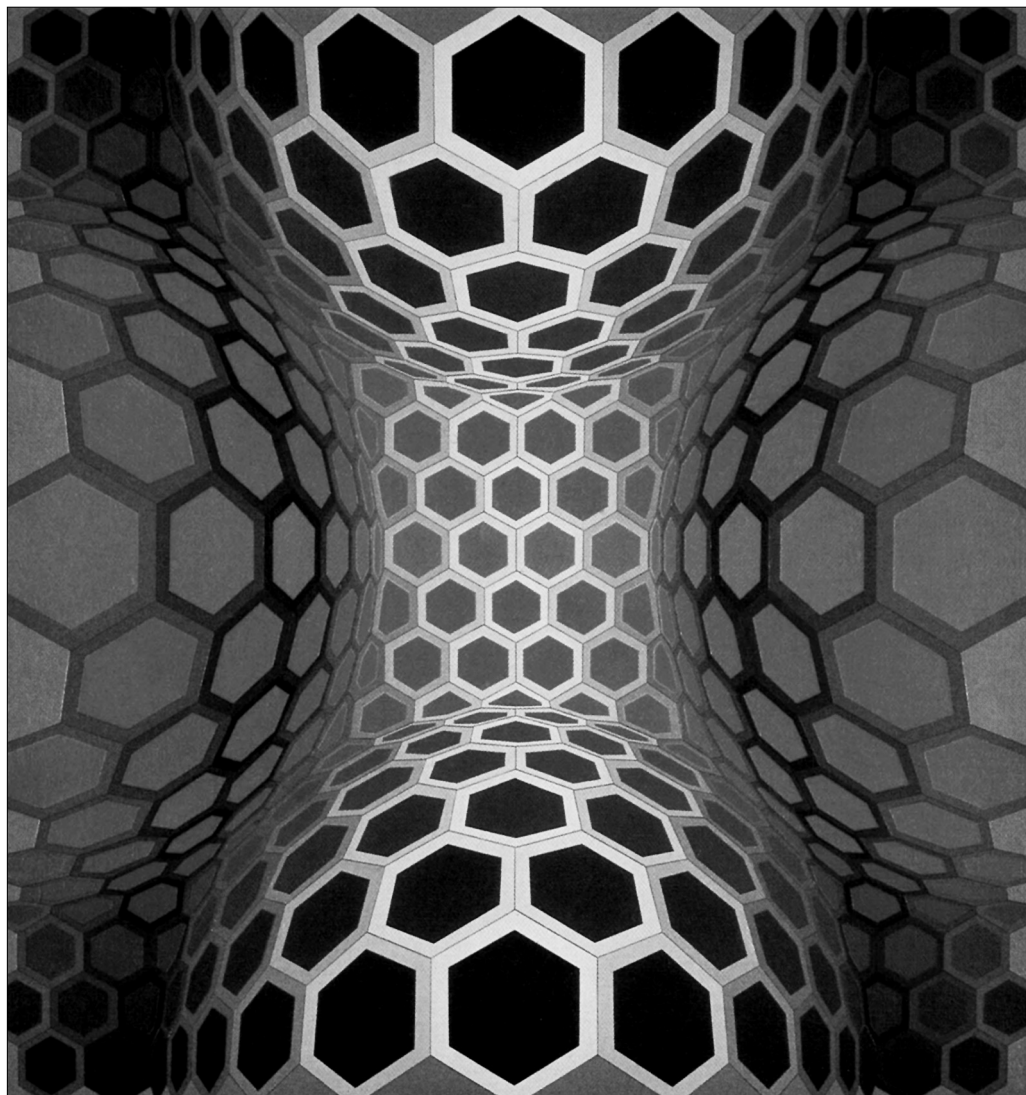
Исследования показывают, что в России растет количество социальных связей. Люди обретают больше знакомых, и круг знакомств более разнообразный. Это очень важно, потому что социальные связи — это то, что делает людей независимыми от чиновничества и той среды, которой они не управляют. Если у вас много социальных связей, вы отчасти управляете той средой, в которой живете. Вы получаете более разнообразную информацию, независимые от государства и большого общества источники опоры. Люди, у которых много социальных связей, показывают исследования, более склонны в том числе участвовать в политике, спокойнее относятся к потере работы и испытывают больше удовлетворения от жизни. Сошлюсь на исследование группы «Евробарометр». Она начала изучать эту сферу в 2012 году и обнаружила, что с 2012 по 2014 год количество социальных связей у среднего россиянина выросло, в том числе сильных связей — примерно в два раза, слабых — примерно в полтора. Образно говоря, слабые связи — это те знакомые, кому вы позвоните, если, например, будете искать работу. А сильные — это те, кто к вам в больницу придет, если вы, не дай бог, туда попадете. Как бы ни пытались сверху атомизировать общество заново, вернуть его к состоянию, когда каждый за себя и ни у кого никого нет, процессы расширения социального продолжают.

По исследованию 2015 года о ценностях, на которое я уже ссылалась, в России в молодом поколении доля людей с индивидуалистическими ценностями перевалила за 50% где-то в 2012 году.

У нас пока что процессы модернизации в обществе перевешивают симптомы деградации государства и формирования, консолидации авторитарного режима, который совершенно сознательно противодействует этим процессам.

Что с моей точки зрения из этого следует для людей, которые пытаются заниматься все еще общественной деятельностью в этой ситуации? Когда вы думаете о людях, которые не следуют, что называется, вашим представлениям о прекрасном, не стоит думать о них как о тех, кто думает не так, как вы, с точки зрения идеалов и ценностей. Они с точки зрения базовых ценностей на вас больше похожи, чем вам кажется. Но есть две проблемы. Первая — они живут в среде, где каждое движение за пределы социальной нормы чревато очень высокими рисками. То есть, когда ты высунул голову, тебе по этой голове немедленно стукнули. И люди совершенно разумно, будучи рациональными индивидуалистами, понимают, что не надо подставляться.

Вторая проблема. Поскольку ценностно ориентированное поведение подавлено, ослаблено, гораздо большую роль играют другие факторы. Ценности — это не единственное, что управляет поведением человека. Среди более или менее изменчивых факторов — социальная норма. Если поведение не выходит за ее рамки, вас не бьют. Социальная норма в России



Виктор Вазарели. Лепке-ми. 1972–1974.

такая, что как только вы начинаете отличаться, люди вокруг получают моральное право начать с вами обращаться плохо. С этим мы ничего поделать не можем. Это нормативная система, она тоже, как и ценностная, меняется очень медленно.

Третий элемент драйверов социального поведения — это картина мира. У людей в России, поскольку их долго не просвещали, весьма искаженная картина мира. И сейчас в эту точку, а вовсе не в ценности, как многим кажется, бьет телевизионная пропаганда.

Давайте посмотрим, к каким ценностям апеллировал слоган «Крым наш!», то есть как обосновывалось присоединение территории. Официальная пропаганда: в Крыму наши люди, они страдают, сейчас придут укрофашисты и устроят им холокост. К каким базовым ценностям апеллирует это? Ну,

вообще-то, к гуманистическим. Представим себе, что это правда. Вот мы апеллируем к тому, что надо защищать людей, у нас есть такая обязанность. Точно так же, как европейцы переживают, что они людей в Руанде не защитили от резни в 1994 году. Хотя, казалось бы, где эта Руанда? А тут наши люди, соседи. Что нельзя позволять захватывать страну фашистскому режиму, даже если это не наша страна, а соседняя — это нормальные гуманистические европейские ценности. И вот, когда все вдохновились, что надо защищать своих, вот тут уже из телевизора пошла атака на ценности. Пошла апелляция к дикости: мы самые сильные, мы всех переиграли, мы всех обхитрили. То есть сначала удару подверглось то, что легко подправить, что в отличие от ценностей весьма неустойчиво. Это картина мира, это представления о мире. Другие проявления такой антимодерности и дикости, которые мы иногда видим, тоже часто базируются не на ценностях, а на картине мира.

Картина мира, представление о том, как объективно устроена реальность, — это то, чему люди легко учатся. Индивидуалистические рациональные ценности приводят к очень высокому спросу на информацию о реальном устройстве мира. Не потому ли в России сейчас бум в разных видах обучения. Люди ищут, чему бы поучиться непосредственно применимому в жизни. Бум психологических тренингов, тренингов типа «Открой свой малый бизнес», притом что успех не очевиден при нынешнем состоянии регулирования. Есть ажиотаж на обучение языкам на фоне всей этой изоляционистской риторики. Он не виден потому, что это в основном неформальный бизнес или не очень формальный. По нему не собирается статистика, но он заметен в Интернете. Конечно, в этой среде очень много шарлатанов, которые учат людей черт знает чему, но у людей есть спрос на информацию. На лекциях популяризаторов науки слушатели буквально бьются за место в зале. У нас одна из восходящих звезд такого просветительства, общественной активности — Анастасия Казанцева, научный журналист, популяризатор в основном биологических, медицинских знаний. Ученые ее, естественно, ненавидят. Она рассказывает на уровне чайников, например, про ГМО, работу мозга и т.д. Людям страшно интересно, что представляют собой эти ГМО, опасны они или нет? Тот, кто может нормальным человеческим языком разъяснить суть серьезного исследования, пользуется огромной популярностью.

О политике так говорить труднее, но политические взгляды тоже базируются на каких-то знаниях, и эти знания можно популяризировать, поступки аргументировать, оперируя фактами. Людям вполне можно объяснить, где им врут. Если вы начнете объяснять, что в действительности происходит с Крымом, вам, скорее всего, не поверят. Но если толково объяснить, как должна быть устроена современная политическая система, как развиваются политические режимы, похожие на наши, и к чему это в конечном итоге приводит, многое можно понять. Политолог Екатерина Шульман, например, много интересного рассказывает про то, что происходит со странами, которые выбирают политический путь развития, который выбрали мы. Короче говоря, мы живем в то самое интересное время, когда знание — сила.



*Андрей Захаров,
философ, политолог,
редактор журнала
«Неприкосновенный запас:
дебаты о политике
и культуре»*

Томас Гоббс и укрощение Левиафана*

В Национальной портретной галерее в Лондоне хранится картина под названием «Король Эдвард VI и папа». Имя автора полотна до наших дней не дошло, но известно, что оно было создано около 1575 года. Картина восхваляет английскую Реформацию, и в частности молодого короля Эдуарда VI, который, сидя у смертного одра своего отца, знаменитого многоженца Генриха VIII, принимает от него напутствие на продолжение борьбы с папистами. Наверху справа пуритане сокрушают католические святыни, а внизу посрамленный папа римский пребывает в состоянии явного стресса. Полотно, однако, интересно не столько реформаторским пафосом, вполне типичным для той эпохи, сколько некоторыми особенностями композиции. Выстраивая ее, художник почему-то оставил несколько бросающихся в глаза белых прямоугольников, не несущих на себе не только изображения, но и текста. Почему это было сделано? В поисках ответа на этот вопрос нам надо обратиться к специфике протестантской идеологии**.

В годы Реформации английские протестанты, руководствуясь второй из Десяти заповедей христианства («Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в водах ниже земли, не поклоняйся им и не служи им»), всеми силами боролись с изображениями высших сил в церковной скульптуре и церковной живописи.

Иконы и статуи святых безжалостно уничтожались: вместо них в храмах появлялись пустые пространства. Но белые рамки на нашей картине красноречивы: сам факт их наличия говорит больше, чем могли бы сказать начер-

* Текст подготовлен на основе публичной лекции, прочитанной в Москве 12 марта 2016 г.

** См.: Martel J. *Subverting the Leviathan: Reading Thomas Hobbes as a Radical Democrat*. — New York: Columbia University Press, 2007.

тантные на их месте образы или буквы. Они ставят под сомнение самую возможность описания Божественного, не имеющего образа в человеческом смысле. Ведь чем хороша белая краска? С одной стороны, ею можно замазать то, что было прежде, — она прекрасно уничтожает; с другой стороны, на ней можно изобразить все, что угодно. Иначе говоря, репрезентация открывает собою как новые возможности, так и новые угрозы. «Это противоречие лежало в самой сердцевине духовного беспокойства, мучившего Англию в XVI–XVII веках: репрезентация была одновременно опасностью и обещанием», — пишет Джеймс Мартел, американский исследователь творчества Гоббса*. Вот почему на картине безымянного художника доминируют белые рамки.

Образам изобразительных искусств протестанты-реформаторы всегда предпочитали текст. Но если Бога нельзя нарисовать, вырезать из дерева или изваять из мрамора, то почему, собственно, его можно запечатлеть в слове? Резонный вопрос. Действительно, это не очевидно: у слов есть свои белые пятна, слово сопровождается собственным эффектом белизны. Есть ситуации, когда слово бессильно, некоторые феномены и явления ему не поддаются. Этот тезис лежал в основе христианского «негативного богословия»: Бога можно описывать, лишь перечисляя, чем он не является. Томас Гоббс был сторонником именно этой точки зрения, подробно представленной в его произведениях. *«Все, что мы себе представляем, конечно, — пишет он. — В соответствии с этим мы не имеем никакой идеи, никакого понятия о какой-либо вещи, называемой нами бесконечной. Человек не может иметь в своем уме образ бесконечной*

величины, точно так же он не может себе представить бесконечной скорости, бесконечного времени, бесконечной силы или бесконечной власти. Поэтому имя Бога употребляется не с тем, чтобы дать нам представление о Нем, ибо Он непостижим, а лишь с тем, чтобы почитать Его» («Левиафан», III). Анализируя его трактат «Левиафан», мы нередко забываем о том, что это не только политический, но и богословский текст. Теологическим размышлениям посвящена добрая половина этой книги. Более того, у Гоббса-теолога есть стержневая идея: буквальное восприятие Библии, говорит он, невозможно. Библия есть грандиозная метафора, а ее тексты нельзя воспринимать буквально. Если в Книге Исхода сообщается, что «Моисей встретился с Иеговой лицом к лицу» (33:11), то неправильное понимание этой фразы повлечет за собой богохульство, ибо нельзя приписывать Абсолюту наличие человеческого лица. Почему же для нас все это важно? Потому что, как считают некоторые исследователи Гоббса, его теология позволяет по-иному, более радужно и позитивно, оценить политические построения английского мыслителя — она есть «модель того, как надо читать и интерпретировать весь трактат “Левиафан”»**.

Однако прежде чем заняться деконструкцией устоявшихся истин, касающихся доктрины Гоббса, стоит их заново воспроизвести, вписав в контекст его биографии. Этот мыслитель, родившийся в 1588 году и скончавшийся в 1679-м, отличился тем, что, по сути, поставил под сомнение прославленное определение человека как *политического животного****. По мнению Гоббса, в человеке, вопреки Аристотелю и прочим грекам, очень мало

* *Ibid.*, p. 87.

** *Ibid.*, p. 101.

*** См.: Шахай А., Якубовски М. *Философия политики*. — Харьков: Гуманитарный центр, 2011. — С. 41.

общественного: если бы наша натура была социальной, мы должны были бы чувствовать притяжение и симпатию ко всем людям, но в нас этого нет. Как и Макиавелли, живший на полстолетия раньше, Гоббс предпочитал рассматривать политику как сферу не гармонии и сотрудничества, а конфликта и противоречия. Человек ориентирован на конфронтацию с ближними, такова его принципиальная схема. *«На первое место я ставлю как общую склонность всего человеческого рода вечное и беспрестанное желание все большей и большей власти, желание, прекращающееся лишь со смертью, — пишет Гоббс. — И причиной этого не всегда является надежда человека на более интенсивное наслаждение, чем уже достигнутое им, или невозможность для него удовлетвориться умеренной властью; такой причиной бывает и невозможность обеспечить ту власть и те средства к благополучной жизни, которыми человек обладает в данную минуту, без обретения большей власти»* («Левиафан», XIII). Поскольку эта особенность человеческой природы подтачивает любые государственные установления, с ней надо что-то делать.

Но почему, собственно, люди столь неуживчивы и сварливы? Это происходит оттого, что они, постоянно ощущая впившийся в бок локоть ближнего, вечно боятся: им страшно потерять престиж в обществе, имущество, здоровье и даже жизнь. Гоббс говорит об этом так: *«Из-за равенства проистекает взаимное недоверие. Из этого равенства способностей возникает равенство надежд на достижение целей. Вот почему, если два человека желают одной и той же вещи, которой, однако, они не могут обладать вдвоем, они становятся врагами. На пути*

к достижению их цели (которая состоит главным образом в сохранении жизни, а иногда в одном лишь наслаждении) они стараются погубить или покорить друг друга. Из-за взаимного недоверия — война» («Левиафан», XIII). Стоит отметить, что сам Гоббс появился на свет в тот период, когда жить в Англии действительно было страшно. В 1588 году достигло пика соперничество между Англией и Испанией; о походе к английским берегам «непобедимой армады» испанцев Гоббс упоминает в своей автобиографии, написанной в латинских стихах. Кстати, в этом документе очень часто встречается слово «страх», которое для многих современников было ключевым признаком эпохи. Придерживаясь того же руслу, Гоббс полагал, что философская мысль начинается не с удивления, как считали в античности, но со страха: мы боимся — и мы философствуем, пытаясь преодолеть страх*.

Поступив в Оксфорд, Гоббс, скромный сын викария, заметно повышает свой социальный статус. Университетское образование позволяет ему, выходцу из низкого сословия, преподавать в аристократических семьях. Наличие титулованных воспитанников открывает возможность путешествий по миру и знакомств с крупнейшими учеными того времени. Не последнюю роль в том, что по своим философским воззрениям Гоббс стал эмпириком и скептиком, сыграли его персональные контакты с Галилеем, Рене Декартом и Фрэнсисом Бэконом. С последним из них, убежденным материалистом и поборником технического прогресса, Гоббса связывали особенно прочные узы: в 1620-х годах, когда Бэкон был лорд-канцлером Британии, Гоббс служил у него личным секретарем. В 1628 году Гоббс публикует перевод

* Магун А. Единство и одиночество: Курс политической философии Нового времени. — М.: Новое литературное обозрение, 2011. — С. 257–292.

«Пелопонесской войны» Фукидида, произведение, которое он выбрал отнюдь не случайно: ему нравилось, что античный историк интерпретировал политический мир как арену нескончаемой борьбы за власть между индивидами или атомизированными городами-государствами. В этом противостоянии царит безжалостный расчет, диктуемый самой природой, а самосохранение и экспансия предстают главными мотивами политической деятельности.

В 1640 году в Англии начинается смута и революция: Карл Первый требует у парламента согласия на новый налог, депутаты противятся, король распускает парламент и созывает новый —

новый созыв не только не санкционирует налогообложение, но и отказывается расходиться. На поверхность английской жизни выходит огромное количество противоречий: религиозных, экономических, политических. В 1642 году в стране начинается гражданская война, завершившаяся в 1649-м провозглашением республики и казнью монарха; в 1653-м устанавливается диктатура Кромвеля. Гоббс спасается от революции во Франции, где с 1646 года работает учителем наследника престола, будущего Карла Второго. В том же году он начинает писать трактат «Левиафан», свое главное произведение. В этом трактате Гоббс, по его словам, выводит принципы государственного устройства из человеческой природы. Делается это так. Человек изначально действует исходя из страстей, но такая импульсивность, как известно, сопряжена с многочисленными издержками. Чтобы их минимизировать, люди пытаются упорядочить свое поведение, придумывая такие понятия, как «добро» и «зло», а также «истина» и «ложь». Для их фиксации требуется речь, а вот она формируется только в обществе — на основе

общепринятых конвенций. «*Без способности речи у людей не было бы ни государства, ни общества, ни договора, ни мира, — утверждает Гоббс. — Истина и ложь суть атрибуты речи, а не вещей. ... Там, где нет речи, нет ни истины, ни лжи*» («Левиафан», IV). Но, даже установив такое разграничение и начав разгова-

В мире нет политических режимов, которые могли бы посягать на вечность, более того, если такие притязания высказываются правителями, то они впадают в идолопоклонство, опаснейшую, согласно Гоббсу, социальную аномалию

ривать, люди нуждаются во внешней институции, способной поддерживать соблюдение установленных правил, поскольку в противном случае каждый будет предъявлять другому собственное толкование «добра» и «зла», «истины» и «лжи». Гоббс заключает: «*Никакое общее правило о том, что есть добро и что — зло, не может быть взято из природы самих объектов, а устанавливается или каждым отдельным человеком соответственно своей личности (там, где нет государства), или (в государстве) лицом, представляющим государство, или арбитром, которого расходящиеся во мнениях люди изберут по взаимному соглашению и чье решение они сделают указанным правилом*» («Левиафан», VI). Из этой потребности унификации разноголосых мнений и проистекает государственная власть.

Людям, однако, нужен не просто универсальный судья; они нуждаются в чем-то большем. Стремясь к самосохранению в условиях коллектива, человек понимает, что лучший способ повысить свои шансы — это обеспечить себе самому

власть над другими. В результате люди постоянно борются за доминирование друг над другом. Кроме того, они вечно жаждут славы и для получения ее тоже готовы на многое. Именно это рождает ситуацию тотального недоверия и постоянной вражды. Жить в условиях торжествующего антропологического пессимизма, разумеется, трудно: в естественном состоянии каждый человек воюет с любым другим, а справедливость невозможна в принципе. Гоббс пишет: «Так как состояние человека есть состояние войны всех против всех, когда каждый управляется своим собственным разумом и нет ничего, чего он не мог бы использовать в качестве средства для спасения от врагов, то отсюда следует, что в таком состоянии каждый человек имеет право на все, даже на жизнь всякого другого человека. Поэтому до тех пор, пока сохраняется право всех на все, ни один человек (как бы силен или мудр он ни был) не может быть уверен в том, что сможет прожить все то время, которое природа обычно предоставляет человеческой жизни» («Левиафан», XIV).

В целом аргументы Гоббса относительно природного состояния можно свести к нескольким тезисам. Во-первых, дороже всего для людей сохранение жизни и счастья. Во-вторых, более всего они стараются избежать насильственной смерти. В-третьих, они без усталости стремятся к власти. В-четвертых, перед лицом насильственной смерти они равны, то есть могут убить других и могут быть убиты сами. Равенство и свобода не играют никакой роли там, где сама жизнь находится в опасности. Людям приходится договариваться о том, чтобы минимизировать наносимый друг другу вред; эти договоренности влекут за собой закон и мораль — основы любой социальной общности*. «Это боль-

ше чем согласие или единодушие, — пишет Гоббс. — Это реальное единство, воплощенное в одном лице посредством соглашения, заключенного каждым человеком с каждым другим таким образом, как если бы каждый человек сказал другому: я уполномочиваю этого человека или это собрание лиц и передаю ему мое право управлять собой при том условии, что ты таким же образом передашь ему свое право и санкционируешь все его действия. Если это совершилось, то множество людей, объединенное таким образом в одном лице, называется государством, латыни — *civitas*. Таково рождение того великого Левиафана или, вернее (выражаясь более почтительно), того смертного Бога, которому мы под владычеством бессмертного Бога обязаны своим миром и своей защитой» («Левиафан», XVIII). Кстати, в данной связи обратим внимание на два обстоятельства, подмечаемых Гоббсом. Во-первых, всякий государственный механизм, каким бы жестоким он ни показал себя впоследствии, изначально санкционирован самими гражданами: именно они, а не будущий правитель, решают учредить государство. Во-вторых, мыслитель напоминает нам, что Левиафан хотя и велик, но — всегда смертен. В мире нет политических режимов, которые могли бы посягать на вечность, более того, если такие притязания высказываются правителями, то они впадают в идолопоклонство, опаснейшую, согласно Гоббсу, социальную аномалию.

Учитывая злую природу человека, заключенный контракт приходится поддерживать силой. Иными словами, необходимо предусмотреть систему наказаний, применяемых к нарушителям контракта, и фигуру того, кто будет наказывать. Так появляется суверен. Эта фигура будет политически эффективной только в том

* Формулировки принадлежат Отфиду Хеффе. Цит. по: Шахай А., Якубовски М. Указ соч., с. 44.

случае, если ее власть будет абсолютной. Этому способствуют два обстоятельства. Во-первых, суверен наделяется властью в силу согласия отдельных людей, отказавшихся от своих прав в его пользу. Во-вторых, отказываясь от природного состояния, человек не может отбросить его полностью, ибо невозможно перечеркнуть собственную натуру. Но в основе этой природы эгоизм, и потому всегда сохраняется тенденция сползания к природному состоянию, анархии и гражданской войне. Необходимость заключить договор, устанавливающий абсолютную власть, Гоббс называет «естественным законом». Естественному закону противостоит «естественное право» — все те исходные свободы, от которых обществу придется отказаться ради сильного государства. Единственное исключение составляет право на жизнь, которое человек должен защищать и от посягательств государства тоже.

Ключевым моментом, однако, надо считать то, что всякий суверен, с точки зрения Гоббса, — это репрезентация чего-то или кого-то. В «Левиафане» суверена называют «смертным богом»; отсюда можно сделать вывод о том, что правление его учреждено самим Богом, и он правит на земле по Божьему соизволению и от Божьего имени. Властитель, таким образом, — представитель Бога. Но одновременно суверен представляет и всех своих подданных, причем это довольно необычное представительство, поскольку его власть над подданными абсолютна и неограниченна, он способен делать с ними все что угодно. Чтобы уметь наказывать, государство должно быть жестоким и злым: оно с безразличием относится к нуждам и запросам каждого конкретного человека — и потому полезно для всех. Гоббс, однако, задается вопросом: инте-

ресно, а не способен ли суверен и Бога представлять столь же странным образом, тоже присваивая себе его прерогативы? Иначе говоря, в словосочетании «смертный бог», какое слово является главным? Если слово «смертный», то Левиафан не так страшен, как кажется. Если же слово «бог», то мы имеем дело с подменной подлинной репрезентацией рукотворным идолом, заслуживающим уничтожения. Да, «смертный бог» возводит свое правление на контракт и придаться вроде как не к чему: подданные передают ему свои права и свободы и предлагают распорядиться ими на благо государства. Все, казалось бы, честно. Но это — нестандартный контракт, поскольку в нем обязательства накладываются *только на одну сторону*. *«Так как право представлять всех участвовавших в соглашении дано тому, кого делают сувереном путем соглашения, заключенного лишь друг с другом, а не сувереном с кем-нибудь из участников, то не может иметь место нарушение соглашения со стороны суверена, и, следовательно, никто из его подданных не может быть освобожден от подданства под предлогом того, что суверен нарушил какие-либо обязательства»* («Левиафан», XVIII). Иначе говоря, не стоит думать, что люди заключают договор с сувереном: нет, каждый заключает договор с каждым, и поэтому сам суверен в итоге не связан никаким договором*. Фактически он один остается в естественном состоянии. Именно поэтому свобода в подлинном смысле слова доступна только ему одному, но никак не его подданным: *«Свобода, которую восхваляют писатели, — это свобода не частных лиц, а суверенов. Та свобода, о которой часто и с таким уважением говорится в исторических и философских работах древних греков и римлян и в сочинениях и рассуждениях тех, кто позаимствовал у них все*

* Магун А. Указ. соч., с. 275.



Борис Матросов. Здесь не Китай. 2000-е гг.

свои политические познания, есть свобода не частных лиц, а государства, идентичная той, которой пользовался бы каждый человек в том случае, когда совершенно не было бы ни гражданских законов, ни государства. Однако люди легко вводятся в заблуждение соблазнительным именем свободы и по недостатку способности различения ошибочно принимают за свое прирожденное, доставшееся по наслед-

ству право то, что является лишь правом государства» («Левиафан», XXI). У суверена, конечно же, есть обязанности, но это обязанности перед Богом, а не перед людьми. А вот для всех остальных, согласно Гоббсу, свобода — это «молчание законов»: то, что не оговорено сувереном в законе, можно делать — это вполне разрешено, но никаких конституционных прав и свобод быть не должно.

В 1651 году «Левиафан» выходит в свет в Лондоне. Обложка украшена цитатой из библейской Книги Иова: «Нет на земле власти, которая могла бы с ним сравниться». Гоббс подарил рукописный экземпляр работы наследнику Карлу, но тот, вопреки ожиданиям автора, хорошо понял, что это отнюдь не консервативная апология королевской власти, а потенциально подрывающие ее рассуждения: ведь мыслитель выводит принцип подчинения властям не из династического небесного мандата, а из равенства всех людей и общественного договора. То есть Гоббс, сторонник абсолютизма, написал такую его апологию, которая обозначила рамки будущих республиканских революций. В итоге ему отказывают от двора, более того, он получает угрозы со стороны легитимистов. Философ возвращается — фактически, бежит — в Англию, и хотя Кромвель приветствует его возвращение, большим влиянием Гоббс не пользуется. В 1660 году, после кончины лорд-протектора, в стране восстанавливается монархия и на престол возвращается из Франции Карл Второй. К Гоббсу теперь относятся с недоверием: в 1666 году его обвиняют в атеизме и запрещают перепечатку некоторых работ, а папа римский включает их в Индекс запрещенных книг. Гоббс, однако, живет еще долго: он умирает в 1679 году, перед смертью написав стихотворную биографию о своей борьбе со страхом.

Из картинки на обложке видно, что государство есть гигант, составленный из маленьких человечков; оно извне добавляет к их сумме голову, чтобы создать из множества единство, к нему надо кое-что добавить. Эта голова удивительным образом персонифицирована и безлична одновременно, потому что государство — это машина, а сам государь — лишь винтик в ней. Гоббс, таким образом, трактует власть инструментально, сугубо как орудие, позволяющее обеспечить личности безопасность. В Левиафане, следователь-

но, меньше самодостаточности и жизни, чем представляется на первый взгляд. С обществом, наоборот, дело обстоит прямо противоположно: оно более жизнеспособно и самостоятельно, чем принято думать. Традиционно считается, что Гоббс якобы рассматривал естественное состояние как простое столкновение эгоистических человеческих атомов, борющихся за само-сохранение. Это неверная интерпретация, ибо люди у Гоббса вполне социальны. Естественное общество разваливается не потому, что человек асоциален, а, наоборот, оттого, что он слишком социален и заинтересован в признании со стороны других людей. Кант, изучая Гоббса, назвал это качество «асоциальной социальностью». Снять эту проблему можно только в том случае, если каждый уполномочит общего представителя представлять его волю и передаст ему естественные права. У общества тогда появляется одно лицо: оно становится государством. Но весь вопрос в том, каким образом оформить эту передачу прав.

Сам Гоббс, как следует из его сочинений, вполне реалистично оценивал собственную теорию. Прежде всего он отдает себе отчет в том, что Левиафан — это временное и преходящее явление, подверженное всевозможным рискам. *«Бог, рисуя великую силу Левиафана, называет его царем гордости, — пишет Гоббс. — Нет на земле, — говорит Бог, — подобного ему, он сотворен бесстрашным; на все высокое смотрит смело; он царь над всеми сынами гордости. Но так как этот Левиафан смертен и подвержен тлению, как и все другие земные существа, и так как на небесах (хотя не на земле) существует тот, кого он должен страшиться и чьим законам он должен повиноваться, то я буду говорить о его болезнях, о том, отчего он умирает, и о тех естественных законах, которым он обязан повиноваться»* («Левиафан», XVIII). Эти немощи и недуги многочисленны, причем, описывая их,

Гоббс не жалеет красок. Итак, от чего же страдает Левиафан? Во-первых, от недостаточности верховной власти — она должна быть абсолютной, иначе от нее не будет проку. Во-вторых, крайне вредно «мятежное учение», согласно которому «каждый отдельный человек есть судья в вопросе о том, какие действия хороши и какие дурны». В-третьих, это мнение, согласно которому «тот, кто имеет верховную власть, подчинен гражданским законам», если руководствоваться этим, то суверен будет подчинен сам себе, что абсурдно. В-четвертых, против сущности государства направлено учение о том, что власть может быть делима. Наконец, «к болезням может быть прибавлена свобода высказываться против абсолютной власти, предоставленная людям, претендующим на политическую мудрость». Как бы издеваясь над читателем, Гоббс гипертрофирует свои выкладки, доводя их до крайности: так, он рекомендует суверену запретить чтение античных авторов, поскольку их мысли разрушительны. Его обоснование достойно того, чтобы воспроизвести его целиком: «Что касается восстаний, в частности против монархии, то одной из наиболее частых причин таковых является чтение политических и исторических книг древних греков и римлян. Благодаря чтению таких книг, говорю я, люди дошли до убийства своих королей, так как греческие и латинские писатели в своих книгах и рассуждениях о политике объявляют законными и похвальными такие действия, если только, прежде чем их совершить, человек назовет свою жертву тираном. Благодаря этим книгам те, кто живет под властью монарха, получают представление, будто подданные демократического государства наслаждаются свободой, в монархии же все подданные — рабы. ...Не колеблясь, я

сравниваю этот яд с укусом бешеной собаки, вызывающим болезнь, которую врачи называют hydrophobia, или водобоязнь. Ибо, подобно тому, как такой укушенный мучается непрерывной жаждой и все же боится воды и находится в таком состоянии, как будто яд сейчас превратит его в собаку, так и монархия, раз укушенная теми демократическими писателями, которые постоянно ворчат на эту форму правления, больше всего желает иметь сильного монарха, в то же время из какой-то тиранобоязни страшится иметь его» («Левиафан», XXIX).

В этом месте гипотетический читатель Гоббса, несомненно, недоуменно поднял бы бровь, поскольку несоответствие подобных рекомендаций английской политической культуре было разительным. Согласно свидетельству специалиста, исследовавшего историю цензуры в Англии эпохи Гоббса, «несмотря на сопутствовавшее Реформации распространение карательных практик в виде жестоких приговоров и публичных наказаний, из многих тысяч книг и пьес, подлежавших в тот период официально лицензированию, до нас не дошли только две запрещенные властями работы. Даже самые крайние попытки ограничивать свободу выражения оборачивались лишь тем, что гарантировали, как правило, выживание и сохранение запрещенных произведений»*.

Иными словами, предложения Гоббса были не просто нелепы; они очень сильно походили на целенаправленную провокацию. Зачем он это делает? Должно быть, ему было важно вновь и вновь напоминать читателю, что Левиафан, этот «искусственный человек» — очень шаткое сооружение, а условия его жизнедеятельности исключительно сложны, настолько сложны, что поддерживать их на практике просто невозможно. Левиафан, кстати, как бы

* Конрад Л. Нужны ли границы дозволенного? // *Общая тетрадь. Вестник Школы гражданского просвещения*. 2015. № 2–3 (68). — С. 76–77.

находится вне времени: после своего появления на свет он больше не развивается, ибо и без того изначально совершенен. Мог ли протестант Гоббс забыть о том, что это — творение рук человеческих, причем, как он сам и свидетельствует, очень несовершенное творение? Едва ли.

И вот тут перед нами возникает вопрос об альтернативе Левиафану. Фактически Гоббс предлагает такую альтернативу тут же, в третьей и четвертой частях трактата. Они посвящены религиозным материям, и по этой причине зачастую игнорируются политически озабоченными читателями — и, кстати, напрасно. О чем же там идет речь? Прежде всего Левиафан там рассматривается не в статике, не как застывшее и однообразно функционирующее нечто, а в динамике — как вполне определенный этап социально-политического развития. Гоббс рисует триаду трех форм организации политики, первой из которых, прошлой, выступает ветхозаветное царство Израиля, второй, нынешней, — царство Левиафана, третьей, грядущей, — царство Христа. В чем принципиальное отличие эпохи Левиафана от двух других эпох? Если договор, который связывает современного суверена с подданными, представляет собой улицу с односторонним движением — у граждан есть обязанности в отношении суверена, а у него никаких обязанностей относительно них нет, то в двух других случаях правителей и управляемых связывает ковенант: торжественное и священное соглашение между Богом и человеком, где обязательства на себя принимают обе стороны. Двусторонний характер обязательств преобразует матрицу социального взаимодействия, вытесняя из нее вертикальные подходы и методы и заменяя их горизонтальными связями*. Политические пирамиды, хребтом которых выступает вертикаль, увенчанная фигурой суверена, хороши только в тех

случаях, когда социум готов ограничить свои притязания поддержанием определенного status quo. Но бывают эпохи, когда этого недостаточно, и тогда надо, как говорим мы сейчас, «менять систему», «начинать перестройку», «отказываться от старых управленческих конструкций». Устремленность в будущее дружит с миром горизонтальной политики: Левиафан, по Гоббсу, это вечное «сегодня» и в будущее его не берут. На определенном этапе он был нужен, мы говорим ему спасибо — и прощаемся с ним.

Но не пытается ли Гоббс хитрить с нами и насколько серьезно мы должны воспринимать его главный трактат? Да, он делает это — и делает вполне намеренно. Используемый им метод вполне сродни подходу Макиавелли: он сам, имплицитно, а иногда и явно призывает не принимать на веру то, о чем он пишет. В самом начале трактата он честно предупреждает: истина — это вопрос конвенции, фиксация реальности в слове всегда сопровождается «белыми пятнами», а книга нужна не для того, чтобы отвечать на вопросы, а сугубо для того, чтобы заставить читающего размышлять. В одной из глав «Левиафана» он поясняет эту мысль: *«Люди, доверяющие книгам, проводят время в порхании по ним. Этих людей можно уподобить птицам, влетающим через дымовую трубу и выходящим себя запертыми в комнате; они порхают, привлекаясь обманчивым светом оконного стекла, но у них не хватает ума сообразить, каким путем они влетели. ...Люди, черпающие свои знания не из собственного размышления, а из книг, доверяясь их авторитету, настолько ниже необразованных людей, насколько люди, обладающие истинным познанием, выше их. Ибо незнание составляет середину между истинным знанием и ложными доктринами»* («Левиафан», IV).

* См.: Martel J. Op. cit. Chapter 5.



*Леон Конрад,
преподаватель риторики,
Лондон*

Универсальные ценности

Нельзя рационально приписать единственный модус всей тотальности вещей...

Дж. М. Робертсон, Письма о логическом мышлении

Что мы имеем в виду под «ценностями»? И почему «универсальные»? Когда мы употребляем слово «ценности» в контексте универсальных ценностей, используем ли мы его в том смысле, что нечто является действительно ценным — как, например, кольцо с бриллиантом, имеющее материальную ценность; или старая фотография, на которой запечатлены лелеемые в памяти моменты нашей жизни, которая имеет сентиментальную ценность; или акт филантропии, такой как передача известной картины в дар публичной художественной галерее, чтобы люди наслаждались ею, что имеет социальную и художественную ценность. Или же мы используем это слово в ином значении?

Вещи, названные выше, представляются ценными, а три приведенные примера ценностей (материальная ценность, сентиментальная ценность, общественная художественная ценность) представляют собой человеческие реакции на объекты, которые отличны от самих объектов. Ценность, придаваемая бриллиантовому кольцу основана на видимой чистоте и размере камня, его редкости, искусности огранки и на его исторических и культурных ассоциациях. Ничто из этого, по существу, не является ценным. Как и фотографии, подобные описанной выше, — только ключи к воспоминаниям. Сами по себе они тоже имеют мало ценности. Для одного человека фотография может породить мир воспоминаний и пережитых чувств или ассоциацию, и поэтому ценна. Для другого она — просто фотография, не имеющая никакой ценности. Акт филантропии представляется ценным только потому, что он предлагает то, что признается общественным благом. Чистой воды бриллиант ни плох, ни хорош сам по себе, говорится в Дао-де-Цзин: «Великое совершенство похо-

же на несовершенное, но его действие [не может быть] нарушено»*. То же самое и с фотографией. Можно доказывать, что фотографии, хранящие дорогие воспоминания, ценны, а те, которые вызывают в памяти ночные кошмары — нет. То есть они тоже не являются хорошими или плохими сами по себе.

Если рынок был бы насыщен бриллиантами, они наверняка ценились бы значительно меньше. Предметы, имеющие персональную значимость, теряют ее со временем. Тот же акт филантропии мог бы в другое время и в другой перспективе расцениваться просто как акт рекламы или даже пропаганды. Ни об одной из названных вещей нельзя сказать, что она имеет ценность в любое время и в любом месте — их ценность относительна. Так что же в таком случае имеется в виду под термином «универсальный»?

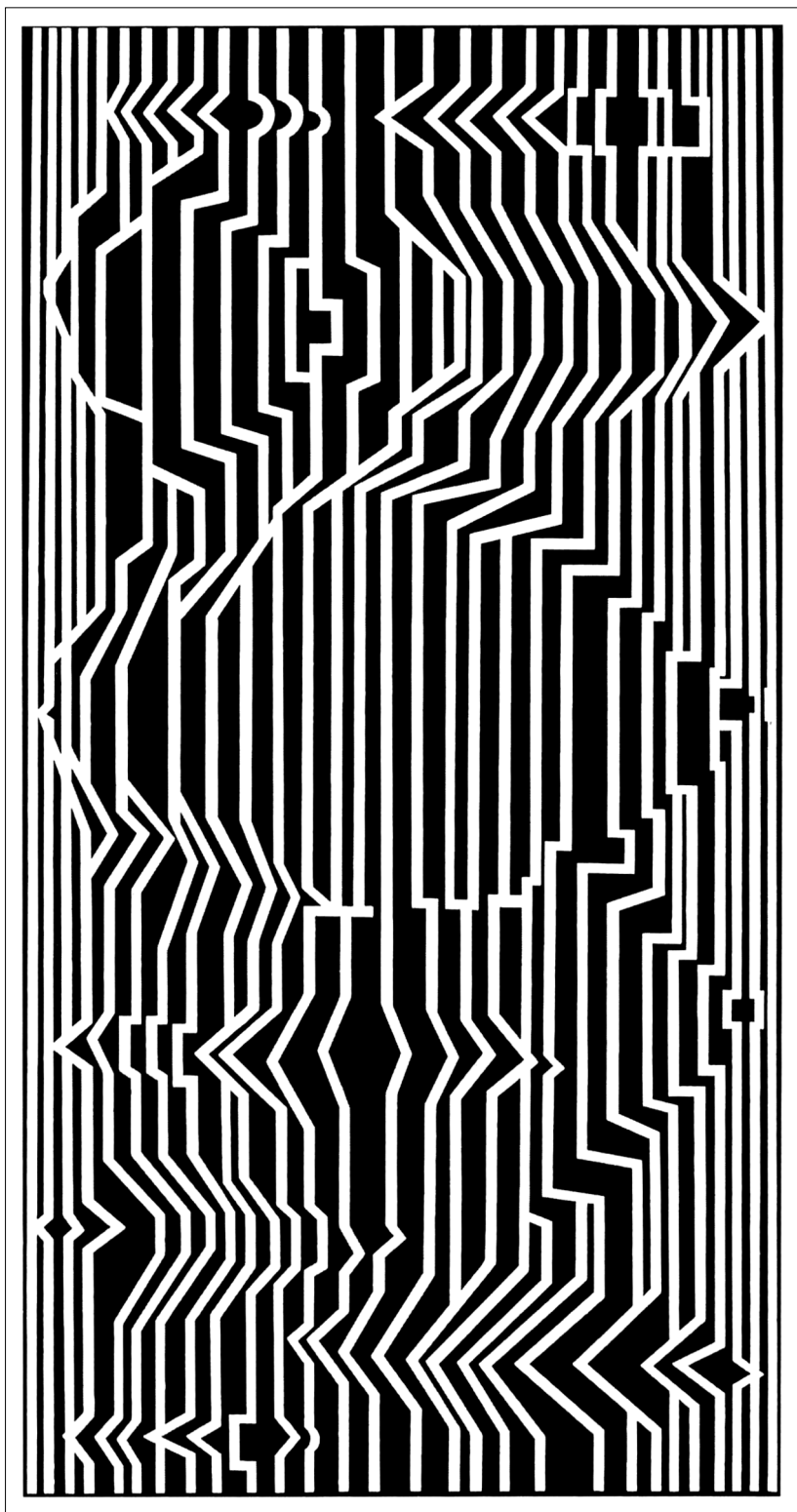
Слово «универсум» буквально означает «один оборот», а его наиболее совершенная форма — это круг. Термин «универсум» используется для обозначения совокупности вещей, известных и неизвестных, видимых и невидимых, а равно и запредельной тайны. Он включает как сам круг, так и поверхность, на которой он начерчен. Идеальный круг, мыслимый умом, не зависит от реализации этой формы посредством движения карандаша вокруг фиксированной точки, поставленной на листе бумаги. В отличие от круга, начерченного с помощью циркуля на листе бумаги, где центр зафиксирован и известен, центр круга в уме невыразим. Фиксированный элемент в этом случае является невидимым, метафизическим. Он известен посредством окружности, которая — хотя и видима — скорее изменчива, чем устойчива. Изменчивость выражается в движении по часовой стрелке или против часовой стрелки; в сжатии и растяжении.

Что все это имеет общего с универсальными ценностями? Вообще, если универсальные ценности стоят своего названия, они должны выходить за пределы человеческого и распространяться на мир природы и способ существования универсума; то есть мы можем сказать, что этот способ состоит из физического и метафизического аспектов, удерживаемых в равновесии. Например, атомные ядра и сильное взаимодействие; нейтрино и радиоактивный распад, электрически заряженное вещество и электромагнитные силы; масса и гравитация, где каждая пара включает изменчивый и устойчивый аспекты.

Устойчивое и изменчивое — темы, центральные в работах Джорджа Лакоффа и Джорджа Спенсера-Брауна, к которым я вернусь позже, а пока обратимся к тому вкладу, который внесли в свое время устойчивые и изменчивые элементы нашего мышления, основанного на слове и числе, в развитие интегрированного и интегративного подходов в обучении свободным искусствам.

Эти элементы представляют собой интеграционные силы, соединяющие две части интегрированного традиционного учебного плана классических свободных искусств, который включает основанный на *слове* тривиум (логика, грамматика и риторика) и на *числе* — квадриум (арифметика,

* Дао-дэ-Цзин, в: Древнекитайская философия. Собр. текстов в 2 т. Т. 1. — М.: Мысль, 1972. — С. 128, § 45.



Виктор Вазарели. Меандры. 1959

геометрия, астрономия, музыка). Три предмета тривиума зависят от отношений изменчивого/устойчивого, которое древние греки рассматривали как аспект *логоса*. Логос у Платона (в диалоге «Кратил») состоял из устойчивого (*онота*: существительное) и изменчивого (*рхета*: глагол), то есть законченного предложения, включающего устойчивое грамматическое подлежащее и изменчивое грамматическое сказуемое. Здесь *логос* рассматривается в его устойчивом аспекте. Другой аспект логоса мы находим в «сперматическом — творящем — логосе»* стоиков, который мог быть использован в Евангелии от Иоанна, переведенный как «Слово»: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога»**. В обоих случаях устойчивый и изменчивый элементы согласованы, различены, но едины, уравновешены и предстают в устойчивых и изменчивых формах.

Логические отношения состоят из простых пропозиций, в которых термины логического субъекта и логического предиката представляют устойчивый и изменчивый элементы соответственно. Грамматика включает учение о том, как слова функционируют в качестве единиц в контексте более крупных единиц, состоящих из устойчивого подлежащего и изменчивого сказуемого как частей предложения. Логика, как сказано выше, вовлекает баланс устойчивого/изменчивого далее в силлогизмы и процессы дедукции и индукции. Риторика помогает людям «прийти к соглашению», способствуя взаимопониманию с использованием парадоксального акта речи, основанному на сериях возрастающей сложности паттернов различия (изменчивого) и сходства (устойчивого) в звуках, словах, фразах, предложениях, идеях и эмоциях, что делает устойчивые результаты искусства риторики способными двигать нас в мысли, слове и деле к «договариванию».

Согласованность, или баланс между устойчивым и изменчивым можно увидеть работающим в числах (величина и множество, одно и многое), геометрии (устойчивый центр и изменчивая окружность круга, например, или отношения между рациональными и иррациональными числами, из которого вырастают геометрические формы), изучении движений трехмерных тел (движение относительно фиксированной точки референции) и музыке, которая живет не в нотах, сыгранных или записанных, но между строчками и нотами, так же как рецепт шоколадного торта никак не может содержать в себе чувственное переживание удовольствия от попробованного кусочка.

Квадрат и круг долгое время рассматривались как символы устойчивого и изменчивого с попытками найти квадратуру круга, чтобы примирить противоположные и вместе с тем соотносенные принципы. Трудно себе представить, чтобы принципы кругообразности и квадратуры не были бы найдены в Древнем Египте***. Их находят в китайских мифических фигурах Фукси

* См. Диоген Лаэртский. *О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов*. — М.: Мысль, 1979, кн. VII.

** Обзор способов использования понятия «логос» между 500 г. до н.э. и 300 г. н.э. см.: Funk, K. *Concerning the Logos*. Oregon State University: <http://web.engr.oregonstate.edu/~funkk/Personal/logos.html>

*** См., в частности: Rossi, Corina. *Architecture and Mathematics in Ancient Egypt*. — Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

(атрибутом которого был циркуль), и Нугуа (чей атрибут — угольник). Обе эти фигуры имеют человеческую верхнюю часть тела и змеиные хвосты, которые переплетаются. Фигуры указывают на происхождение принципов Инь и Ян в китайской культуре*. Эти же принципы устойчивого/изменчивого могут быть прослежены в индуизме: *Пуруши* (устойчивая метафизическая духовная реальность) и *Пракрити* (изменчивая, физическая материальная актуальность). А также в базовых структурах мандолы, которые общи нескольким индуистским религиям. Это не исчерпывающий список, названные принципы могут быть легко прослежены в других культурах в различные эпохи.

Говоря об «универсальных ценностях», мы обращаемся с «универсальным» как с прилагательным, а с «ценностями» как с существительным. В этом смысле «универсальные» можно рассматривать как изменчивое, а «ценности» как устойчивое. Тем не менее и обратное тоже имеет место быть. То, что устойчиво — это универсум как некая тотальность, а ценности — часть универсума — то, что изменчиво. Единственный способ, когда их можно рассмотреть как устойчивые, если мы возьмем их как часть субстанции универсума. При этом речь идет не столько о том, что *воспринимается* как благое, сколько о том, что *действительно есть* и что *есть реальное благо* на универсальном уровне, а не только на глобальном или человеческом.

Откуда мы знаем, является ли нечто универсально благом? И можем ли сказать, что даже если мы думаем, что это благо, это *действительно* благо? И как можно это описать? Есть ли оптимальные условия, от которых Вселенная зависит в своем существовании? И применимы ли эти условия к нам как к части универсума? Если да, то до какой степени?

Эти вопросы часть «Великой беседы», в которую люди вовлекаются тысячелетиями, когда исследуют тему «универсальных ценностей». Хотя слова и символы, используемые для описания этой темы, менялись в зависимости от времени и места, есть тем не менее замечательная согласованность в используемых терминах.

Корни «Великой беседы» об универсальных ценностях мы обнаруживаем в протоиндоевропейские (ПИЕ) времена** (5000 лет назад), в которых европейская и славянская культуры берут свое общее происхождение в словах, используемых для обозначения как владычества, так и для ценности. Протоиндоевропейский корень *wal* («быть сильным») производит латинское *valere* («быть сильным, здоровым, богатым»), которое, в свою очередь, дает староанглийское *wealden* (править), старофранцузское *valoi* (быть богатым, быть сильным) и *vaillant* (стойкий, дюжий, храбрый), и с XVI века — «действенный». Тот же самый корень порождает и старое церковнославянское «*власти*» («править кем-либо»). Стоит отметить в этой связи, что «править» (*rule*) происходит от протоиндоевропейского корня *reg* — «двигаться ровным строем». Это имеет связь со словами «регулярный», «регент», «правитель» (*rex*) и относится также к ряду *Правил*, которые

* Hill, Sandra. *Chinese medicine from Classics: A Beginner's Guide*. — London: Monkey Press 2014.

** Proto-Indo-European Website, 2016.

регулируют жизнь монашеского *ордена* (напр. *Regula Benedicti* — Правила св. Бенедикта, написанные Бенедиктом из Нурсии около второй четверти VI века н.э.). В этом же контексте можно отметить, что до XVII века слово «регулярный» использовалось для обозначения «устойчивых» неизменных аспектов универсума, тогда как изменчивые и волатильные аспекты мировых эпох и социального порядка определялись словом «секулярный» (от лат. *saeculum* — век, поколение, мир).

Хотя многие современные исследования темы универсальных ценностей начинаются с древних греков, это только часть истории. Перед Аристотелем был Платон, а до него были досократики, а перед ними — древние египтяне, китайские, вавилонские и другие мыслители, которые все зависели от соответствующего языка в выражении своих мыслей.

В Британском музее хранится многоугольный твердый камень. Когда-то он использовался, видимо, в качестве мельничного жернова, или как-то иначе, но оказался он в музее не поэтому. Он выставлен потому, что на нем имеются древнеегипетские надписи. В свое время его наверняка ценили за прочность и пользу, которую он приносил при помоле зерна или при строительстве, а в наши дни им дорожат как хранилищем (изменчивых) мыслей (зафиксированных в камне в иероглифической форме) и в них видят ценность. Буквы представляют собой описание того, как была сотворена вселенная.

Этот камень сейчас называют Камнем Шабак, в честь Шабак (716–702/6 до н.э.), эфиопского царя, который основал 25-ю династию правителей Древнего Египта*. Иероглифическая надпись на камне сделана необычным способом. Она включает в себя зеркальное отражение букв и пустого пространства между ними внутри четко очерченной решетки. Эти элементы так же важны для чтения текста, как сами иероглифы. Текст представлен как копия более древнего текста, написанного около 710 года до н.э.**, поскольку оригинальный (написанный предположительно на папирусе или на куске кожи) был «поеден червями». Хотя некоторые исследователи предполагают, что текст мог быть политической «архаизацией», сочиненной с целью легитимировать претензию на узурпацию названной династией власти над Египтом***, большинство из них признают его оригинальность. Лихтхайм, например, датирует текст тем же временем, в какое были написаны тексты Пирамид (2400–2300 до н.э.). Некоторые (например, Франкфорт) видят в нем связь с более древними верованиями****. Другие (например, ван ден Дункен) признают это, но настаивают также на более ранней датировке по крайней мере части текста, рассматривая его как выжимку из нескольких более ранних описаний*****. Какова бы ни была правда, Камень Шабак

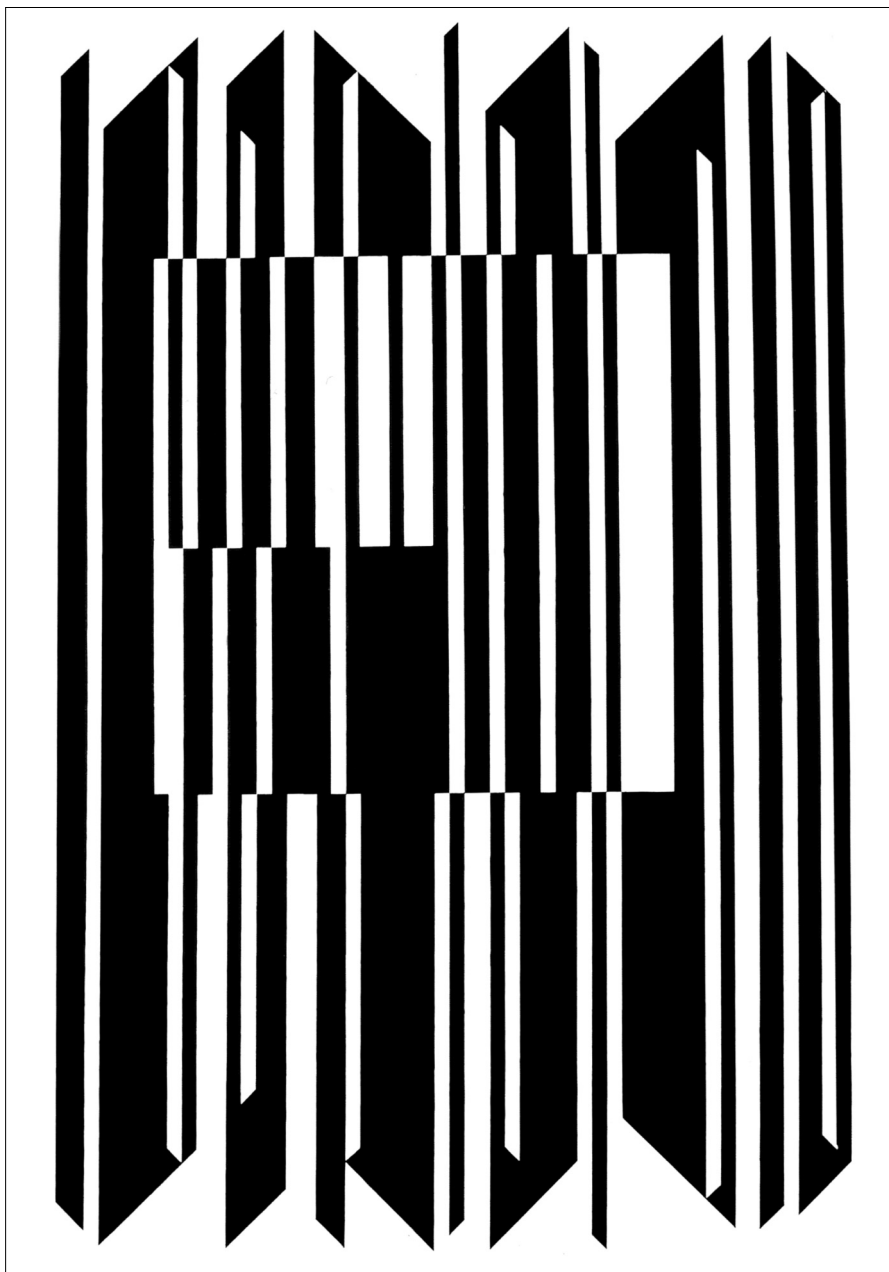
* См.: Bodine, Joshua J. *The Shabaka Stone: An Introduction*, in *Studia Antiqua*, 2009, Vol. 7 No. 1, p. 1–21.

** Lichtheim, Miriam. *The Old and Middle Kingdoms*. — In: M. Lichtheim. *Ancient Egyptian Literature: A Book of Readings (Vol. 1)*. — Berkeley, CA: University of California Press, 2006.

*** <https://emmambrodeur.wordpress.com/the-memphite-theology/>

**** Frankfort, H. *Ancient Egyptian Religion: An Interpretation*. — Mineola, NY: Dover Publications, 2000.

***** См. one <http://www.maat.sofiatopia.org/shabaka.htm>



Виктор Вазарели. Leur. 1962

доносит до нас миф о сотворении, связанный с городом Мемфис в Центральном Египте, в котором умопостигаемая невыразимая метафизическая реальность за пределами чувственно воспринимаемой физической действительности была описана как Птах, который познается только через его сердце и язык; аспекты Птаха, символически выраженные как Атум, представляемый в виде звука. Далее звук модифицируется и дифференцируется дальнейшими символическими аспектами, относящимися к лицу Птаха

(которое мы никогда не видим): зубы и губы Птаха описаны как существовавшие до него как его Эннеада (девятка богов). Повторяющийся символический акт многослойной линии самосотворения.

Текст был подписан как «произведение, созданное Сыном Ра [Шабакой] для своего отца Птах-Татенена, так как он мог бы жить вечно» с тем, чтобы имя Шабаки «могло бы устоять и его памятник длиться в Доме его отца Птаха-за-Южной-Стеной в вечности»*. Надпись, таким образом смешивает Шабаку с Ра, богом солнца; с Птах-Татененом, аспектом невыразимого; и изображает Шабаку как проявления, манифестора регулятора универсального порядка, связывая его через миф о сотворении с истоками Вселенной.

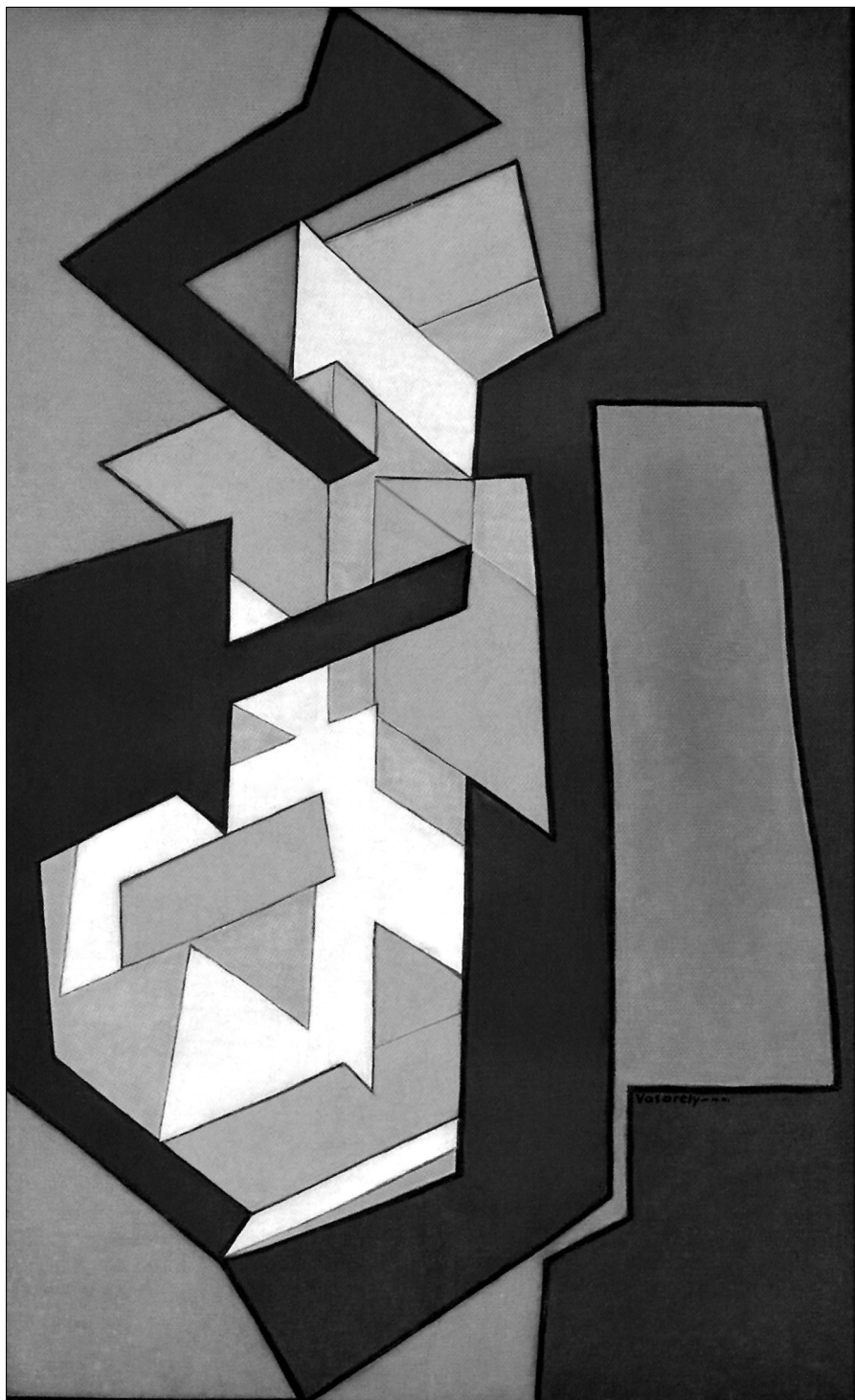
Фундаментальными для этого текста являются некоторые вещи, от которых, как представляется, мы не

можем уклониться. Из надписи на Камне Шабаки очевидно, что единство («Единое») и баланс рассматривались как имеющие ценность, что «Бытие» было подразумеваемо и что корни этих «ценностей» находились в невыразимом, или трансцендентном, в котором следовало искать ценность, если ее вообще можно было найти. Этот пример только один из длинной серии, исторически свидетельствующей в пользу общего интуитивного восприятия этих вещей в различных культурах. Это понимание того, что ценность трансцендирует действительность, (изменчивую) *физическую действительность* меняющегося мира, в котором мы живем, интуитивно постигаемую как часть непреходящей единой и универсальной (устойчивой) метафизической реальности, от которой зависит наша (изменчивая) физическая действительность.

С эпохи раннего христианства Бытие и Единое стали известны как «трансценденталии», трансцендирующие 10 категорий сущего Аристотеля. Эти категории разделены на две части: субстанция («устойчивая» сущность чего-либо), и девять «изменчивых» вещей, которые мы можем предсказывать, описывать или атрибутировать любой субстанции, о которой говорим или думаем. А именно: качество (то, что невозможно отнять); количество (что можно посчитать или измерить); отношение (с чем это связано); время (когда) — положение вещи относительно последовательности событий; пространство (где) — положение вещи относительно ближайшего окружения; состояние (ситуация) — положение частей предмета относительно друг друга; обладание — постоянное наличие чего-то внешнего; действие (активность) — воздействие на нечто другое; претерпевание (пассивность или страсть) — что некто чувствует или что с ним происходит.

*Откуда мы знаем, является ли нечто
универсально благим?
Есть ли оптимальные условия,
от которых Вселенная зависит в своем
существовании? И применимы ли эти
условия к нам как к части универсума?
Если да, то до какой степени?*

* Lichtheim, *op. cit.*, p. 52.



Виктор Вазарели. Лом-Лан. 1948–1949

При этом в трактате «Об истолковании» Аристотель проводит различие между вещами, которые подпадают под 10 категорий сущего, и теми, которые не подпадают (такими, например, как «и» или «если»).

Впрочем, мысль Аристотеля была в высокой степени практична. Трактат о Конституции Афин приписывается если не ему лично, то его школе. В нем утверждается, что деревянные таблички, на которых были записаны якобы слишком суровые законы Драконта (откуда прилагательное «драконовские»), пересмотренные архонтом и поэтом Солоном с помощью шаманического провидца Эпименида Критского, были выставлены в центре Афин. Тогда как античные источники приписывают им различное местонахождение, включая монархическую Стою. Американский историк Джеймс Сикингер, например, доказывает, что они находились в круглом здании Пританей (также известном как Толос) на Агоре, куда были перемещены со своего прежнего местоположения в наивысшей точке города в Акрополе*. Толос был местонахождением храма Гестии, богини домашнего очага и государства и одной из старейших богинь греческого пантеона, дочери Кроноса (Времени) и Реи (Земля/Космос)** . Деревянные таблички (устойчивое) были помещены в (изменчивое) вращающееся устройство. Хотя, вероятно, это было сделано для удобства доступа, символическая связь между фиксированной центральной спицей (символизирующей право), вокруг которой вращались деревянные таблички (изменчивое, волатильное) с написанными на них законами, регулировавшими городскую жизнь, в этом случае неизбежна, признается она или нет. Более того, эти законы были установлены в период, когда по традиции их принимали посредством обряда метафизической передачи — причащения к невыразимому посредством медитации либо в процессе естественной инкубации***.

Как Рим, так и Афины были основаны на земле, почитавшейся священной. Для Афин это был Священный Оргас. Для Рима — помериум (pomērium, от post — за, и mōerium — стена); римская городская черта была выложена в виде круга, который выделял область внутри границы как гражданскую и не подчинявшуюся военным законам, имевшим силу только за пределами круга. Поддержание этого различия стало вопросом жизни и смерти в V веке до н.э., когда Мегары вторглись в священное пространство афинян.

В имперском Риме, о котором император Август сказал: «[я] застал его кирпичным, а оставил мраморным», взаимная игра принципов устойчивого и изменчивого и признание невыразимой тайны, из которой они возникают, могут быть четко прослежены. В своей книге о Витрувии И. МакЮэн пишет: «Человечество начинается, когда люди собираются в одном месте... Риме, *Урбсе*, который риторически был идентичен орбису. “Ro-

* Sickinger, James P. *Public Records and Archives in Classical Athens*. — Chapel Hill and London: The University of North Carolina Press, 1999.

** Schmalz, Geoffrey C. *The Athenian Prytaneion Discovered?* // *Hesperia*, Vol. 75, 2006, p. 33–81.

*** О связи инкубации и шаманических традиций в дократической Греции с отсылкой к Пармениду, см.: Kingsley, Peter. *In the Dark Places of Wisdom*. — Point Reyes, CA: Golden Sufi Press, 1999/2010. — P. 101 и далее.

manae spatium est Urbis et orbis idem”, — писал Овидий, звонко воспроизводя аллитерацию общего места, которое было употребительно со времен поздней республики. “Мир и город Рим занимают одно и то же пространство”. Марций Варрон в “De Lingua Latina”, вечно стремящийся найти свидетельство в самих формах слов, выводит «урбс» из «орбис» (круг), потому что, как он говорит, черта города была изначально пропахана в виде круга»*.

Цель Витрувия в трактате «Об Архитектуре» — «единственной крупной работе об архитектуре, дошедшей до нас со времен классической античности, и первым осознанно всеобъемлющим описанием предмета», как полагает МакЮэн, была представить Августу полное воплощение искусства архитектуры в собрании из 10 книг, соразмерном пропорциям человеческого тела, чтобы направлять осуществление социального порядка в растущей Римской империи, ее политического тела с императором в качестве его головы. Титул «Август», присужденный Октавиану в 27 году до н.э., родствен «гаданию» (augury), практика которого обеспечивала как осязаемую, так и символическую связь с невыразимым в данном контексте. Его полный титул — Imperator Caesar Divi Filius Augustus. Скорее человек Витрувия, чем моральный человек, увековеченный в графической иллюстрации Леонардо, он, по словам МакЮэна, был «произведен не геометрией», но «источником геометрии»*. Разделение сфер Бога и Кесаря было христианским нововведением**. Псевдо-Дионисий, однако, называет в конце V — начале VI века н.э., опираясь на откровение «оракулов», но черпая вдохновение у философов, таких как Аристотель и Платон***, среди прочих имен Безымянного Бытия такие, как Одно, Истина, Благо, Красота.

Внутри исламской традиции суфизма взгляд на трансценденции очень похож на дохристианские верования в том, что его последователи не видят различия между Богом и Бытием. Однако Псевдо-Дионисий уравнивает вышеупомянутые трансценденции как качества Бога скорее, чем аспекты Божьей сущности, которая для него выше трансценденций****.

Бытие — это я, тогда как существо есть отличное от меня, потому что существа *есть* посредством меня, а я *есть* сам собой, пишет современный исламовед Самер Акках*****.

Скептик мог бы сказать, что если бы не так называемый век Просвещения, то мы все еще жили бы в эпоху суеверий, алхимии, веры в волшебство, и наш жизненный уровень оставлял бы желать намного лучшего; здесь нет, однако, выбора «или/или». Признание трансценден-

* McEwen Indra K. *Vitruvius: Writing the Body of Architecture*. — Cambridge, MA and London, UK: Oxford University Press, 2003. — P. 152.

* McEwen, p. 157.

** См.: Beard, Mary; North, John; Price, Simon Price. *Religions of Rome*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1998. Vol. 1, p. 359.

*** См.: Perl, Eric. *Theophany: The NeoPlatonic Philosophy of Dionysius the Areopagite*. — Albany, NY: The State University of New York Press, 2007.

**** См.: *al Theories of Transcendentals*. In: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (2013). <http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/transcendentals-medieval>

***** Akkach, Samer. *Cosmology and Architecture in Premodern Islam: An Architectural Reading of Mystical Ideas*. — Albany, NY: State University of New York.

талий базисом рационального исследования побуждает рациональный поиск поддерживать состояние равновесия и движения, устойчивого и изменчивого, в определенный момент предоставляя нам в дихотомическом мире, в котором мы живем, некую архимедову «устойчивую точку», на которую нужно встать в попытке осознать трансценденталии здесь и сейчас. Есть много способов для этого, и это достаточно легко, так как отзвуки трансцендентального, как того что лежит за пределами устойчивого и изменчивого, могут быть найдены повсюду — включая мысль и язык.

Устойчивое и изменчивое — ключевые термины, к которым я возвращаюсь. В начале статьи я не случайно упомянул двух философов XX века — Джорджа Лакоффа и Джорджа Спенсера-Брауна. В сво-

их работах Лакофф показал, что во многих языках люди опираются на два типа базовых метафор. Первый тип он называет метафорами сдерживания (например, «влюбиться по уши»). А второй — метафорами континуума («проект продвигается»). Согласно Лакоффу, мы жестко привязаны к устойчивому и изменчивому в нашем дискурсивном мышлении*.

Сходные принципы лежат и в основе оригинального спенсер-брауновского исчисления индикаций, изложенного в его книге «Законы формы» (1969) и опирающегося на две идеи, рассматриваемые как данность: «идея различия и идея указания»**. Из них он выводит две аксиомы или закона: аксиома № 1 — закон называния; аксиома № 2 — закон пересечения. При этом сопряжение идей с аксиомами у него тесно взаимосвязано на уровне устойчивых и изменчивых состояний, что как раз и позволяет построить исчисление, которое, как он доказал, лежит в основе как математики, так и логики. Это обманчиво простое на первый взгляд сопряжение приводит его к выводу, что «Вселенная начинает существовать, когда космос раскалывается или распадается на части. Кожа живого организма отсекает внешнее от внутреннего. И то же самое делает окружность круга на плоскости. Прослеживая способ, которым мы представляем такой разрыв, мы можем тем самым реконструировать с точностью и всеохватностью то, что выглядит почти сверхъестественным: базовые формы, лежащие в основе лингвистических, математических, физических и биологических наук, и можем стать способными увидеть, как знакомые законы нашего собственного опыта неуклонно следуют из изначального акта разрыва»***.

*Скептик мог бы сказать, что если бы не так называемый век Просвещения, то мы все еще жили бы в эпоху суеверий, алхимии, веры в волшебство... выбора
«или/или»*

* См.: Lakoff, George and Johnson, Mark. *Metaphors we Live By*. — Chicago, IL: University of Chicago Press, 1980.

** Spencer-Brown, George. *Laws of Form*. — Leipzig: Bohmeier Verlag, 2011.

*** Spencer-Brown, *op. cit.*, p. xxii, 63.

Работа Спенсера-Брауна повлияла на развитие кибернетики — слово, придуманное в 1948 году американским математиком Норбертом Винером для обозначения науки о коммуникациях и системах автоматического контроля как в механизмах, так и в живых существах. Он сознательно опирался на греческое слово *kybernetes* (рулевой, кормчий); метафорические «путеводитель» или «правитель», возможно, основаны на более раннем французском употреблении слова *cybernétique* в значении «искусство управления» около 1830-х годов.

В «Законах формы» есть спиритуальный элемент, отсылающий к греческому понятию *religio*, которое в неоплатонической философии ведет к *henosis* (союз с Бытием)*. Этот же элемент был описан как цель интегрированного образования свободных искусств бл. Августином, а также встречается в работах суфиев-мистиков. Один такой мистик, Ибн Альван (ум. 1276), выражает его следующим образом: «Нет ничего за пределами того, что создал Бог, кроме самого Бога, и нет ничего до того, что создал Бог, кроме Бога, и нет ничего внутри того, что Бог сотворил, кроме Бога. Поэтому будь с Богом за пределами всего, что Он сотворил, и будь с Богом до того, что Он сотворил, и будь с Богом внутри всего, что Он сотворил. Ты будешь сокровенно с Богом в разнообразии Его творения, и все, что инаково, станет хорошо знакомым тебе»**.

Из этой точки трансценденции уместно вернуться к миру существования и к аристотелевским категориям. В качестве примера приближения к трансценденталиям в языке и мышлении я хотел бы обратить внимание на то, что на уровне наших переживаний мы любим, смеемся и плачем. Мы не можем контролировать эти состояния. Мы смеемся, когда дела и события идут не так, как положено; плачем, когда сталкиваемся с непреодолимыми препятствиями, и для меня нет более ясного доказательства того, что заставляет нас стремиться к истине, как некий встроенный в нас «предохранительный клапан», срабатывающий, когда окружающий мир не таков, каким он мог бы или должен был бы быть.

Не так давно я обратил внимание на комментарии Марсилио Фичино к корпусу платоновских сочинений, в частности к «Менону», где он пишет, что первая способность души — это ум, чьи действия — вечное созерцание истины. Вторая способность — рассудок, его действие — расследование истины. Третья способность — воображение. Эти три способности души Фичино называет познавательными и добавляет к ним еще три, которые называет вожделеющими: волю, силу гнева и силу страсти. Действие воли — желать то, что представляют ум и рассудок. Действие гнева — следование тому, что предлагают ум и рассудок. Действие страсти — принятие того, что воображение и чувства помещают перед нею.

Далее, есть две способности, подчиненные этим шести: способность двигаться и способность питаться; но с точки зрения добродетели эти способ-

* *Henosis* как совершенный союз с Бытием, неоплатоническое понятие, которое растворяет границу между субъектом и объектом, имеет корни у Платона.

** Цит. в кн.: Aziz, Muhammad Ali. *Religion and Mysticism in Early Islam: Theology and Sufism in Yemen*. — London, UK: L B Tauris and Co, Ltd, 2011. — P. 69.

ности имеют очень мало общего с высшими способностями. На мой взгляд, познавательные способности могут быть все соотнесены с временем: воля, ассоциированная с истиной, отсылает к настоящему. Мы можем знать только то, что истинно в настоящий момент; рассуждаем о вещах, которые мы знаем или наблюдали в ходе прошлого опыта; воображаем то, что будет или может произойти в будущем. Прошлое, настоящее, будущее. Эти различия применимы также к трем разновидностям риторики: эпидейктической (апелляция к активным человеческим чувствам — риторика похвалы и упрека), судебной (риторика юридических прений) и совещательной (риторика убеждения), привилегирующих прошлое, настоящее и будущее соответственно. Мы хвалим или осуждаем прошлые достижения; ищем истину здесь и сейчас в судебных заседаниях, опираясь на наши сегодняшние взгляды на прошедшие события; цель совещательной риторики — принципиально убедить других следовать или воздержаться от намечаемого курса действий.

Вожделирующие способности (которые могут быть интерпретированы иначе, чем у Фичино, — я не буду на этом останавливаться) отсылают нас к пространству. Воля относится к человеку в конкретном месте, «здесь и сейчас». Гнев — к желанию на что-то повлиять или исправить, пробиться сквозь несправедливость (мнимую или реальную), чтобы прийти к воображаемому лучшему состоянию. Как таковой гнев направлен на то, что выведено из равновесия снаружи, а внутри ощущается как более уравновешенное. Страсть соотносится с противоположным движением в пространстве — желанию уравновесить то, что находится вне равновесия внутри с тем, что представляется более устойчивым во внешнем мире.

Таким образом, движения в пространстве и времени, лежащие, согласно Фичино, в основании описанных им познавательных и вожделирующих способностей, определяются исходя из пространственно-временных обстоятельств, порождающих в результате комбинированные пространственно-временные способности движения внутрь и наружу, которые он описывает как движение и питание, но при этом отличает их от высших способностей, соотносимых с любовью как проявлением некоего единства, удерживающего его несоизмеримые части в гармонии.

Откуда приходит это осознание баланса, если не из встроеного в нас знания о трансцендентном бытии, единстве, истине, благе и гармонии (красоте)?

Трудно спорить с тем, что только трансценденталии могут предоставить подходящее определение «универсальным ценностям». Едва ли также кто-то может доказать, что эти ценности не то, на чем основываются должным образом функционирующие гражданские институты и гражданское общество. Три принципа — свобода, равенство и справедливость, согласно которым мы действуем, утверждает американский философ и педагог Мортимер Адлер в своей книге «Шесть великих идей», основаны на трех трансцендентальных идеях, с помощью которых мы судим: истина, благо, красота.



*Александр Согомов,
академический директор
Центра социологического
и политологического
образования
Института социологии РАН*

Гражданское образование в контекстах мировой истории*

Контекст 5: Индустриальная метрополия и рождение либеральной модели гражданского образования.

Начало XIX века стало для всего Запада точкой невозврата. Большинство привычных для него общественных и материальных состояний неуклонно уходило в прошлое. Европа, существенно опережая Америку, на глазах превращалась в главную — и в известном смысле единственную — урбанистическую и индустриальную часть света. Старый режим, правда, еще чувствовал в себе силы сопротивляться всяким новым веяниям, но перекрывать дорогу современному цивилизационному проекту он был уже не в состоянии. И естественно, что «гражданское образование» — как идея и просветительская практика — утратило ореол интеллектуальной экзотики, занимая полноправное место в массиве социально-гуманитарного знания. Впрочем, не мгновенно и вовсе не просто. Появление же на общественной арене «массового гражданства», пришедшего на смену «элитному», решительно переформатировало всю образовательную повестку дня: само образование с этого исторического рубежа начинает восприниматься *базовым гражданским правом* человека.

Прорыв в этом направлении был совершен в Америке в президентство Томаса Джефферсона (1801–1809) и некоторое время спустя. На всем Западе он стал первым национальным лидером, который удачно сочетал в себе глубокую теоретическую мысль, волевое начало и решительность практических действий. Из знаменитой переписки с другими «отцами-основателями» несложно вывести его главный тезис: в условиях демократии политика и образование неотделимы друг от друга. Историкам хорошо известно его главное образовательное детище — университет штата Вирджиния, но он много сделал и по части трансформирования среднего

* Продолжение. Начало см. в № 2 (68), № 3–4 (69) 2015 г. «Общей тетради».

образования*. Не все ему, конечно же, удалось совершить при жизни, но его просветительские планы и идеи были настолько логичными и инновационными, что сослужили многим поколениям потомков добрую службу. А сама Америка уже во второй половине XIX века становится самой образованной и свободной страной в мире.

В наследии Джефферсона мы впервые обнаруживаем концептуальное раскрытие понятия «сознательный гражданин» (*good citizen*). Для него это уже не просто некая идеальная модель (ренессансная утопия), а вполне достижимый образец гражданского поведения и понимания, когда из «простых» вещей рождаются «сложные».

Ребенок (школьник, студент) воспитывается в пространстве освоения своих гражданских обязанностей, которые, по Джефферсону, обладают важными отличительными свойствами. Так возникает и соответственно толкуется целый ряд особых отношений, регулирующих поведение граждан в различных ситуациях социальной среды. Возникает понимание обязанностей в отношении своих соседей и своей страны (коммунитарность и солидарность); обязанностей компетентного исполнения своих профессиональных функций, налагаемых другими (рабочая специализация и ответственность); обязанностей в понимании своих прав как гражданина и избирателя, то есть в первую очередь в строгом и справедливом отношении к тем, кому были вручены скрижали административной власти (гражданский контроль); и нако-

нец, обязанностей взвешенного и внимательного отношения к тем, кому доверяются представительские полномочия (гражданская подотчетность). Именно эти четыре блока гражданских обязанностей и поныне составляют стержень современного этико-культурного кода «демократический гражданин».

Все это, по Джефферсону, достигается не только способом прямого дидактического воздействия со стороны учителя, но и через горизонтальное накопление опыта коммуникативного понимания (школа как мини-республика). Республиканец Джефферсон первым стал трактовать гражданское образование как накопление *контекстного понимания*. Если ранее в правилах иезуитских или протестантских школ Старого и Нового Света ребенок нарочито извлекался из его близкого социального окружения и формировался как личность вдали от родителей и родного города, то Джефферсон, напротив, активно насаждал практику «гражданской» включенности ребенка в дела местной общины, что в конечном итоге должно было привести к осознанию им ценностей и принципов равенства и свободы.

Впрочем, надо заметить, что Джефферсон все-таки был больше озабочен распространением чистых «идей», достижением *общего* гражданского понимания всем электоральным корпусом страны. Политические же навыки ответственного и справедливого управления, плюрализма и конкуренции, как и многое другое, он по старинке полагал необходимыми лишь для республиканской «элиты»**. Примечательно, что эта *двухэтажная модель*

* Взгляды Джефферсона на роль образования при демократии см.: Джефферсон Т. О демократии. — Л.: Лениздат, 1992; *Addis C. Jefferson's Vision for Education, 1760–1845.* — New York: Peter Lang, 2003.

** Все это у Джефферсона легко уживалось с подчинительным положением несвободных масс, с лишением большей части населения электоральных прав и т.д. (См.: Heater D. *A History of Education for Citizenship.* — London — New York: Routledge, 2003. — P. 57–58). Подробнее см.: Gilreath J. *Thomas Jefferson and the Education of a Citizen.* — Washington: Library of Congress, 1999; Wagoner J.L. *Jefferson and Education.* — Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2004.



Владимир Архипов. Ключ Николая Хайдарова. 2008

гражданского образования (массовая и элитарная) быстро приживется и просуществует в западном мире еще как минимум добрую сотню лет.

Первым «гражданским учителем» американской нации по праву называют лексикографа Ноя Вебстера (1758–1843). Его знаменитое творение — Американский толковый словарь английского языка — переиздается непрерывно вот уже почти двести лет. Но интересен он нам не только тем, что раскрыл гражданский смысл многих современных слов, придал грамматике политическое звучание, создал тезаурус американской политики, но и тем, что впервые выступил как систематизатор гражданских значений и проповедник именно гражданского взгляда на историю, религию, географию и нравственные традиции страны. Еще на заре своей долгой и плодотворной жизни Вебстер формулирует для всего своего творчества исходную точку отсчета. Он считал, что пока национальный характер Америки еще не сформирован, вполне можно просветительскими усилиями ввести в гражданское сознание молодых поколений практические идеи свободы и добродетельности, привязав именно эти либеральные конструкты к формирующейся национальной идентичности.

Будучи школьным учителем, он был озабочен созданием инновационного цикла учебных пособий по национальному языку, истории и пониманию институтов гражданской и политической жизни. Он, так же как и его старшие современники в революционной Франции, прибегал к методу сочинения катехизисов, но в отличие от них апеллирует не просто к универсальным смыслам общественных по-

нятий свободы и равенства, а жестко привязывал их к конституционным реалиям демократической Америки. Его «Федеральный катехизис» (1790) был очень популярным, хоть изначально и был опубликован как часть более внушительного и довольно консервативного по взглядам пропедевтического издания «Настольная книга для маленького читателя». И все же самым важным вкладом Вебстера в дело гражданского просвещения нации стала вдумчивая работа с языком и заложенными в нем общественно-моральными смыслами*.

Дидактический подход Вебстера можно определить как метод индоктринации (indoctrination)**, то есть *создание и фактически навязывание «картины мира» через управление языковыми значениями*. В ту раннелиберальную эпоху до «открытия» технологий массовой пропаганды в таком подходе к гражданскому просвещению не содержалось еще ничего предосудительного.

Современная модель гражданского образования, как правило, долго вынашивалась в культуре разных стран Запада. Но, вырвав (а на это порой уходило целое столетие), быстро адаптировалась. Впрочем, для такого качественного скачка всегда были необходимы объективные предпосылки, а не только опережающая этот культурный скачок философская и политическая мысль. XIX век — время социальной турбулентности, классовых конфликтов и революций — породил новый тип города (индустриальная метрополия), совершенно особую урбанистическую цивилизацию со своей аутентичной концепцией гражданства и сложно запутанными городскими сообществами и отношениями.

* Warfel H.R. *Noah Webster. Schoolmaster to America*. — New York: Octagon, 1969; Kendall J. *The Forgotten Founding Father. Noah's Webster Obsession and the Creation of an American Culture*. — New York: Putnam, 2011.

** См.: Heater D. *A History of Education for Citizenship*, p. 60.

В результате Великой французской революции* к жесткому противостоянию были сведены концепции бюргера, гражданина государства и подданного. И тогда после революции в большей части Европы получает распространение смешанная французская концепция гражданина-буржуа, образованная за счет синтеза двух политико-правовых ограничений: гражданин=мужчина и гражданин=собственник. Только сквозь призму этой концепции становятся понятными ожесточенные дебаты, которые шли в европейских странах по крайней мере до середины XIX века, относительно обоснования полноты гражданских и электоральных прав. Всегда принятие того или иного политического решения относительно прав упиралось в размеры и/или тип собственности, величину выплачиваемых в казну налогов, пола, цвета кожи и т.д.**.

Равным образом и право на город было, по сути, узурпировано гражданами-буржуа. Рабочие сословия, женщины, чужаки и аутсайдеры были легально исключены из политической жизни общества, назывались «варварами современного мира», «опасными классами» или «дикой толпой» и были отстранены от легитимных притязаний на город***. Гражданин-буржуа, напротив, считался полноправным хозяином метрополии и в известном смысле авангардом всей национальной гражданственности.

Однако этот буржуазный порядок пришел в столкновение с ускорившейся урба-

низацией, широким притоком населения в метрополии и быстрым ростом численности их жителей. Концентрация промышленности в городах (как старых, так и вновь созданных) способствовала формированию общеевропейской урбанистической сети, в основном в ее северо-западной части, где, собственно, и свершались все главные технологические инновации эпохи. В городах буквально на глазах менялось все — инфраструктура, градостроительные перспективы, освещение и убранство улиц, пейзаж и открытые пространства, продуктивное и товарное обеспечение, транспорт и сантехническое обслуживание и т.д. Города хаотично расплозились и, как правило, внутри себя отчетливо территориально и социально сегментировались. Старые модели хаотичного соседства отжили свой век. Общая площадь городов и численность их населения выносили на повестку дня вопросы нового бюрократического управления. А у многих мыслителей того времени создавалось трагическое впечатление, что самоуправление в сложившихся условиях динамического роста городов уже невозможно будет осуществить. Так по крайней мере полагал Алексис де Токвиль.

Население городов тем временем пересекло ту демографическую грань, за которой личное знакомство горожан перестало выступать обязательным условием их гражданского сосуществования. А именно это условие Аристотель выдвигал в

* О разнохарактерном влиянии французской революции на эволюцию понятия «гражданин» в художественной и философской мысли см.: Ридель М. Бюргер, гражданин, бюргерство/буржуазия // *Словарь основных исторических понятий*. С. 45–48.

** Размеры (то есть рост или увеличение) электорального корпуса всегда зависели от этих переменных, подобная ситуация неизменно порождала стремление граждански ущемленных классов к борьбе за свои гражданские права и прежде всего за всеобщее избирательное право. В принципе через призму этого конфликта можно интерпретировать весь процесс развития демократии в Европе в Новое время. Именно под таким углом зрения увидать историю XIX века предлагает нам итальянский историк Лучано Канфора в своей книге: *Демократия. История одной идеологии*. — Санкт-Петербург: Alexandria, 2012. Гл. 5–6.

*** См.: Brubaker R. *Citizenship and Nationhood in France and Germany*. — Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992. Ch. 1.

качестве условия *sine qua* поп любого успешного политического сообщества. Вопрос о том, как достичь «эффективного гражданства», ставился разными мыслителями, но конфликты и революции долгое время не давали возможности нахождения адекватных ответов. Всякие радикальные решения все время откладывались на мирные времена. А городские институты и учреждения, создаваемые для народа (фабрики, школы, больницы, тюрьмы), становились все более и более дисциплинарными, поддерживающими буржуазный порядок и направленными на подавление идентичности рабочих и прочих низших сословий.

Европейские города постепенно начали мыслиться как совокупность двух не пересекающихся друг с другом пространств, подобно «двум градам» святого Августина (*dystopia*, то есть «два места») — высокого общества и трущоб. Ранее города были всегда более компактными и в архитектурном смысле более гармоничными, чем в наступившем веке индустриализма. Перемещение из одного пространства в другое представляло собой подлинное географическое и культурное приключение (вспомним хотя бы «Тайны Парижа» Э. Сю). Описаниями «чрева» или «дна» городов полнится романтическая и реалистическая художественная литература. А «большая мечта» о переселении из одного места в другое становится главной метафорой социальной мобильности автономного человека. Любопытно, что именно в это время достаточно неожиданно в самый центр публичного дискурса перемещается тема городских запахов (как будто бы этой проблемы не существовало раньше). Вопрос о том, как пахнут трущобы и их население, как, впрочем, и методы его решения, становятся для буржуа-граждан весьма политически значимыми*.

Об общественном слиянии двух пространств пока еще речь не шла, хотя после революций 1848 года активно обсуждался вопрос о том, как «цивилизовать» новых городских варваров. Рецепт для большинства европейских городов стал универсальным — реконструкция «сверху» с позиции гражданина-буржуа. Центральные власти все еще не желали отпускать города на вольные хлеба, особенно европейские столицы. Париж не принадлежит французам! — пожалуй, самое известное из высказываний барона Османа, выдающегося государственного деятеля Франции второй половины XIX века. Он перекроил весь Париж, придав ему сегодняшней вид. Старый город был практически полностью реконструирован, а новый приобрел современный линейный характер. Помимо решения эстетических задач и удобства передвижения барон добился и того, что городские бои в Париже стали абсолютно бесперспективными. При этом руководствовался Осман отнюдь не только военно-политическими, но и социальными соображениями. Плохо пахнувшее «дно» необходимо было перекроить, закрыть как социальную проблему, а его обитателей вдобавок лишить каких-либо преимуществ в борьбе за свои права с помощью баррикад. В европейских метрополиях наступала эра *Art Nouveau*, четко регламентировавшая в архитектуре и градостроительстве тему гражданских прав и власти.

Опасения городских восстаний в последней трети столетия отошли на второй план, хотя такая угроза все еще оставалась. Все передовые страны стали постепенно переходить на систему всеобщего избирательного права. Хотя, конечно же, городская жизнь все еще оставалась под контролем высших властей. В Англии слово «демократия» вплоть до конца XIX

* О «социальных запахах» городов см., в частности: *Isin E.F. Being Political. Genealogies of Citizenship. — Minneapolis — London: University of Minnesota Press, 2002. — P. 203–204.*



Тони Крэгг. Разные точки зрения. 2011

века носило негативный смысл, а к всеобщему избирательному праву она пришла лишь после Первой мировой войны. Большая же часть Европы пыталась эксплуатировать синтетическую доктрину «подданный» + «гражданин», сохраняя имперское подданство, но и постоянно увеличивая «вход» людей в равноправное политическое сообщество за счет сокращения электоральных цензов.

Практически весь XIX век индустриальная метрополия экономически развивалась, не решая кардинально свои внутренние социальные проблемы. Иными словами, она с большим трудом становилась демократически прогрессивным пространством либерального гражданства. Но это уже были другие времена удивительных парадоксов, где старое и новое пытались найти устраивающий их гражданский компромисс. И не находя его, западный мир постепенно скатывался к мировой войне.

Индустриальная метрополия требовала от теории гражданского образования нового целеполагания, обновленного содержания и подходов. Установка на новизну была обусловлена неожиданными вызовами, на которые старая гражданская педагогика уже не знала, как отвечать.

Во-первых, численность населения в метрополиях стала беспрецедентно большой. Город от полумиллиона жителей и выше стал обычным. Раньше человечество знало лишь считанные единицы таких мегаполисов (Рим, Александрия), но их гражданский корпус всегда был относительно невеликим, ибо в них параллельно проживали многочисленные и несвободные категории населения. Индустриальная же метрополия впервые в западной истории во второй половине XIX века столкнулась с феноменом «массового» гражданства. Эти города как будто бы в мгновение ока стали населять формально свободные, пусть даже и с разным допуском во власть горожане.

Во-вторых, все предшествующие религиозно-культурные или просто корпоративные формы солидарности в городах и в обществе были разрушены, и индустриальные метрополии оказались в трудной ситуации накопления нового «социального капитала» на непривычной и незнакомой им основе. Особенно чувствительными к этой проблеме были созданные с нуля в процессе индустриальной революции города. И, поскольку все это сочеталось с неразвитой электоральной культурой, жизнь буквально всех городских сообществ легче никак не становилась.

В-третьих, степень автономизации горожанина к концу столетия достигла такого состояния, что анонимность человека в урбанистическом пространстве стала восприниматься обязательной нормой и, как полагал французский поэт Шарль Бодлер, даже символом нашей современной цивилизации. *Незнакомец* — синоним горожанина индустриальной метрополии. Его социальное и политическое поведение в отсутствие универсального поля смыслов непредсказуемо и порождает естественные страхи.

В этих непростых условиях «демократическое гражданство» из доминирующего мотива общественного развития превращается в его главный культурный тормоз. И вопрос о том, что в данном случае может сделать образование, произносился уже не так решительно и, безусловно, не с такой настойчивостью, как во времена революционных потрясений конца XVIII века. Хотя, может быть, для нас, жителей XXI столетия, именно этот опыт скромного, векового эволюционного развития оказался более значимым, чем искрометные революционные эксперименты. Впрочем, все западные страны в Новое время прошли свой аутентичный путь к современному пониманию смыслов и задач гражданского образования. Самые примечательный опыт, как мне кажется, продемонстрировали Франция, Британия и США.

Первая сложность, с которой сталкивается западная гражданская дидактика XIX века, — это осознание значимости образования для избирательного процесса. В это время повсеместно в Европе разворачиваются жаркие политические дискуссии на предмет расширения электоральных прав. Вне зависимости от принадлежности к той или иной партии противники расширения, как правило, свою аргументацию строили на тезисе о непросвещенности и даже порочности, а следовательно, фундаментальной неподготовленности низших слоев общества к акту ответственного голосования. Вручать таким людям право избирать правительства — по меньшей мере безрассудно. Сторонники максимального расширения электорального корпуса, напротив, утверждали, что даже самые непросвещенные массы могут принимать участие в выборном процессе, ибо они движимы не высокой наукой и аристократической образованностью, а искренними чувствами и гражданскими добродетелями. Пусть даже и так, продолжали оппонировать им противники расширения электоральных прав, но ведь необразованный народ — негибок и чрезвычайно податлив к всякого рода политическим манипуляциям. Его просто сбить с толку и направить в неверном направлении. И этот контраргумент был отнюдь не голословным, а отражал (и по-прежнему отражает) сложности накопления электорального опыта в молодых демократиях.

Справедливости ради следует заметить, что революционные годы середины XIX века в Европе сохранили немало документированных свидетельств о выборных махинациях, злоупотреблениях, грязных технологиях, подкупе и прямом обмане, особенно в аграрных районах компактно-

го проживания не наделенных новым политическим опытом деревенских граждан. Скажем, во Франции избирательные участки привязывались к школам и церковным приходам, а голосование проводилось в дни религиозных праздников, что предоставляло политикам и клиру немалые возможности для электорального оболванивания и «управления» выборным процессом*. Словом, полное *déjà vu* для всех тех стран, которые совсем недавно приступили к демократическому строительству и ввели у себя институт равных и свободных выборов.

Европейская политика какое-то время еще могла сдерживать общеевропейское движение за расширение избирательных прав граждан, но это давалось консервативной власти все сложнее. Вспомним, что и чартисты в Англии (1838–1848) выдвигали требование общего избирательного права на парламентских выборах (правда, пока только для мужчин). Из шести главных требований именно это они сделали базовым в своей петиции — понимание, что без всеобщих выборов бессмысленно ждать каких-либо перемен в английском обществе. Чартист Джозеф Стердж основал в этих целях Союз за полноту избирательных прав, предполагая тем самым объединить рабочий класс и средние слои. Но все их требования так и остались не поддержанными парламентом, а всеобщее избирательное право в Великобритании для мужчин было введено только в 1918-м, электоральное равенство обоих полов — в 1928 году**.

Итак, дилемма формулировалась как будто бы сама по себе и чрезвычайно просто. Гражданские права или гражданское образование — с чего политически правомерно было бы начинать? И эта дилемма

* Heater D. *A History of Education for Citizenship*, p. 66.

** Archer J. *Social Unrest and Popular Protest in England, 1780–1840*. — Cambridge: Cambridge University Press, 2000. — P. 72–74. Plowright J. *The Routledge Dictionary of Modern British History*. — London — New York: Routledge, 2008. — P. 62.

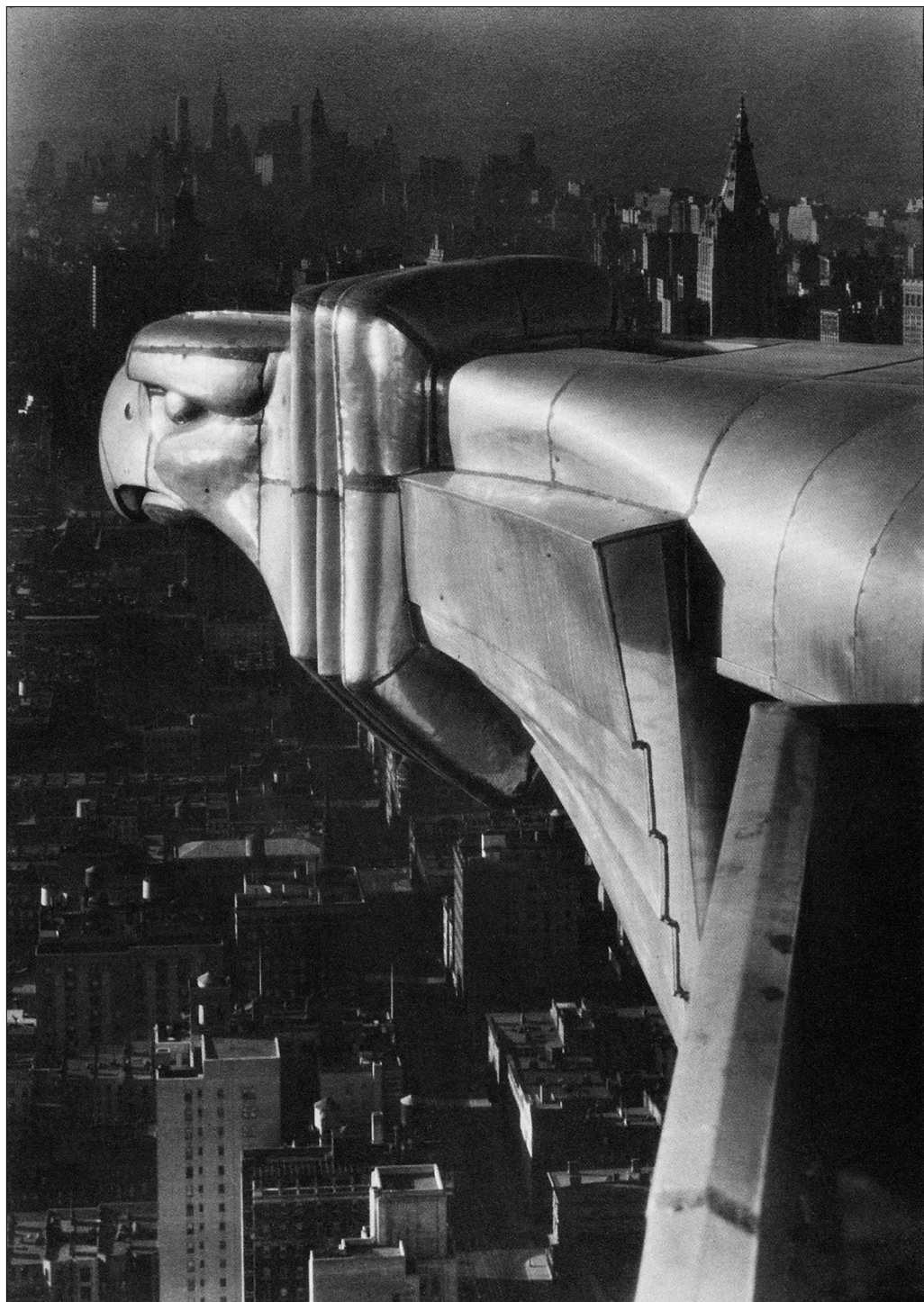
в сознании европейских элит отнюдь не представлялась в виде кальки классической апории: что было раньше: курица или яйцо? Ее разрешение действительно поляризовало элиты. А гражданская дидактика того времени пыталась нащупать более или менее эффективные инструменты для педагогического влияния на уровень гражданской культуры прежде всего европейских низов. Но как можно было вести систематическое просвещение, если элементарный уровень грамотности был все еще довольно низким. Решая эту первоочередную задачу, в школах постепенно стали вводить уроки гражданственности, на которых рассматривались вопросы права, институциональной структуры и традиций европейских обществ. Однако общая грамотность и накопление гражданских знаний напрямую не способствовали вызреванию новой культуры и моральной приверженности европейцев ценностям и принципам демократии, тем более не формировали столь востребованный тогда социокультурный тип ответственного гражданина.

И только во второй половине XIX века в Европе и Америке в прямом смысле параллельно друг другу начали постепенно выкристаллизовываться две важнейшие доктрины современной цивилизации — модель либеральной демократии, систематично сформулированной в сочинениях Джона Милля, и концепция воспитания «демократического гражданина», пусть даже изначально выраженная в простой дихотомии гражданской морали и христианской. Именно она и стала квинтэссенцией гражданской образовательной философии, где принцип лаицизма (*laïcité*, «светскость») придал ей статус наднациональной и универсальной доктрины. Вся середина и вторая половина XIX века отмечены резким снижением контроля церкви над образованием. Церковь, конечно же, сопротивлялась, но

уже без особых шансов на успех. Папа Пий IX в 1864 году распространил как приложение к энциклике свой знаменитый текст «Список важнейших заблуждений нашего времени» (*Syllabus Errorum*), где подверг анафеме либерализм, коммунизм, научный рационализм, принцип свободы совести, а также отделение церкви от государства, в том числе и в сфере школьного образования. Но этот, можно сказать, завершающий выпад Римской церкви против торжества эмансипированного и правового сознания человека западной цивилизации был проигнорирован не только в протестантских, но даже и в католических странах.

Антиклерикализм образовательной политики западных стран с того момента только усиливался, к тому же он совпал с растущими националистическими настроениями в Европе, в особенности усилившимися в канун и во время Франко-прусской войны 1870–1871 годов. Сокрушительное поражение в этой войне принудило французов к постановке новых дидактических задач. Два вопроса: «Как стать гражданином?» и/или «Что значит быть гражданином?» — мгновенно обретают статус приоритетных в новой повестке дня гражданской педагогики.

События развивались стремительно. Монархия во Франции ниспровергается, принимается новая конституция. После восстанавливается поправленное Наполеоном III электоральное право в полном объеме, а в 1877 году провинция и французская деревня через всеобщее голосование возвращают республиканское большинство в парламентскую Ассамблею. И в завершение этих символических перемен известный франкмасон и экс-мэр Парижа Жюль Ферри становится одновременно и премьером, и министром народного просвещения. В течение нескольких лет он проводит масштабные реформы и создает, по сути, современную европейскую систему гражданского обра-



Маргарет Бурк-Уайт. Гаргулья на здании «Крайслер» в Нью-Йорке. 1929

зования в рамках общедоступной и бесплатной начальной школы. Ферри был сторонником последовательного отделения церкви от государства и делал все, чтобы лишить ее какой-либо возможности влиять на педагогический процесс. Ферри не случайно уделял особое внимание образованию, ибо полагал, что государственный, единый образовательный подход позволит Франции в короткие сроки преодолеть вредный регионализм и обнулить архаичные этнические и языковые различия, приведет в конце концов все еще малокультурную нацию к единству гражданских чувств и мыслей, пусть даже и в откровенно националистической форме*.

Ферри сам по себе не был радикальным антиклерикалом, но его намерение переподчинить школу государству и отдалить ее от церкви было восторженно встречено республиканцами. Не запрещая полностью католические школы и не создавая дополнительных препонов монашеским орденам на авторизацию их образовательной деятельности, Ферри все же стремился к *образовательному нейтралитету*. Логика его реформ была бескомпромиссной. Гражданская нравственность должна была заменить собой христианскую мораль. А дидактическая объективность — идеологическую и политическую ангажированность. Впервые за всю историю гражданского образования во Франции просвещенческие цели формулировались без всякой заинтересованности со стороны воображаемой фигуры Воспитателя. Ферри был убежден, что ребенка/подростка надо подготовить к взрослой и самостоятельной гражданской жизни, не закладывая в его сознание априорных

шаблонов, идеологием, заранее заготовленных концептов. Государственная школа должна была стать, по его плану, подчеркнута нейтральной, а образовательные программы — ориентированными на будущее ребенка, а не на интересы власти, церкви или других политических акторов**.

Разумеется, философски Ферри испытывал влияние наследия революционных идей, несмотря на почти столетний с ними разрыв во времени. Так, в своих законодательных инициативах, никогда этого не скрывая, реформатор напрямую обращается к революционной концепции образования, предложенной еще в начале 1790-х годов Николя де Кондорсе. Но при этом он чрезвычайно внимательно относился и к первым гражданским экспериментам французских школ середины XIX века, когда гражданская проблематика вкрадчиво постучалась в дверь школьных классов. 28 марта 1882 года Франция благодаря Ферри принимает закон «Об обязательном образовании и воспитании детей от 6 до 13 лет». И с уверенностью можно сказать, что эта дата стала поворотной в гражданской истории не только Франции, но и всей Западной Европы.

Известно, что министр в течение года рассылал по всем образовательным учреждениям свои циркуляры-инструкции для правильного понимания и применения закона. В одном из писем, адресованном педагогическому сообществу Франции, он подчеркивает, что, несмотря на все сложности и опасения, которые вызывает новый закон у простого школьного учителя, он должен помнить, что главной образовательной миссией отныне становится формирование у детей нравственного

* Heater D. *A History of Education for Citizenship*, p. 74.

** Подробный очерк жизни и политической деятельности Ж. Ферри в историческом контексте Третьей республики во Франции см.: Guilhaume P. *Jules Ferry*. — Paris: Encre, 1980; *The New Cambridge Modern History*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1962. Ch. XI; Weber E. *Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural France, 1870–1914*. — Stanford: Stanford University Press, 1976.

сознания и гражданственности. Общество и родители не ждут от государственной школы великих достижений на ниве высокой учености, ее первичная забота — «воспитание *честных граждан*»*. А это неизбежно влекло за собой переформатирование фигуры школьного учителя. Великий реформатор ожидал от него меньше слов, но больше дел, меньше высокомерного менторства, но больше гражданского позиционирования, свободы выбора текстов и программ и, разумеется, принципиально иной педагогической ответственности. Учитель в этой инновационной логике становился конструктором «нации» — ее смыслов, ценностей и ориентиров на будущее. В известном смысле небесспорное утверждение о том, что «образование меняет общество», отчетливо было сформулировано именно в этом время.

Трудно представить себе сегодня, какой взрывной эффект вызвала тогда эта реформа. Она действительно радикально меняла французское общество, делая его постепенно солидаристским (пусть даже и в форме единства нации), идентичным (пусть даже и в националистической форме французской особенной аутентичности), активистским и отчасти уже граждански грамотным. Учителя новой формации прививали детям, особенно в провинции, как вкус к политике, а среди них было гораздо больше людей левых и социально ориентированных взглядов, чем буланжистов, так и, как было принято тогда говорить, гражданские сантименты,

среди которых чувство индивидуальной свободы, культ прав и обязанностей, толерантность, уважение закона, благотворительность, почтение к национальным символам и т.п.

Из реформ Ферри, очевидно, выросла вся самобытная французская культура конца XIX века (*fin de siècle*), литература и искусство, а, возможно, самое главное — открытость и гуманизм зарождающейся гражданской нации.

Франция, надо отдать ей должное, в период Третьей республики задала всему миру новый универсалистский тон европейской культуры равенства и прав человека**. Хотя и не смогла им хорошо распорядиться. Французское общество в мгновение ока превратилось в самое читающее в мире, а писатели, подобно Эмилю Золя и Анатолью Франсу, в «культурных сражениях» конца века определили критерии и стандарты *гражданской словесности****.

Хотя, конечно же, для многих консервативных слоев Франции реформы Ферри скорее обернулись серьезной культурной травмой, чем каким-то прогрессом, ибо они ознаменовали окончательный разрыв с традиционностью и закрытостью старого сословного общества. И в чем-то они были правы. Действительно, реформы Ферри, при всем позитиве самой идеи, на практике обернулись неожиданной «сменной вех». Секуляризовав школу и изгнав оттуда клириков, они допустили в нее «светских проповедников», вещавших от имени государства и навязавших в

* Heater D. *A History of Education for Citizenship*, p. 75.

** Осмыслив эти перемены, французский социальный мыслитель Эмиль Дюркгейм в цикле статей предложил Европе того времени теоретический концепт «гражданская мораль», который, правда, получил широкое публичное и академическое хождение лишь с середины XX века. Все тексты были собраны под одной обложкой лишь спустя многие годы после его смерти. См.: Durkheim E. *Professional Ethics and Civic Morals*. — London — New York: Routledge, 1957. Исследователи и сегодня вдумчиво изучают культуру рубежа веков, обнаруживая там множество схожих с нашим временем проблем. См., в частности: Forth Ch., Accampo E. (Eds.) *Confronting Modernity in Fin-de-Siècle France*. — London — New York: Palgrave-Macmillan, 2010.

*** Chaitin G.D. (Ed.) *Culture Wars and Literature in the French Third Republic*. — Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2008.

конечном итоге всему обществу новую национальную идентичность. А там и до этнического национализма было рукой подать, как показал ход истории накануне Первой мировой войны.

Французское гражданское просвещение конца XIX века создало Францию такой, какая она есть сегодня.

Безжалостно стирая региональные различия и локальные идентичности, растворяя другие языки и диалекты в новом едином и нормативном национальном французском, неопросвещенцы Третьей республики устанавливали новые критерии культурной адекватности и истинности знания с точки зрения ценностей и идеалов зарождающейся гражданской нации*.

И здесь никаким смысловым разночтениям не оставалось места.

Французские интеллектуалы рубежа веков, в особенности те, кто активно включился в просвещенческую деятельность (университетская профессура, писатели, журналисты), активно использовали в своем лексиконе понятие «гражданское наставление» как синоним гражданского образования (*l'instruction civique*). Многие из них, подобно, пожалуй, самому популярному тогда профессору Сорбонны историку Эрнесту Лависсу, искренне верили, что именно с помощью такого наставления можно довести дело Великой французской революции до логического завершения. Они

делали приоритетный акцент на правах, в известном смысле вопреки настоятельному требованию властей воспитывать у школьников в первую очередь чувство гражданского долга. Впрочем, политические реалии предвоенного евронационализма вносили свои коррективы в том

Французские интеллектуалы рубежа веков делали приоритетный акцент на правах, в известном смысле вопреки настоятельному требованию властей воспитывать у школьников в первую очередь чувство гражданского долга

числе и в эти благие просвещенческие намерения.

Дело в том, что важнейшим культурно-революционным процессом на рубеже веков стала демократизация истории. Буквально с нуля «история» из академического занятия высокоэрудированной и отчасти закрытой интеллектуальной элиты становится публичным предметом и, безусловно, главным стержнем всего национально-политического дискурса. Лишь в 1880-е годы историю наряду с географией стали преподавать в школе сразу же в новаторском гражданском ключе. Э. Лависс активно пропагандировал в своих педагогических сочинениях**, что через познание национальной истории подросток впитывает многовековой опыт борьбы французов за достоинство, справедливость, свободу и

* Как складывалась французская национальная идентичность, в том числе и при непосредственном участии реформаторов образования, см.: Hayward J. *Fragmented France. Two Centuries of Disputed Identity*. — Oxford: Oxford University Press, 2007.

** Наряду с бесчисленными историческими сочинениями Лависс опубликовал немало педагогических трудов, среди которых «Гражданское образование: первый год» (1880), «Вопросы национального образования» (1885), «Короткие истории, которые пригодятся в жизни» (1887), «Нравственное воспитание и гражданское образование» (1888, в соавторстве с Франсуа Пикаве), «Гражданское образование: пособие для учителей» (1892), «О наших школах» (1895).



Сезар Бальдаччини. Скорпион. 1992

права человека — собственно, все то, что необходимо ему понимать в зрелой гражданской жизни. История Франции творит из простого человека «гражданина» с присущим только ему сложным комплексом обязанностей и прав — таков незамысловатый постулат историка о том, как институционально учреждается нация.

Благодаря этому «историческая французскость» стала не просто синонимом гражданственности и квинтэссенцией национальной идентичности, но и весьма удобным моральным обоснованием всей гражданской дидактики рубежа веков в деле «честного цивилизационного процесса» неотесанной крестьянской массы и городской толпы*. И действи-

* Weber E. *Peasants into Frenchmen*, p. 329–330.

тельно, ничто в то время так не способствовало росту этнонационализма, как публичная история. Даже Лависс видел в национальной истории не столько богатый просвещенческий ресурс, сколько эффективный воспитательный инструмент конструирования «нужного» гражданина. В опубликованном в 1884 году учебном пособии «История Франции: первый год» он обращается к молодым читателям с прямым назиданием: изучая свою историю, вы поймете, сколь многим вы обязаны своим отцам и отчего вашим первейшим долгом становится именно любовь к родине; познав это, вы сможете отомстить за все поражения своих предков*.

Публичная история в школе («научение истории», *l'enseignement d'histoire*), в трактовке Лависса и его коллег-современников, помогала молодому человеку осознать свой воинский долг перед государством как высшую гражданскую обязанность, граничащую с абсолютной готовностью умереть за родину. Этот долг никоим образом не подвергался сомнению и не рассматривался как предмет свободного выбора. Таким образом, слепой патриотизм и коллективное желание исторического отмщения, по сути, стали центральными и пересекающимися темами в гражданском образовании Третьей республики**. И все это неизбежно должно было ввергнуть страну в пучину новой войны.

Как видим, патриотизм и реваншизм, будучи включенными в программы гражданского образования, могут оказаться весьма эффективными инструментами

конструирования нации, однако в этом случае *вместо гражданской нации* мы обязательно получим корпус «гражданских националистов». Педагогическое заигрывание с национальной идентичностью, увы, плохой помощник в деле создания гражданского общества и укрепления демократии, более того, как показывает мировой опыт, оно чаще всего приводит к торжеству авторитарных режимов, поддерживаемых националистически настроенной интеллигенцией и консервативным гражданским корпусом***.

Впрочем, Франция все же проделала работу над ошибками, правда не ранее последней трети XX века, когда приступила к решительной коррекции своей образовательной стратегии. А со времени Первой мировой войны и до революционных потрясений 1968-го она продолжала экспериментировать со старой просветительской моделью. Лишь в 1980-е годы она отказывается от самого понятия гражданского наставления в пользу подлинного гражданского образования и вводит обязательные ежедневные классы гражданственности на всех уровнях начальной и средней школы, а кроме того — и большую программу внеклассной гражданской активности школьников. И практически под занавес XX века Франция все-таки придает гражданскому образованию дисциплинарный статус базового школьного приоритета.

Англия, в свою очередь, не испытала в Новое время схожего с Францией идейного давления со стороны революционной мысли и практики, но в отличие от

* Heater D. *A History of Education for Citizenship*, p. 78–79.

** Weber E. *Peasants into Frenchmen*, p. 333–335.

*** А именно это и произошло практически во всех странах развивающегося мира в начале прошлого столетия (Китай, Россия, Турция, Мексика, Португалия). Везде, где государственная политика и гражданское образование во главу угла ставили национальную идентичность, случился идейный «отказ от демократии» в пользу авторитаризма. Подробнее см.: Kurzman Ch. *Democracy Denied, 1905–1915. Intellectuals and the Fate of Democracy*. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008.

нее никогда и не имела централизованной сети школ, чтобы можно было бы полагаться на обязательные для всех образовательных учреждений реформы сверху. Ее образовательная система даже в начале XIX века была довольно дифференцированной (регионально и социально), и поэтому в тех условиях планировать какую-то единую стратегию гражданского просвещения было весьма проблематично. Да никто, собственно, тогда и не размышлял об этом всерьез.

Лишь после наполеоновских войн в публичном дискурсе основательно закрепляется понятие «политическое образование» (political education), которое изначально обозначало вовсе не школьную дидактику, а перемены склада ума у взрослого человека под влиянием его участия в институциональном политическом процессе (выборы разного уровня, участие в местном самоуправлении, публичные дискуссии). Впрочем, постепенно смысл понятия стал толковаться расширительно и все активнее во второй четверти XIX века стали вестись разговоры о необходимости образовательной реформы. Сторонники английской радикальной философской школы (среди них известный экономист начала 1800-х Джеймс Милль, отец Джона Милля) полагали, что только образование сделает английскую политику более демократичной. Вспомним, что и чартисты в 1830–1840-е годы сделали ставку на социально и политически насыщенное образование для рабочего класса, который в то время устойчиво воспринимался «высшим светом» и административными элитами как темная, глубоко порочная и непросвещенная масса, а оттого — абсолютно недостойная быть допущенной к политическим выборам. Как если бы

дело было вовсе не в электоральных цензах.

Не случайно, видимо, главный идейный лидер умеренного крыла чартистского движения, Уильям Ловетт, в своей книге «Чартизм», написанной в тюрьме и опубликованной в 1840 году, выводит эту тему на принципиально новый дискуссионный уровень. Его главная идея вовсе не казалась тогда крамольной для самой Англии, хотя для стран с централизованными системами образования и по сей день она выглядит абсурдной. Ловетт предлагал, чтобы люди могли бы сами (прежде всего средний и рабочий классы) без участия правительств организовывать собственное образование, исходя только из своих социальных и политических ценностей и целей — без расовой, классовой и гендерной дифференциации. Если задачей просвещения становится повышение гражданской компетентности населения, логически рассуждал Ловетт, то *без властного вмешательства* этого добиться будет всегда проще, чем, собственно, и занимались средние и низшие слои английского общества почти весь XIX век.

Ловетт предполагал проводить занятия по разъяснению смыслов политической системы, верховенства права, разделения властей, прав и обязанностей граждан уже в младших классах. А в старших классах программа должна была стать более глубокой за счет погружения в историю и язык*. Но, пожалуй, для нас самое главное то, что Ловетт, как и многие философы радикальной школы, был категорическим противником всякого государственного контроля и тем более вторжения правительства в школьную жизнь общества. А это, по сути, означало, что он верил в гражданское образование как «штучный», хоть и общенациональный, но все же не массовый образовательный продукт. В противном

* Подробнее о радикализме первой половины XIX века, чартизме и его идейном наследии см.: Heater D. *Citizenship in Britain. A History.* — Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.

случае оно неизбежно станет служить задачам властей предержажших, а не обществу, утверждал Ловетт. Поэтому противостоять политике как «грязному делу» можно лишь эффективной системой гражданско-морального воспитания средних и низших сословий, но обязательно в условиях всеобщего политического равенства. Так, Ловетт успешно разрешил главную дилемму начала века: «Что раньше — всеобщее голосование или гражданское образование?» — в пользу электорального равенства и участия людей в политике. Подлинная свобода (*true liberty*) рождается не из законодательных актов, а идет снизу параллельно просвещению и обретению народом опыта общественных добродетелей*.

Впрочем, этой, как казалось тогда, не вполне устойчивой интеллектуальной схеме так и не суждено было осуществиться на практике. Вплоть до последней трети XIX века Англия придерживается модели автономной «публичной школы», формально и финансово независимой от государства, где власти выполняли лишь функцию внешнего попечителя. И многие правительственные инспекции того времени не вскрыли каких-либо «серьезных причин» для беспокойства относительно качества английского образования**. Однако уже в начале последней трети века правительство Уильяма Гладстона отваживается на решительные перемены в образовательной сфере. Спустя три года после принципиально значимого для судеб стран расширения электорального корпуса в 1870 году парламент принимает Акт Форстера, получивший свое название в честь ответствен-

ного в правительстве за образовательную реформу либерала Уильяма Форстера.

Акт давал властям необходимые полномочия для управления в сфере начального и среднего образования, что, с одной стороны, выравнивало шансы для граждан разного достатка и происхождения, а с другой — существенно видоизменяло английские традиции автономных школ, сословного самообразования и подготовки властных элит. Политическая система в Англии в это время буквально на глазах демократизировалась, допуская во власть все новые группы населения, несмотря на то что формально оставалась империей. И поэтому как никогда ранее задача гражданского просвещения стала восприниматься как актуальная. Популярной максимой в политических кругах становится известное высказывание либерала Роберта Лоу о том, что Англии настоятельно требуется заняться «образованием наших будущих правителей»***. Конечно же, эта мысль была сформулирована с присущим британцам сарказмом, но она воспринималась многими, в частности депутатами парламента, как печальная констатация непросвещенности постоянно разбухающей «электоральной массы».

Начальные школы стали создаваться повсеместно. Для детей от 5 до 13 лет их посещение стало относительно обязательным. В школах запрещались религиозные катехизисы. Управлялись школы местными комитетами, а центральные власти заботились о *единстве* обучающих программ****. В 1885 году выходит в свет первое национальное пособие, рассчитанное на самый широкий круг читателей и выдержавшее множество переизданий, с

* Heater D. *A History of Education for Citizenship*, p. 85.

** *The New Cambridge Modern History*, p. 177–178.

*** Plowright J. *The Routledge Dictionary of Modern British History*, p. 107.

**** Реформа была вполне удачной, хоть и непоследовательной в реализации изначальных идей. У нее было и немало противников, причем не только из стана англиканского клира. Но она, по сути, заложила основы современной английской школы. Plowright J. *The Routledge Dictionary of Modern British History*, p. 108.

незамысловатым названием «Книга для чтения о гражданстве» (A Citizenship Reader). Книга «Британская Конституция и правительство» была одобрена образовательным комитетом специально для преподавания в школах. Впрочем, не меньшую роль тогда стало играть и «скрытое» воспитание (*hidden curriculum*) — правила, ценности, порядки и нормы школ («тональность школы»), которые закладывали ранние зерна гражданственности в характер ребенка, в его первый опыт социальной коммуникации.

Патриотическое воспитание в Британии, так же как и во Франции, в основном реализовывалось на уроках истории, однако к 1900 году лишь в трети английских школ преподавалась история. Возможно, это объясняет гораздо более умеренный пыл британского национализма по сравнению с материковыми странами. Хотя и здесь патриотизм «насаждался» (*inculcation of patriotism*), а школьная история была призвана исключительно объяснять настоящее. Кроме того этот идентификационный «продукт» был густо сдобрен особой имперской приправой. Лояльность и почтение к власти долгое время оставались наиболее чтимыми чертами гражданского характера. И даже в XX веке принято было считать в педагогических кругах, что главное в английском гражданском образовании — это воспитание у ребенка/подростка чувства ответственности перед империей. Казалось бы, перейти «имперский» рубикон Британии так и не удастся. Быстро набравшее авторитет в обществе бойскаутское движение — лишь очередное подтверждение этого.

Однако позитивные сдвиги намечаются еще до распада империи. И прежде всего — в образовательном дискурсе.

Во-первых, становится общепринятым само понятие «гражданское образование». Во-вторых, четко обозначается его миссия — «подготовка ученика к гражданской жизни в современном демократическом государстве». И в-третьих, его программы и методы были уже не столь регламентированными, как раньше. Практика гражданской педагогики того времени выявила важное противоречие между ориентированным на традиции сознанием педагогов и устремленной в будущее логикой современных институтов, правовых и культурных установлений. Самопроизвольное и хаотичное гражданское образование со всей очевидностью уже не устраивало ни правительства, ни общество. Для решения этих проблем в 1934 году в Великобритании частными лицами была учреждена первая европейская Ассоциация гражданского образования (*Association for Education in Citizenship*), ее задачи определялись как исследовательские и методические (*civic training*). Правительство в лице Комитета по образованию мгновенно поддержало эту инициативу и обозначило цели гражданского образования как общеобязательные для начальной и средней школы. Прорывным моментом в деятельности Ассоциации стала новая гражданская дидактика. Как показывает видный исследователь образования Дерек Хитер, до того времени в Британии гражданское образование велось преимущественно *опосредованно*, то есть в рамках программ обычных школьных дисциплин или через опыт внутреннего распорядка жизни в самой школе. Отныне гражданское образование предлагалось давать *непосредственно и напрямую*, то есть в качестве самостоятельного и базового школьного предмета*.

* Heater D. *A History of Education for Citizenship*, p. 96. Подробнее см. у него же: Heater D. *Citizenship in Britain*, Ch. 6.

Очевидно, что тогда сработала идеологическая конкуренция либеральной демократии с европейским фашизмом и коммунизмом, которая лишь поспособствовала безотлагательной институционализации гражданского образования на Британских островах. Но, по сути, Ассоциация не столько решала задачи педагогические, сколько стремилась изменить управленческие привычки консервативных чиновников и заручиться большей поддержкой британских политиков. А они, в свою очередь, оказавшись после Первой мировой войны лицом к лицу с количественно выросшим (благодаря введению всеобщего избирательного права), но качественно все еще незрелым электоральным корпусом, стали первыми заинтересованными лицами в продвижении гражданского образования, поскольку отчетливо понимали, что в мирном электоральном цикле реальными *бенефициариями гражданского просвещения* станут именно они. Ведь тинейджеры, едва покинув учебные классы, сразу же в силу существенно возросшего к тому времени выпускного возраста становились полноправными британскими избирателями. Доктрина гражданского образования, таким образом, к середине 1960-х годов, распространившись по всем коридорам власти, становится вдобавок и полноценным академическим предметом. Не было нужды отныне убеждать кого-либо в его необходимости, на передний план вышли вопросы профессиональных методических разработок и их практической апробации.

Существенно иную эволюцию гражданского образования мы наблюдаем в новой истории США. Отцы-основатели завещали стране простой рецепт демократиче-

ской устойчивости: воспитывайте молодое поколение в духе республиканизма и доверяйте местным властям и чиновникам штатов управление школами. Пока американское общество оставалось относительно простым (экстенсивно развивающаяся цивилизация малых поселе-

Знаковым событием можно считать публикацию выдающимся американским философом Джоном Дьюи (1859–1952) своей главной книги «Демократия и образование» (1916).

Гражданское образование в Америке наконец-то получает полное признание и полноценное научное обоснование

ний), эта модель работала вполне сносно. Но по мере социального усложнения и появления в Америке индустриальных метрополий этот рецепт постепенно утратил смысл. Точнее сказать, его по-прежнему почитали как важное идейное наследие отцов-основателей, но подспудно уже начался поиск новых форм и содержания гражданского просвещения.

Американская концепция гражданства, в отличие от европейской, на протяжении длительного времени в XIX–XX веках испытывала на себе сильное давление в результате ускоренной индустриализации, иммиграции населения со всех сторон света, борьбы с работорговлей, вытеснения коренных народов, этнической и расовой сегрегации, постоянного расширения границ страны. Население больших и средних городов, численность которых по мере развития промышленности росла как на дрожжах, было слабо объединено какими-либо социальными или культурными узами. Все жители были горожанами в первом поколении и одновременно — «чужака-

ми». Бедность и безработица были нормой жизни. Традиции городского коммунального сосуществования создавались буквально с нуля, впрочем, почти во всех американских метрополиях оставались «закрытые» для внешнего мира кварталы (подобно Гарлему в Нью-Йорке). Антиинтеллектуализмом было заражено все общество, от низов до академических верхов, в почете было только профобразование. Широкое использование детского труда неизменно оттягивало большой массив молодого поколения от начального и среднего образования, во многих штатах вне школ оставалось больше половины детей и подростков.

Государственная идеология американского «котла», из которого якобы рождался Новый Свет, отнюдь не предполагала перемешивания народов и языков на равных условиях и в равных долях. Более того, среднее образование как раз и было нацелено на производство из любого детского «человеческого материала» правильных англофонов, республиканцев, протестантов, если не буквально по вероисповеданию (все же католический субстрат был достаточно весомым), то по крайней мере в гражданской этике. Иными словами, абсорбция происходила не столько сама собой и естественным образом, сколько по логике растворения «без осадка» всех иностранных элементов в доминирующей культуре.

Задача просвещения государством ставилась вполне конкретно: всем аборигенам или вновь прибывающим группам населения необходимо было сделать гражданскую «прививку», чтобы внедрить в их сознание (а) основные понятия англосаксонского права, порядка и способа правления, ибо в противном случае они могут представить серьезную угрозу для американского мироустройства; (б) англосаксонское представление о «добре»,

«праведности», «добродетельности», «справедливости»; (в) чувство уважения к американским институтам и национальным демократическим установлениям. Уже к середине XIX века многие штаты отказываются от институционального разнообразия в среднем образовании и переходят на модель так называемых унифицированных начальных школ (common schools), открытых для большинства детей, хотя и с определенными ограничениями. Их цель — формирование нового поколения «добропорядочных» и патриотичных американцев, воспитанных в духе протестантской этики и культуры.

Но поскольку всю первую половину XIX века американцы поэтапно отказывались от электоральных цензов, то наряду с иммигрантами рос и электоральный корпус, все новоиспеченные избиратели — отнюдь не меньшая проблема для гражданского образования. Ведь оно имело дело не с бедняками или просто с необразованными низами, как в Европе, сколько с символически стигматизированными категориями населения (чернокожие, чиканосы, китайцы, краснокожие, иммигранты первого поколения и т.д.). Распространяло ли гражданское просвещение на всех них свое влияние и было ли оно единым по форме и содержанию, до сих пор большой исследовательский вопрос.

Известно, что многие школы, решая задачу ликвидации элементарной безграмотности, преподавали историю, географию, основы конституционного права, но делали они это всякий раз по-своему, что не способствовало культурному единению молодой нации. Равно как и во время служб и на иных церковных собраниях протестантские проповедники не упускали случая просвещать свои конгрегации и пропагандировать демократические идеалы. Многие посещавшие Америку в то время европейцы

нередко описывали эти религиозные встречи как «демократические фестивали»*.

Разумеется, главная дискуссия, которая развернулась вокруг образовательных институтов накануне Гражданской войны (1861–1865), была сфокусирована на темах «открытости» начальной школы и равенства детей разного социального происхождения. Эта дискуссия не столько касалась вопросов содержания и методов гражданского образования, сколько упиралась в неразрешенную в XIX веке американскую проблему интегрированного общества. Школы в разных штатах могли быть интегрированными (то есть в полном смысле — общими и публичными), но чаще все же оставались сегрегационными с отдельным обучением по расовому, конфессиональному и гендерному признаку. И несмотря на все попытки выработать золотую середину, к примеру в виде школьного принципа «допустимая сегрегация, но в условиях равенства детей», Америка практически все Новое время пребывала в состоянии расовой, религиозной и социальной *дизинтеграции*, отчего собственно гражданским просвещением были охвачены в лучшем случае отдельные и плохо связанные друг с другом общественные сектора**.

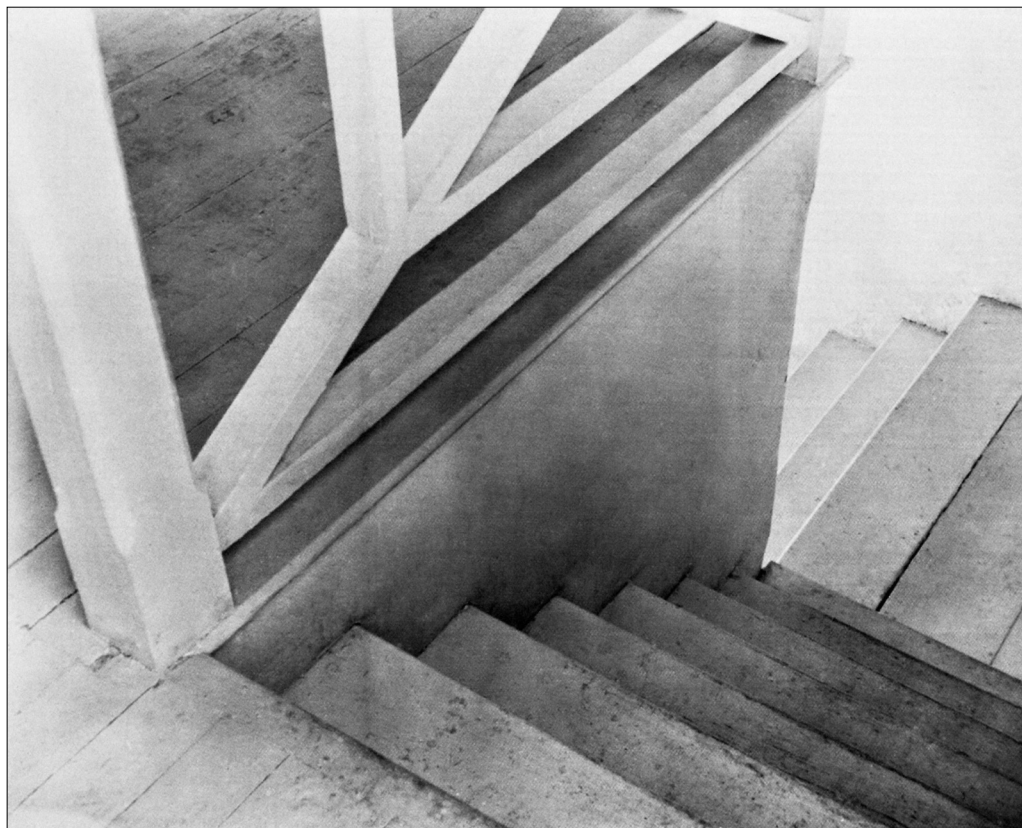
Ни один из реформаторов в истории американского образования не сделал так много для становления современного гражданского образования, как массачусетский политик Хорас Манн (1796–1859)***. Он настаивал на принципе равного и всеобщего доступа детей к образованию и полагал, что государство призвано последовательно этот принцип реализовывать. Манн, как вдумчивый педагог, видел в гражданском образовании (которое, кстати, по старинке называл «политическим») два автономных, но взаимно пересекающихся дидактических вектора: знаниевый и аффективный. Первый отвечал за наполнение интеллектуального багажа ребенка, второй осуществлял прививку социальных чувств (гражданская мораль). При этом он подчеркивал, что оба вектора должны быть строго проведены в жизнь соответственно важнейшему философскому принципу гражданского просвещения — *педагогической нейтральности*.

Будучи долгое время законодателем в представительных органах власти штата Массачусетс, Манн видел в изучении конституции страны и своего штата в публичных школах важный инструмент построения в обществе *единого смыслового пространства*. Ценностные ориентации и политические симпатии разде-

* Среди очарованных Америкой европейцев был и выдающийся французский социальный мыслитель Алексис де Токвиль, который подробно описал и то, как демократия сказалась на национальном характере американцев, и, наоборот, как жизненные устои американцев и их «привычки сердца» (термин Токвиля) повлияли на американскую гражданскую культуру. См.: Токвиль А. Демократия в Америке. — М.: Прогресс, 1992.

** Heater D. *A History of Education for Citizenship*, p. 104.

*** Х. Манн оставил богатое интеллектуальное и политическое наследие. Он удивительным образом сочетал в себе способности практикующего администратора, законодателя и педагога-теоретика. См. о нем: Howe D.W. *Making American Self. Johnathan Edwards to Abraham Lincoln*. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997. — Ch. III: 6; Peterson P.E. *Saving Schools. From Horace Mann to Virtual Learning*. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010. — Ch. 1:2; Welter R. *Popular Education and Democratic Thought in America*. — New York: Columbia University Press, 1962; Williams E.I.F. *Horace Mann. Educational Statesman*. — New York: Macmillan, 1937; O'Connor J.S.D. *The Democratic Purpose of Education. From Founders to Horace Mann to Today* // Feith D. (Ed.) *Teaching America. The Case for Civic Education*. — New York: Rowman, 2011. — P. 3–14; Moran G.F., Vinovskis M.A. *Literacy, Common Schools, and High Schools in Colonial and Antebellum America* // Reese W.J., Rury J.L. *Rethinking the History of American Education*. — New York: Palgrave-Macmillan, 2008. — P. 17–46.



Тина Модотти/Мануэль Альварес Браво. Лестница. 1924–1926

ляют людей, а приверженность к праву, республиканизму и патриотизм делают их солидарными, не только понимающими друг друга, но и говорящими на одном гражданском языке и преследующими свои интересы без применения насилия («пацифистский эффект» гражданского образования, по выражению Манна)*. Возглавив в 1837 году Образовательный совет штата, он последовательно реализовывал свои идеи. Манн посетил многие европейские страны для ознакомления с их просветительским опытом. И пришел к выводу, что шотландский и английский опыт с их локальной автономией и церковным

влиянием скорее подходит для колоний, а вот прусская модель гораздо больше отвечает задачам гражданского единения нации**. Разумеется, он и не мыслил буквально скопировать прусскую модель у себя на родине, где все образование было в руках местных элит. Но в своем штате он создавал локальные библиотеки, основал образовательные центры для учителей, ввел практику коллективного одобрения учебных пособий, освободив тем самым учащихся от идейного диктата со стороны церкви и т.д. Словом, Манн сконструировал успешную методику для остальных штатов страны***. Централизованная система образования,

* O'Connor J.S.D. *The Democratic Purpose of Education*, p. 5.

** Peterson P.E. *Saving Schools*, p. 27.

*** *Ibid.*, p. 29–30.

государственный контроль за программами, официальный учет и статистика, профессиональные педагоги, тренинги для учителей и т.д. Все это практическое наследие Манна было положено в основание американской доктрины гражданского образования во имя новой демократической идентичности и либерального духа молодой нации.

Но в 1861-м началась Гражданская война и, конечно же, она принесла с собой серьезные испытания для американского просвещения. Хотя даже война не поколебала веру американцев в цивилизационную силу гражданского образования: федеральный бюджет образования за десятилетие войны и последующей Реконструкции вырос более чем в три раза. А националистически-либеральный республиканизм северян отныне был положен в основание всего содержания гражданской дидактики. Но сегрегационная разница между школами оставалась не только в пространственном измерении север-юг, но и внутри отдельных штатов. Победа северян в войне запустила часовой механизм образовательной трансформации.

К концу 1860-х существенно вырос удельный вес женщин (как среди учителей, так и учащихся). В 1867 году был организован федеральный департамент образования. А в 1874-м тогдашний его глава Джон Итон распространил циркуляр «Основные положения о теории образования в США», в котором впервые провозглашался принцип всеобщего образовательного права всех детей. И обоснован он был уже не просто потребностью американской индустрии в грамотной рабочей силе, как считалось ранее, а политическим аргументом: без просветительского выравнивания детей всех сословий и происхождения дальнейшее

существование «республики вряд ли возможно»*. Впрочем, образовательные реалии были куда более сдержанными с точки зрения зримого прогресса. По-прежнему преобладала модель школ «сегрегационных, но равных», бюджеты штатов на образование начали секвестрировать, причем даже на севере. А представление о гражданах первого и второго сорта господствовало в массовом сознании до конца столетия.

Начало века — эпоха прогрессизма в президентство Теодора Рузвельта — отмечено новыми преобразованиями, особенно с времени вступления в должность федерального комиссара по вопросам образования Уильяма Харриса (1899–1906). Школа институционально повзрослела и обрела большую автономность. Подобно Манну, Харрис считал возможным укрепление демократической устойчивости всей страны только посредством массового гражданского образования, способного, с одной стороны, подготовить подростка к ответственной роли выборщика, с другой — привить ему защитный иммунитет к агитации и пропаганде, которые обрушиваются на все демократические институты власти. Харрис, как и все его предшественники, верил в объективность такого феномена, как национальный характер, и методически подчинял свою деятельность тому, как материализовать его в школе. Возможно, поэтому незначительные изменения в это время претерпело содержание образовательных программ. Так, по старинке нравственное воспитание отождествлялось с религиозным, а преподавание истории велось скорее в ознакомительных целях: рассказы-нарративы подменяли собой критическое понимание исторического процесса. Да и вообще деятельность педагогов была жестко привязана к

* Heater D. *A History of Education for Citizenship*, p. 108.

учебным пособиям, и всякая инноватика принималась ими в штыки*.

Тем не менее мы фиксируем, что дидактический термин «основы гражданственности» прочно закрепился в языке к 1880-м годам и уже до конца века в Америке были опубликованы по меньшей мере 25 учебных пособий по этому предмету**. Удивительным образом эта издательская активность совпадает по времени с закреплением гражданских церемоний в школах (включая и общегосударственные, подобно обязательному утреннему поднятию национального флага), в которые массово вовлекались дети, подростки всех возрастов. А они, в свою очередь, уже не литературно, а вполне действительно фиксировали в умах молодых американцев коды национальной идентичности. В конце концов на рубеже столетий в дискурсе окончательно закрепляется понятие «сознательный гражданин», описывающее *совокупную гражданскую компетентность*, созданную на базе политического научения, морально-религиозного воспитания и следования символическим ритуалам. Так от Джефферсона до Харриса пропутешествовал один и тот же термин, но с постоянно меняющейся семантикой.

Впрочем, по большому счету весь XIX век можно рассматривать как увертюру к подлинному структурированию гражданского образования в США. И поворотными здесь становятся годы Первой мировой войны. К этому рубежу Америка приходит как лидирующая мировая держава в области гуманитарных и социальных наук об обществе и человеке, с длительной современной политической историей и устоявшимися культурными традициями. Профессиональные сообщества социальных ученых анализируют ситуацию с образованием в

стране и впервые предлагают обществу и политикам свои выводы и рекомендации. Но поистине знаковым событием можно считать публикацию выдающимся американским философом Джоном Дьюи (1859–1952) своей главной и самой шумевшей книги «Демократия и образование» (1916). Гражданское образование в Америке наконец-то получает полное признание в академических исследованиях и полноценное научное обоснование.

Good citizenship в новых структурах гражданского знания становится центральным эмпирическим, а не интуитивным понятием с невнятным смыслом. Миссия гражданского образования трактуется отныне не как первоначальное ознакомление-инструктаж в области того, как устроены и как действуют правительства, конституция и власти, а как глубокое погружение подростка в знаниевые контексты того, что есть общество, что можно и необходимо делать для его усовершенствования, какова в этом процессе ответственная роль гражданина. Иными словами, послевоенное гражданское образование совершает дидактическую «революцию», переходя от *повествовательной-созерцательной* модели познания социального и политического мира, в известном смысле безучастной, к *активистской, включенной и прагматической* модели. Соответственно в фокус внимания в большей степени стали попадать вопросы не федеральные, а самого ближнего мира (региона, города, общины, соседства). И не во имя научного изучения, а с вполне приземленной задачей сделать гражданскую жизнь лучше, здоровее, безопаснее, интереснее, а деятельность ответственных за это лиц и институтов — эффективнее и прозрачнее для гражданского общества. Этой новой философией

* Эта педагогическая эпоха хорошо описана в статье: Olneck M.R. *American Public Schooling and European Immigration in the Early Twentieth Century* // Reese W.J., Rury J.L. *Rethinking the History of American Education*. — New York: Palgrave-Macmillan, 2008. — P. 103–142.

** Heater D. *A History of Education for Citizenship*, p. 113. Особой популярностью в учительской среде пользовалась книга Артура Данна «Община и гражданство» (1907).

пронизаны не только все политические документы образовательных департаментов и комиссий, но и всевозможные методические материалы. Учителям рекомендуется даже на классных уроках больше внимания уделять заботам местного сообщества, коллективным дискуссиям и поиску решений местных проблем и конфликтов.

Джон Дьюи революционизировал теорию и практику гражданского образования*. В центре своего научного видения он разместил «опыт» ребенка и поэтому трактовал школу и семью как «накопителей» первоначального демократического опыта. И если школа формирует свободную личность, то и в будущей взрослой жизни мы можем ожидать от нее адекватного институциональным условиям свободы социального поведения. В настоящем очерке нет возможности даже в общих чертах остановиться на демократической концепции образования Дьюи, этому следует посвятить отдельный очерк. Поэтому отмечу лишь несколько самых важных моментов его теории, применение которой в среднем и высшем образовании привело к серьезным изменениям в мировой философии образования и практики гражданского просвещения.

Дьюи был убежден, что в эпоху общественного прогресса востребована будет такая модель образования, которая (а) формирует в молодом человеке неподдельный интерес в поддержании социальных отношений и (б) направляет его социальный разум на позитивные перемены без анар-

хии и беспорядков в современном гражданском обществе. Образовательные цели, иными словами, стратегически и тактически формулируются исходя из заданного философией и правом «демократического идеала». А это означает *научение свободой во имя самой свободы*. Молодой человек должен научиться экспериментировать и самостоятельно извлекать из них опыт. Но не надо заблуждаться, настойчиво предупреждает Дьюи, демократический идеал в полном объеме недостижим, и именно поэтому он остается вечным мотивом развития и расширения сферы образования в обществе**. Дьюи очень точно конкретизирует смысл концепта «сознательный гражданин». Это прежде всего компетентный и полезный член общества, гражданская деятельность которого обусловлена социальной необходимостью и предполагает адекватные отношения с другими***. И все это в своей совокупности диктует педагогическому сообществу запрос на риторическое, гражданское, научное и моральное просвещение.

Нельзя сказать, что распространение этих прогрессистских идей незамедлительно сказалось на образовательных практиках Америки. Но буквально в первые послевоенные годы в школах были существенно изменены программы, в частности, таких дисциплин, как история, экономика, основы гражданственности. Они преподавались большими циклами, повторяясь неоднократно за годы обучения школьников (не менее трех циклов за 12 школьных лет) с постоянным увеличением объемов знания и извлекаемого опыта, сопровож-

* Дьюи был чрезвычайно популярен у себя в США и в советской России в начале 1920-х годов. Тогда были изданы его главные работы на русском языке («Введение в философию воспитания», «Школы будущего», «Школа и общество»). Нарком образования Луначарский не скрывал своего восхищения его творчеством и в своей практической работе опирался на многие его идеи. Но его главное социопедагогическое сочинение полностью было опубликовано лишь совсем недавно: Дьюи Дж. *Демократия и образование*. — М.: Педагогика-пресс, 2000. См. также: Дьюи Д. *Общество и его проблемы*. — М.: Идея-пресс, 2002.

** Дьюи Дж. *Демократия и образование*, с. 85–87.

*** Там же. Гл. X.

дая тем самым все подростковое взросление и понимание. Эта методология была впервые апробирована в США и до сих пор признана эффективной.

В период до конца 1920-х годов буквально во всех штатах были приняты региональные законы, обязывающие школы проводить обновленное гражданское образование*. Казалось бы, в стране восторжествовало универсальное смысловое пространство. Однако наличие множества пособий, методический дисбаланс, запутанность большинства ключевых понятий и свобода учителей в трактовках гражданственности не способствовали целостности новой системы. Кроме того, на деятельность гражданских педагогов по-прежнему влиял неразрешенный расовый вопрос** и динамика массовых политических настроений (Великая депрессия, Новый курс, Вторая мировая война), которая неизменно мешала гражданскому образованию стать национальным приоритетом. Этот статус оно обретет в США лишь в конце 1970-х годов после драматических изменений внутри американского общества и неудачной вьетнамской войны, когда для всех очевидным становится дальнейшая невозможность продолжения хаоса в сфере гражданского образования.

Подводя краткий итог эволюции гражданского образования в Новое время, хотелось бы обратить внимание на ряд хронологических и тематических совпадений. Всю первую половину XIX века западные элиты отнюдь не спешили с распространением просветительских практик, хотя много дискутировали на эту тему. Индустриальные метрополии только только начали формироваться, а концеп-

ция гражданства еще не отличалась особенным демократизмом. В середине века, после очередных революционных потрясений, во всех передовых странах стало очевидным, что массовое гражданство будет угрожать политической устойчивости, если не приступить к систематическому гражданскому образованию, особенно низших слоев общества, частично получивших право голоса. Это общее понимание сформировалось как под давлением протестных сил снизу, так и благодаря прозрению стратегически мыслящих государственных деятелей. Но в любом случае речь шла уже о либеральной модели гражданского образования.

На рубеже 1870–1880-х годов западные страны-лидеры приступают к широко-масштабным образовательным реформам с точно сформулированными публичными целями. Однако увлечение сюжетами национальной идентичности повсеместно привело к тому, что вместо гражданских наций в западных странах (будущих соперниц в Первой мировой войне) сформировались этнокультурные корпуса гражданских националистов. После мировой войны повсеместно восторжествовал принцип всеобщего избирательного права, усилив тем самым давление на демократическую устойчивость. В дополнение к этому идеологическая конкуренция с европейским фашизмом и коммунизмом принудила либеральные страны к еще более активным шагам в деле институционализации гражданского образования. И наконец заключительный реформаторский рывок был совершен европейцами в последней четверти прошлого века, но о нем речь пойдет в другом очерке.

* *Нарушение или невыполнение этих законодательных предписаний строго каралось. Heater D. A History of Education for Citizenship, p. 118.*

** *Порой складывается впечатление, что гражданское образование в первой половине прошлого столетия в афроамериканской среде было более успешным и результативным, чем в сегрегационных школах. См. об этом, к примеру: Warren K.C. The Quest for Citizenship. — Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2010.*

Конфликт мировоззрений: попытка иррационального объяснения



*Иван Ниненко,
член команды-катализатора
проекта «Глобальное будущее
образования»**

В современной американской гуманитарной науке предпринимаются самые разные попытки объяснить сложившийся мировоззренческий конфликт между сторонниками Демократической и Республиканской партий. Многие эксперты считают, что в настоящий момент разрыв между сторонниками этих партий достиг пугающей величины, что люди, представляющие различные политические лагеря, уже просто не способны понять друг друга. Среди череды публикаций на эту тему отдельного внимания заслуживают работы, выходящие за рамки классической политической теории, в которых авторы интегрируют в свой анализ последние достижения смежных наук, например когнитивной лингвистики и эволюционной психологии. Эти науки, располагая инструментарием для описания и анализа причин иррациональных действий, которые не всегда можно объяснить логически, позволяют тем самым уйти от традиционного политического анализа и по-новому взглянуть на моральные установки, которые лежат в основе конфликта между сторонниками условно «прогрессивной» и «консервативной» политики. В ряде случаев эти моральные установки отражают характеристики, встречающиеся не только в американской культуре. В статье предпринята попытка использовать эту модель для анализа политических процессов.

Почти все социальные науки сегодня находятся во власти представлений о рациональном индивиде эпохи Просвещения. Американский когнитивный лингвист Джордж Лакофф суммирует эти представления следующим образом: мы исходим из того, что человеческий разум можно понять, поскольку он оперирует однозначными понятиями, руководствуется законами логики, универсален для всего человечества, существует отдельно от тела и не находится во власти

* www.Edu2035.org

наших эмоций*. Однако все современные исследования сознания показывают, что человеческий разум не очень похож на ту идеальную машину, которой он виделся ученым прошлого. Некоторые исследования дают основания утверждать, что до 98% наших мыслей проходят вне поля осознанности и их можно считать мыслительными рефлексами**. Не все ученые согласны с такой оценкой, но тот факт, что значимая часть мыслительных процессов находится вне осознанного контроля, уже редко подвергается сомнению. Известная шутка «Не думай о белой обезьяне» иллюстрирует один из таких рефлексов. Понимание ограниченности нашей рациональности, нашей возможности осознанно управлять своими мыслями, заставляет по-новому взглянуть на многие вопросы, задаваемые о «рациональном выборе» и свободной воле.

Разные науки дают свое объяснение тому, как работают «мыслительные рефлексы», благодаря которым формируется значимая часть наших суждений о мире. Дальше пойдет речь о базовых концепциях, предлагаемых когнитивной лингвистикой, хотя, как было сказано, модели, предлагаемые эволюционной психологией, тоже представляют значительный интерес для анализа.

Среди широкого спектра разных научных подходов мы можем выбрать те, которые позволят нам лучше понять исследуемый вопрос. С одной оговоркой: не следует забывать, что любой ученый также рискует оказаться в ловушке *confirmation bias* (собственной правоты), которая является одним из примеров «мыслительных рефлексов».

Согласно ряду исследований, наш разум склонен выбирать из прочитанного лишь то, что подтверждает уже принятую точку зрения, и отбрасывать факты, которые противоречат нашей позиции. Один из ранних экспериментов, указавших на наличие бессознательного фильтра, пропускающего только подходящую информацию, был проведен в 1970-е годы в Стэнфорде***. Его участникам предлагали прочитать и оценить достоверность исследований о последствиях смертной казни в США. Отношение к прочитанному оказалось у респондентов в значимой степени предопределено позицией по этому вопросу, занимаемой еще до знакомства с исследованиями. Данные, которые позволяли сделать выводы, противоречащие их убеждениям, казались им не точными, не убедительными. Тогда как данные, подтверждающие их точку зрения, воспринималась всегда как убедительные. Это лишь один из тех «мыслительных рефлексов», которые необходимо принимать во внимание, если мы хотим лучше понять иррациональные причины политических предпочтений.

Когнитивная лингвистика фокусирует свое внимание на базовых метафорах, *narrative and frames*, которыми оперирует разум. При этом считается,

* См.: Lakoff, G. *The Political Mind: A Cognitive Scientist's Guide to Your Brain and Its Politics*. — Viking, 2009.

** См.: Gazzaniga, M.S. *The Mind's Past*. — University of California Press, 1998. — P. 22–23.

*** См.: Lord, C, Ross, L, Lepper, M. *Biased Assimilation and Attitude Polarization: The Effects of Prior Theories on Subsequently Considered Evidence*. // *Journal of Personality and Social Psychology*. 1979, № 37.

что эти метафоры не только красивые художественные концепты, которые человек может разглядеть в любом объекте искусства, начиная от народных сказок и заканчивая квадратом Малевича. Когнитивные лингвисты убеждены, что они существуют в мозгу на физическом уровне, а их появление обусловлено нейронами, которые связаны с теми или иными мыслями, понятиями или ощущениями, образующими в ходе жизнедеятельности человека устойчивые связи. Эти связи обладают особенностью — сигналы, которые они передают, перемещаются между нейронами, образуя своего рода «колеи», по которым они «привыкли» проходить. В итоге мы получаем наборы из нейронов, которые «привыкли» работать вместе и если какое-то явление активизирует два нейрона — третий активизируется автоматически. Базовые метафоры в сказках выражаются, как правило, базовыми архетипами героя, злодея и жертвы. Например, если мы читаем «Герой ... злодея», то самыми очевидными словами, которые хочется вставить в эту фразу будут «победил» или «убил», не столь очевидным будет слово «простил», а слово «полюбил» возможно только в рамках современного постмодерна, когда авторы намеренно ищут способы шокировать читателя, предложив сюжетные ходы, противоречащие сложившимся нормам, закрепленным на уровне базовых метафор.

Метафоры не только определяют слова, которые приходят нам на ум. Базовые метафоры, наслаиваясь друг на друга, образуют сложные метафоры, жизненные *narrative*, которые определяют нашу картину мира*. А ваш *narrative* и ваши метафоры, в свою очередь, определяют *conceptual frame* (концептуальную матрицу), через которую вы воспринимаете реальность. Эти *frames* определяют поведение человека и позволяют интерпретировать его действия сообразно сложившейся ситуации. Например, фраза «посчитайте нас», произнесенная в ресторане, может восприниматься как «принесите счет», а смысл этой же фразы на игровой площадке будет ближе к ее прямому смыслу — означающему просьбу посчитать количество игроков в команде.

Еще один эксперимент, проведенный в Стэнфорде**, — хорошая иллюстрация силы метафор и матриц, которыми мы определяем (характеризуем) окружающую реальность. На этот раз участники эксперимента играли в классическую дилемму заключенного, где им предстояло выбрать одну из двух стратегий: «сотрудничать» со своим партнером или «предать» его. Участники были разделены на две группы, но одним она была представлена как «Игра в сообщество» (Community game), а другим как «Игра в Уолл-стрит» (Wall Street Game) — улица, на которой расположены крупнейшие финансовые институты в США. Разница в названии — единственное, что отличало участников игры. В результате в «Игре в сообщество» стратегию сотрудничества выбрали более 70% участников, тогда как среди играющих

* См.: McAdams, P.D. *The Redemptive Self: Stories Americans Live*. — New York: Oxford University Press, 2006.

** См.: Lieberman V, Samuels S.M., Ross L. *The name of the Game: Predictive Power of Reputations vs. Situational Labels in Determining Prisoner's Dilemma Game Moves // Personality and Social Psychology. Bulletin 30(9), October 2004.*

в «Уолл стрит» подавляющее большинство игроков решило «предать» своего партнера, лишь 33% участников выбрали «сотрудничество».

Обозначив потенциал метафор и концептов для определения нашего поведения, перейдем теперь к морали и ее влиянию на политические предпочтения индивида. Согласно Джорджу Лакоффу, мораль — достаточно сложный *narrative*, имеющий драматическую и эмоциональную составляющие, каждая из которых закреплена в мозгу на физическом уровне. Это можно представить в виде сцены, роли участников которой формируют драматическую структуру, а эмоциональная структура связывает ее с положительными и негативными эмоциями. Один из ведущих нейробиологов современности, португалец Антонио Дамасио, в своих работах называет эту связь «соматические маркеры»*. Что же касается Лакоффа, то с его точки зрения мораль закладывается через позитивный опыт индивида, когда события, совпадающие с положительными эмоциями, формируют устойчивую метафору. При этом эмоциональная структура не обязана иметь причинно-следственную связь с драматической, при достаточном количестве совпадений обе структуры связаны на физическом уровне.

Например, мы чувствуем себя лучше, когда действуем в освещенном пространстве, и хуже в темноте. Свет и темнота образуют драматическую структуру. Однако эти слова относятся не только к физическому освещению.

Понятия «свет» и «белый цвет» имеют отношение и к моральному качеству: «силы света», «принц на белом коне». В то время как понятия «темнота» и «черный цвет» оказываются на противоположном конце морального спектра и обозначают зло. Или, точнее, определяют концепцию чистоты и разложения в моральном лексиконе: «разложился морально», «гнилой человек», «поступок от чистого сердца» и т.п.

Очевидно, что некоторые моральные конструкции будут отличаться в разных языках под влиянием разных культур, однако частично они пересекаются. В настоящий момент среди лингвистов идет активное обсуждение возможностей выделения универсальных концептов в когнитивной системе человека и о пределах таких универсалий**.

Из общего набора моральных норм Лакофф предлагает выделить две конструкции, которые построены на объединении различных моральных метафор в системы и формируют «прогрессивную» и «консервативную» политические повестки. Обе они строятся на семейных метафорах, и их можно отнести к базовым.

Впервые человек встречается с проявлением власти в рамках семьи, когда родители тем или иным образом устанавливают для него или нее правила поведения. Это определяет смысловую связку семья — институт власти. Далее, в ходе взросления, на эту базовую метафору накладываются новые слои информации. В частности, на определенном этапе метафора семьи переносится на государство.

* См.: Damasio, A. *Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain*. — Pantheon, 2010.

** Переломов Л.С. *Конфуцианство и легизм в политической истории Китая*. — М., 1981. С. 86.



Йозеф Бойс. Сани. 1969

Это может происходить под влиянием родителей, школы, массмедиа или других трансляторов культуры. Избежать этого практически невозможно, метафора «государство» = «семья» прямым образом закреплена во многих языках мира: *Fatherland* (англ.), *Vaterland* (нем.), *Vaderland* (гол.), *Fedreland* (норв.), *Ojczyzna* (пол.), *Татковина* (макед.) и др. Конфуций в своих трактатах проводит прямую ассоциацию: «государство та же семья, только большая»* и использует специальный иероглиф «гоцзя» (государство-семья)**. В русском языке эта связь ясно просматривается в словах «отечество» или «родина-мать». При этом стоит обратить внимание, что в большинстве языков преобладает термин, опирающийся на мужской образ.

При наличии связки «страна» = «семья» значимую роль начинает играть вопрос: как мы воспринимаем семью, какие характеристики приписываем этой базовой метафоре, какие роли заключены в матрице, которую она инициирует. Джордж Лакофф выделяет две разные модели, по которым может

* См.: Александров О.А., Андреева О.А. Универсальные концепты в когнитивной системе человека. // *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. Тамбов: Грамота, 2010. № 3 (7); Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. — М.: Языки славянской культуры, 2001.

** Рубин В.А. *Личность и власть в древнем Китае*. — М., 1993. С. 9.

функционировать семья: «Строгий отец» (Strict Father) и «Заботливые родители» (Nurturing Parents).

Модель «Строгий отец» строится на следующих идеях. В мире много зла, от которого ребенка необходимо защищать. Более того, зло есть и внутри самого ребенка. Чтобы уберечься от беды и встать на правильный путь ребенок должен во всем слушаться отца, мать априори не может справиться с этой ролью. Дисциплина необходима, чтобы научиться контролировать себя и стать самостоятельным человеком, который со временем сможет стать Строгим отцом в своей семье. В такой семье авторитет отца не подлежит сомнению и никто не вправе оспаривать его роль. Мораль базируется на метафорах лояльности, подчинения авторитету и следования указаниям отца. Стоит отметить, что в этом описании Лакофф полностью нивелирует роль матери. Тогда как в его модели «Заботливые родители» одинаково важную роль в воспитании ребёнка играют и отец, и мать. При этом родители устанавливают не жесткие правила, а разумные рамки, которые они не навязывают, а предлагают ребенку. Основной целью его воспитания видится развитие способности к самоопределению и чувства личной ответственности за свои поступки. Дисциплина у «Заботливых родителей» заменяется эмпатией и взаимным уважением. Эта модель не имеет четких гендерных ролей, и каждый родитель выступает в роли доброго воспитателя. Мораль сводится к заботе.

Лакофф не скрывает своего негативного отношения к модели «Строгий отец» и излишне драматизирует ограничения, которым подвергается ребенок. И при этом игнорирует проблемы, которые существуют в модели «Заботливые родители». Его позиция далека от объективной и в то же время довольно характерна для американского академического сообщества, в котором наблюдается очевидное преобладание сторонников Демократической партии.

Как уже сказано, на уровне метафор существует очевидная связь между государством и семьей. И эти модели имеют прямое отношение к тому, как мы воспринимаем политическую реальность. Но это вовсе не значит, что политические взгляды человека определяются типом семьи, в которой он вырос, это было бы большим упрощением. Это две концептуальные модели. Однако жизненный опыт и фон текущих событий влияют на то, какая модель может оказаться предпочтительней, и тогда вся информация будет восприниматься через призму предпочтительности или соответствующего выбора и накладываться на соответствующие метафоры.

То есть человек будет оценивать действия государства в соответствии с ожиданиями, порождаемыми моделью. Если мы считаем, что государство — это «Строгий отец», значит, власть заслуживает уважения и ожидает лояльности от своих граждан. В рамках же модели «Заботливые родители» от государства ожидается поддержка в виде бесплатного образования, общедоступной медицины, заботы о слабых членах «семьи» — инвалидах, безработных и бездомных.

Очевидно, что если человек ощущает повышенную угрозу, у него активизируется модель «Строгий отец». Это можно было наблюдать в США после террористических атак 11 сентября 2001 года.

Образ власти как «Строгого отца», отсутствовавший в 90-е годы, начал постепенно укрепляться и в России с приходом к власти Владимира Путина. К третьему президентскому сроку он стал доминирующим в российском общественном сознании. «Путинское большинство» полностью построено на базе метафоры власти «Строгого отца», способного защитить «неразумных детей» от грозящей опасности. Из множества российских примеров, непосредственно указывающих на фундаментальность этой метафоры, выделяются федеральные законы «О защите детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» и «О защите детей от вредной информации в сети Интернет».

Подтверждает это и процесс составления учебного расписания в школах и университетах. В западной модели образования ученик, студент имеют достаточно большую свободу выбора и, по сути, сами определяют большинство предметов, которые будут изучать в старших классах или в высшем учебном заведении. В России идея предоставить студентам, не говоря уже о старшеклассникам, свободу выбора кажется достаточно абсурдной. Да, чаще всего у них есть возможность выбора среди нескольких курсов, но большая часть учебного плана составляется «взрослыми», и именно они определяют, какие это курсы и какой набор знаний будет лучшим.

Книга «Политический разум» Лакоффа была написана во время второго президентского срока Буша, когда Демократическая партия терпела поражение за поражением. Книга содержит призыв к сторонникам партии осознать опасность сложившейся ситуации, учитывая, что американское общественное мнение оказалось во власти метафоры «Строгий отец». По его мнению, ключевая ошибка демократов заключалась в том, что они продолжают жить «в старую эпоху» Просвещения (Old Enlightenment) и оперировать сухими цифрами, фактами и аргументами. Да, если мы имеем дело с рациональным индивидом, то задачей политика, безусловно, является донесение до избирателя просто фактов и логических аргументов. Однако человек не воспринимает их в отрыве от контекста, который во многом зависит от модели. Во время правления Буша-младшего демократы пытались указывать на экономические последствия его решений, но цифры сами по себе не являются убедительными аргументами для людей, которые видят во власти «Строгого отца». Основной совет, который Джордж Лакофф дает сторонникам «прогрессивных» взглядов — признать важность эмоций и эмпатии, которая заложена в людях, и переформатировать общественную повестку, вернув ее в русло «Заботливых родителей».

Сложно сказать, какую роль идеи Лакоффа сыграли в планировании избирательной кампании Барака Обамы, но его предвыборная риторика явно апеллировала к эмоциям. Отсутствие у Обамы достаточного управленческого опыта поначалу казалось весомым аргументом против его избрания, но ему удалось активизировать несколько героических метафор, и он получил небывалую поддержку избирателей. В том числе и потому, что его семья представляет собой идеальную иллюстрацию метафоры «Заботливые родители», когда воспитание строится на доверии и взаимном уважении.



*Родион Гаршин,
магистр философии,
г. Алма-Ата (Казахстан)*

Об иррациональном объяснении

В середине прошлого века когнитивные науки испытали серьезный взлет, связанный с применением естественно-научного метода в исследованиях познавательных способностей человека. С тех пор когнитивистика, вобравшая в себя множество подходов из различных областей гуманитарных и биологических наук, заняла прочное место в системе современного научного знания о человеке. О важности этой отрасли говорит уже тот факт, что познание есть одно из главных свойств живых существ, обуславливающее их способность ориентации в мире. Будучи осмысленными в своем пределе аналитической философией — продуктом англосаксонской мыслительной культуры XX века, когнитивные науки даже стали претендовать на то, чтобы быть базисом объяснения главной отличительной черты разумных существ и самого источника познавательных способностей человека — его сознания. Сегодня достижения когнитивных наук используются в целом ряде областей, имеющих актуальное значение для понимания личности, способов ее действия и отношения к миру и к обществу, таких как социальная психология, экономика и политические исследования.

Одну из таких довольно интересных попыток применения когнитивной лингвистики для анализа актуальных политических трендов предпринял участник международного проекта «Глобальное будущее образования» Иван Ниненко, от статьи которого я хочу оттолкнуться в своем размышлении на тему иррационального и отношения философии сознания к когнитивным наукам.

Статья Ниненко мне кажется интересной, и я разделяю во многом ее мотивы и установки. Вместе с тем хотелось бы прокомментировать некоторые ее сюжеты и поспорить с некоторыми утверждениями.

Во-первых, само словосочетание «иррациональное объяснение», на мой взгляд, двусмысленно — любое объяснение априори претендует на некую разумность, а здесь, видимо, имеется в виду не объяснение, а объясняе-

мое, так что, если я правильно понял автора, часть названия стоило бы изменить на «объяснение от иррационального».

Автор ссылается на факт растущего обострения противоречий между политическими оппонентами — это верное наблюдение, справедливое не только для США, — не так давно я прочитал, в частности, статью на сайте «Кольта.ру» про так называемую журналистику идентичности в Польше — <http://www.colta.ru/articles/specials/9831> — в первых трех абзацах которой говорится фактически об этом же.

Важную философскую тему поднимает автор, говоря об ограниченности рациональности человека, его возможности осознанно управлять своим мыслительным процессом, о 98% бессознательных «мыслей» и сомнении в наличии свободной воли, хотя в этом, конечно же, нет ничего нового. Для философов во все времена было очевидно, что большинство высказываемых повседневных «мыслей» людьми не рефлексированы, и большинство поступков совершаются не из свободной воли. В частности, метод радикального сомнения Декарта в свое время как раз и был направлен на овладение собственным мышлением, для очищения сознания от всех квазимыслей и представлений. В сочинениях Фрэнсиса Бэкона тоже есть рассуждение об ошибках мышления, об «идолах», которые входят в ум человека помимо его сознания, будучи мыслительными шаблонами, стереотипами и предрассудками. И психоанализ в свое время заявлял об обнаружении иррациональной, бессознательной основы человеческой психики, а сегодня к этому же «открытию» пришли когнитивные лингвисты.

Я считаю, одна из задач философствования состоит в расширении пространства осознанных мыслей и действий, поскольку философ исходит не из представлений о рациональном индивиде и удивляется не тому, что не все мысли осознанны, а тому, что некоторые мысли все же ясно осознаются и некоторые поступки совершаются свободно. То есть он исходит из отсутствия в человеке разума и воли как природных качеств — из так называемого ничто-человека. Если взглядеться внимательнее в историю человеческого разума, то становится понятно, что само представление о человеке как рациональном существе возникло не в последнюю очередь как побочный продукт усилий самих философов-рационалистов по расширению пространства контролируемых сознанием и волей мыслей и поступков. По сути, это представление является таким же стереотипом, как и все те шаблоны и привычки мышления, о которых говорится в статье Ниненко. В Новое время философам удалось существенно расширить рациональное пространство человеческой мысли, и вскоре, в силу той самой иррациональной привычки принимать все сделанное как данное, возникло представление о человеке как естественно рациональном существе. Появились все те слова и представления, действующие подобно «идолам площади» Бэкона*, в которых, как в зеркале, отразились достижения человеческой мысли, и в результате причина и следствие в самосознании людей поменялись местами. Постепенно утвердилось мнение, что человек есть рациональное существо не потому, что ему удалось совершить некие рациональные мыслительные акты, а сами эти акты удалось совершить потому, что

* Говоря об этого рода идолах, Бэкон приписывает слову буквально «колдовскую силу», способность «всячески сбивать мысль с правильного пути, совершая некое насилие над интеллектом, и, подобно татарским лучникам, обратно направлять против интеллекта стрелы, пущенные им же самим» (Фрэнсис Бэкон. Великое восстановление наук. — Соч. в 2 т. Т. 1. — М.: Мысль, 1977. — С. 309).



Аниш Капур. Без названия. 2010

человек от природы — рациональное существо. Так родилась идеология разума, ставшая доминантной философской идеологией в эпоху Просвещения. А ее развенчание началось после Второй мировой войны в философии постмодерна, сегодня свой вклад в это вносят и когнитивные исследования, на которые ссылается Ниненко. Однако преодолеть представления, складывавшиеся в течение сотен лет, оказывается не так-то просто, и в этом тоже проявляется иррациональность человеческой природы.

Любопытно, кстати, что в одном месте Ниненко утверждает, и это его утверждение имеет силу, только если принять установку предзаданности рационального в человеке, которую он разоблачил как иллюзию страницей выше: «Среди широкого спектра разных научных подходов мы можем выбрать те, которые позволят нам лучше понять исследуемый вопрос» (с. 3), — и, сам чувствуя это, делает оговорки, из которых дальше и развивает суть своего аргумента.

Само же содержание этого аргумента — представления о проторенных синаптических тропах мышления, «привычках» нейронов и «базовых метафорах» Лакоффа, приведенные автором (с. 4), — не вызывает сомнений и выглядит весьма основательно. Научную истину этих фактов трудно отрицать; проблема лишь в том, что все эти сведения относятся исключительно к нейрокогнитивной лингвистике, а не к философии (сознания или языка), поскольку описывают натуральное положение вещей, а не то, как нам нужно с этим поступать и как относиться к этому. Чтобы осознать это как проблему — уже нужно философское отношение. Ведь в принципе можно было бы внутренне примириться с этим, отнестись «философски», воспринять как должный порядок вещей — сами по себе эти знания не побуждают ни к какому образу действия. Действительно же философским актом

было бы преодоление этих базовых метафор и автоматизмов мышления, чем, собственно, и стали когда-то заниматься Декарт и Бэкон, сделав те самые выводы, к которым сейчас приходят Лакофф и другие когнитивные лингвисты. То есть то, что давно было понято, сейчас заново раскрывается в терминах, отсылающих к физическим событиям. И эти естественно-научные исследования дают эмпирические основания для единственно возможного философского вывода, который и делали великие философы Нового времени. А именно что рациональность не дана человеку от природы, что она может быть только продуктом собственных усилий человека и действия в нем неких интеллигибельных вещей, умопостигаемых форм, внутри которых только и возможно рациональное мышление.

Общая идея статьи, насколько я понял автора, — поддержать аргумент об иррациональности человеческой души или ума. Но способ объяснения, к которому он прибегает, вполне рационален: с точки зрения Лакоффа, как она пересказана автором — как теория условных рефлексов академика Павлова, формирование политических взглядов человека представляется вполне рационально познаваемым процессом. Но в таком случае иррациональным будет сам факт того, что рациональность этого процесса настолько проста, что может быть описана теми же средствами, какими описываются явления природы, то есть в одной из парадигм классической рациональности. Здесь сразу приходит на ум расхожее высказывание, пущенное в оборот современным биологом Лайеллом Уотсоном: «Если бы мозг был настолько прост, что мы могли бы его понять, мы были бы так просты, что не смогли бы этого сделать».

Еще один важный момент, на который хотелось бы обратить особое внимание, касается вопроса правильного обращения с языком. Развивая свой аргумент, автор

отождествляет родину с государством и не ссылается на различия между обществом и государством, какие существуют в языке. Примеры, которые он приводит, не точны: и «Отчизна», и «Фатерлянд» — слова, обозначающие не государство, а просто родину, страну, которая может ассоциироваться с землей, территорией, местностью, в которой ты вырос, и с обществом, которое говорит на родном тебе языке. Идентификация отечества с государством (а тем более с конкретным правящим режимом) есть ошибка, которая подлежит выявлению в первую очередь. Здесь возможны метафоры противоположного свойства, чем те, на которые ссылается автор: например, «семья — ячейка общества», или те, которые возникают вместе с появлением понятия патриотизма в западной культуре. Ведь патриотизм как артикуляция любви к земной родине проявляется лишь в довольно позднюю эпоху в связи с процессами секуляризации европейских обществ и образования национальных государств, без них чувство патриотизма не имело бы референта. Здесь государство имеется в виду не как правительство, а как страна, имеющая определенное общественно-политическое устройство, и в европейских культурах эта различенность государства и страны имела место с момента возникновения понятия патриотизма. Например, один из «крестных отцов» США, философ и публицист Томас Пейн, говорил, что «долг патриота — защищать свою страну от ее правительства», а лозунг французской революции «Отечество в опасности!» призывал к борьбе за внесловную нацию равных в своих политических правах граждан, а вовсе не к защите действующего правительства и абсолютистского режима — в этих примерах употребления понятия патриотизма, как видим, не содержится и следа метафоры «государство-семья». В тех же случаях, когда понятие патриотизма изначально вводилось в язык как представление о лояльности правительству и

монарху (как это было в России начала XIX века) или когда оно приобретало значение неприятия всего иностранного при одновременном слепом восхвалении всего отечественного, общественная мысль реагировала на это едкими эпитетами, вскрывавшими негативную суть такого понимания любви к родине — это «квасной» или «казенный» патриотизм. Стоит вспомнить Льва Толстого, который видел в государственно-патриотических лозунгах не что иное, как оправдание очередной предстоящей войны и подталкивание масс незнакомых людей к взаимному убийству («Христианство и патриотизм»). И в XX веке понимание патриотизма еще более отдаляется от значения преданности правительству. Ф. Рузвельт, например, утверждал, что «патриотично поддерживать свою страну, а не правительство — правительство и президент заслуживают поддержки только в той мере, в какой они служат интересам страны». Здесь мы видим четкую расстановку приоритетов, и это отношение характерно для всей западной мысли последнего столетия — понятийное различие государства и страны, общества, семьи выдерживается так же неукоснительно, как реальное политическое разделение ветвей власти.

Семья-государство Конфуция, к которому апеллирует Ниненко, — это уже пример восточного, традиционалистского восприятия, которое в европейских культурах выражено значительно слабее. Здесь автор, на мой взгляд, драматизирует ситуацию и далее опирается на эту драматизацию.

В целом лингвоаналитический подход автора к теме мне близок и наши результаты в значительной мере совпадают, однако из его рассуждений может создаться впечатление неизбежности признания и необходимости следования модели «Строгого отца» как санкционированной языковыми конструкциями. Это был бы столь же пессимистический

вывод, сколько и ошибочный. Дело в том, что язык, и в особенности те его слои, к которым обращается автор — вторичные языковые образования (фиксирующие лишь некий частный опыт), в принципе способен отражать как истинные, оправданные представления о своих референтах, так и ложные, неоправданные взгляды на некоторый предмет. Если мы слишком доверяем таким представлениям, то попадаем в зависимость от того, что со временем может выясниться как ложное, несуществующее, — скажем, может выясниться, что никакого «государства как Строгого отца» на самом деле не было, и то, что обозначалось этой метафорой, должно рассматриваться в совсем других, гораздо менее лестных терминах (как это уже было не раз в российской истории). Поэтому, я считаю, метафоры такого рода должны преодолеваться обращением к первичным слоям языка, лежащим за их терминами, — к неким первичным тавтологиям, согласно которым семья — это семья, общество — это общество, а государство — это государство, и они должны быть различены со всей тщательностью для того, чтобы между ними могли существовать сложные и многообразные отношения, оставляющие личности пространство свободы действий, совместимых со свободой действий других.

Возвращаясь к теме статьи, я полагаю, ошибочно было бы принимать метафоры Лакоффа за глубинные слои языка — скорее они являются поверхностными*, и для устранения эффекта фундаментальности метафоры «государство-семья», который возникает от следования главному аргументу, я добавил бы отсылку к понятию

априорной необходимости, вытекающей из логики самих терминов языка, а не из предшествующего опыта той или иной культуры в виде метафор и прочих вторичных языковых образований.

Не уверен, нужно ли было автору вводить в свой аргумент различие между априорным и апостериорным слоями значения — это потребовало бы значительного изменения концепции. Но мне кажется, по меньшей мере ему стоило бы сделать оговорку того рода, что описанная им метафора государства-семьи не поддерживается априорным слоем значения языка, который четко различает государство и общество. Автор утверждает: «Как уже было сказано, на уровне метафор существует очевидная связь между государством и семьей» (с. 9). Но эта связь существует, повторяю, между семьей и родиной, а не государством, или между семьей и государством на уровне intersubjectively разделяемого опыта, но не логики языка; априорной связи между родиной и государством нет! В своих самых глубинных априорных слоях язык не содержит прямого указания на то, какое понимание слова «родина» является более правильным — «родина» как «правительство» или «родина» как «народ», и вследствие этого остается нейтрален относительно различных трактовок понятия патриотизма, поэтому здесь возможны метафоры обоого рода. Правда, этимология слов делает некоторые трактовки понятий более или менее вероятными, чем другие. Так, например, русское слово «государство» происходит от словосочетания «дар Господа» и тем самым как бы подталкивает пользователя языка считать главу государства божьим помазанником; английское же *state*, как и француз-

* Для осмысления этого полезно припомнить то обстоятельство, что Лакофф как лингвист начинал с исследования трансформационной грамматики Хомского, а к теории Хомского может быть предъявлена та претензия, что в ней поверхностные пласты языка принимаются за глубинные, и наоборот, как указывают М. Мамардашвили и А. Пятигорский: «С нашей точки зрения, то, что Хомский считает глубинным планом, на самом деле не глубинный, а, наоборот, «верхний» план языка» («Символ и сознание: метафизические рассуждения о сознании, символическом и языке». — М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. — С. 93).



Ширин Нешат. Женщины аллаха. 1995

ское *état* или немецкое *Staat*, имеющие единый корень, обозначают просто «состояние». Некое общественное состояние организованного порядка, основанного на определенных установлениях — статутах, не имеет ничего общего с «даром» и «Господом». Этимология дает интересные нити для размышления и позволяет выдвигать смелые гипотезы, но она не может быть ключом к значению слова просто потому, что не касается семантического содержания слова, а отслеживает только его семиотическую форму — в этом она представляет собой пример случайного априори, а не необходимого. В повседневной

жизни никто не пользуется словами, сообразуясь с их этимологическими значениями (разве что ради юмора), иначе слово «работа» пришлось бы употреблять в значении, связанном со словами «раб» и «рабство», а обращение «господин» использовать только по отношению к вышестоящим. Это было бы нелепо, иррационально, но, к сожалению, этимологические значения слов очень часто неосознанно влияют на формирование соответствующих понятий в уме индивида — здесь действительно остается много места для иррационального, бессознательного следования буквальным, архаическим представ-

лениям, внушенным внешней формой слов. Пространство рациональных смыслов в обыденном языке еще очень невелико, и задача его расширения — задача преодоления иррациональности бытового и гражданского мышления — есть в конечном счете дело каждого отдельного пользователя языка как участника коммуникации. Великие философы-рационалисты очень могут в этом помочь, но они не сделают всю работу за нас.

В целом рациональность в гуманитарной сфере означает совсем не то, что в применении к объективному миру, — странно было бы ожидать, что строгая научная рациональность будет определять межличностные и социальные отношения. Поэтому, философски говоря, настоящей задачей является выработка такого типа рациональности, который рационализировал бы иррациональные мотивы субъектов интеракции и приводил их к некоему единому знаменателю.

Рассуждая в своей статье об иррациональном в политике, автор указывает на еще одно существенное обстоятельство, которое препятствует рациональному диалогу между носителями противоположных взглядов, — это то, что «человек не воспринимает факты в отрыве от контекста, который во многом зависит от frame» (с. 11). Это обстоятельство не уникально для сферы политики и имеет более широкое философское значение. В теории познания оно называется невозможностью оценки фактов независимо от языка описания теории, или теоретической нагруженностью факта. В социальных науках и теории коммуникации Ю. Хабермас говорит о «фоновом знании», на которое опирается субъект в подходе к различным актуальным вопросам. Он указывает на некий «горизонт невопрошаемых, intersubъективно разделяемых, нетематизированных определенностей, которые участники ком-

муникации имеют «у себя за спинами»*. И в ходе овладения навыками социального, политического общения коммуниканты, по Хабермасу, должны достигать того уровня компетенции, который позволяет отделить эксплицитно *известное* от имплицитно *несомненного*, для того чтобы относительно первого можно было достичь какого-то согласия, основанного на доводах разума. Так вот, эти имплицитные и несомненные «невопрошаемые определенности» и есть «иррациональное» применительно к обсуждаемой сфере политики и общественных отношений — было бы намного полезнее рассматривать его в таком более артикулированном виде, потому что словечко «иррациональное» само по себе бессодержательно, оно имеет сугубо негативный смысл, и, пользуясь им, далеко не уедешь в анализе реальных проблем и явлений. Ведь иррациональное, скажем, в математике — это совсем не то, что иррациональное в психологии (при всем формальном сходстве), и любое объяснение в конечном счете упирается в понятие иррационального как в конечный пункт, за которым оно теряет смысл. Поэтому данное понятие всегда нуждается в конкретизации и рационализации, для того чтобы стало возможным дальнейшее осмысление проблемы как первый необходимый шаг на пути ее решения.

Я хотел бы поставить некий знак препинания в этом непростом разговоре цитатой известного британского писателя и морального философа XX века Артура Кёстлера, емко и точно выражающей, как мне кажется, ту же социально-психологическую проблему, которой посвящена статья Ниненко. Она звучит так: «Когда индивид отождествляет себя с группой, его способность здравого рассуждения уменьшается, а его страсти усиливаются своего рода эмотивным резонансом и позитивной обратной связью».

* *Habermas J. Moral Consciousness and Communicative Action. — MIT Press 1995. — P. 138.*



*Татьяна Ворожейкина,
преподаватель
Московской высшей школы
социальных и экономических
наук*

Институты и демократия в современном мире: Бразилия – от успеха к провалу

2016 год должен был стать годом триумфа Бразилии. Первые на латиноамериканском континенте Олимпийские игры, право на проведение которых выиграл Рио-де-Жанейро, были призваны продемонстрировать всему миру экономические и социальные успехи страны, ее превращение в стабильную демократию и одного из наиболее динамичных мировых лидеров. «Олимпийские игры, так же как и Кубок мира по футболу, замышлялись как апофеоз вечной страны будущего, которая наконец достигла великолепного настоящего*». Именно так ситуация виделась в 2009-м, в год подъема и успеха Бразилии, которому, казалось, не будет конца**. Выступая по телевидению после того, как Рио-де-Жанейро был объявлен местом проведения Олимпиады-2016, тогдашний президент страны Луис Игнасиу Лула да Силва сказал: «Я чувствовал громадную, громадную гордость, представляя Бразилию. Сегодня был священный день для меня. Признаюсь вам, что даже если бы я сейчас умер, все равно имело смысл жить. Потому что Рио-де-Жанейро, Бразилия продемонстрировали миру, что мы завоевали абсолютное право на гражданство. Абсолютное и подлинное. Теперь ни у кого нет сомнений в экономическом величии Бразилии, в ее социальном величии, в нашей способности выполнить [олимпийскую] программу»***.

И вот наступил 2016 год. На церемонии открытия Олимпийских игр 5 августа не было ни Лулы, которому за неделю до этого было предъявлено официальное обвинение в препятствовании правосудию и попытках купить молчание одного из обвиняемых по делу о коррупции в государственной нефтяной компании Petrobras; ни преемника Лулы на посту президента Бразилии в 2011–2016 годах Дилмы Руссефф, которая с 13 мая 2016-го временно

* *Eliane Brum. Brasil llega a los Juegos Olímpicos sin rostro, El País 2.08.2016.*

** *В 2009 г. Мировой банк прогнозировал, что в 2016 г. Бразилия станет пятой экономикой мира.*

*** *Ibid., El País 2.08.2016.*

отстранена от должности и находится в процессе рассмотрения вопроса об импичменте. Олимпийские игры открывал временно исполняющий обязанности президента Бразилии вице-президент Мишел Темер. Его речь продолжалась всего десять секунд и была заглушена свистом публики, собравшейся на стадионе «Маракана».

Вместо ожидавшегося апофеоза 2016 год стал годом жесточайшей экономической рецессии и глубочайшего политического кризиса. Падение валового внутреннего продукта в 2015-м составило 3,1%. В 2016-м ВВП Бразилии по прогнозам сократится на 3,5%. Уровень инфляции приближается к 10%, а безработица превышает 11%, что для Бразилии довольно много. Но главное, конечно, это политический кризис, до основания потрясший институты бразильской демократии и приведший к отстранению от должности избранного президента всего через 15 месяцев после ее инаугурации на второй срок 1 января 2015 года.

Этот кризис особенно показателен, поскольку в последние 30 лет процесс создания и укрепления демократических институтов в Бразилии, обретения ими публичного характера и, как казалось, отделения их от частных интересов правящих и господствующих групп был общепризнанной историей успеха в Латинской Америке и за ее пределами. Политический кризис 2015–2016 годов свидетельствует об обратимости этого процесса и хрупкости демократических институтов.

История Бразилии последних 50 лет — это история многократных и разнообразных успехов и провалов. Успехов, которые несли в себе семена последующих неудач и обрушений, но и провалов, выход из которых основывался на существенном обновлении экономических и политических структур.

Первый успех такого рода — экономическая политика военной диктатуры, нахо-

дившейся у власти в Бразилии с 1964 по 1985 год. Эта хрестоматийная *success story*, ставшая уже избитым примером так называемой авторитарной модернизации, успешной экономической трансформации, осуществленной авторитарным режимом, который, как считается, таким образом подготовил социальную и экономическую почву для последующей политической демократизации. На мой взгляд, это предельно упрощенная и в конечном счете неверная трактовка как процесса модернизации вообще, так и смысла того, что произошло, в частности, в Бразилии в годы господства авторитарно-бюрократического режима.

Бразильское «экономическое чудо» 1968–1973 годов выразилось в кратковременном экономическом рывке, позволившем стране преодолеть внутренний барьер индустриализации и перейти от ее «легкой» к «тяжелой» фазе. В течение этих пяти лет темпы роста ВВП в Бразилии превышали в среднем 10% в год, в то время как среднегодовые темпы роста промышленного производства составляли 20%. Бразильская экономика в этот период достигла рекордной нормы инвестиций — 22%. В основе этого успеха лежала крупномасштабная переориентация бразильской экономики на производство экспортной продукции в условиях благоприятной внешней конъюнктуры и, главное, увеличение внутреннего спроса на товары длительного пользования. Автомобильное производство, развернутое в Бразилии крупнейшими транснациональными корпорациями Ford и Volkswagen, стало символом и мотором ее экономического процветания. Внутренний рынок для автомобилей и других дорогостоящих товаров длительного пользования обеспечивался с помощью целенаправленной государственной политики перераспределения, путем концентрации доходов в руках меньшинства — 15–20% высших и средних слоев населе-

ния, способного приобретать товары, изготовленные по новейшим техническим стандартам. Одновременно на треть сократилась доля заработной платы в ВВП, что было достигнуто при помощи репрессий и фактического разгрома профсоюзов, бывших влиятельной политической силой в 1950-х — первой половине 1960-х годов*.

Таким образом, экономический прорыв в Бразилии сознательно осуществлялся за счет большинства — трудящихся и низших слоев населения в целом. Политически это обеспечивалось масштабными и жесткими репрессиями против левых и демократически настроенных политических деятелей, профсоюзных руководителей и активистов общественных организаций. Людей пытали, убивали, они исчезали бесследно. Именно бразильский военный режим 1964–1985 годов положил начало убийствам, систематическим пыткам и «исчезновениям» политических противников, а также «эскадронам смерти» как главному оружию так называемого экстраофициального террора. Правда, по прошествии времени бразильский режим стал казаться вполне вегетарианским по сравнению с еще более чудовищной практикой военных режимов, пришедших к власти в 1970-е годы в Чили, Уругвае и особенно в Аргентине.

Социальной ценой бразильского «экономического чуда» стало резкое нарастание неравенства: в результате успеха экономической политики военного режима Бразилия в течение четырех десятилетий оставалась страной с самым неравномерным распределением доходов в Латинской Америке. В 2002 году доля верхних 20% составляла 62,3%, а доля

верхних 10% — 46,3% располагаемых доходов**. *Политической ценой* было разрушение демократических институтов и создание на их месте институциональной структуры авторитарного режима. Разогнав в 1964 году представительные органы всех уровней, запретив политические партии и отменив политические права большинства активных деятелей демократических и левых организаций, в 1968-м военные создают псевдопредставительную систему на федеральном уровне и уровне штатов, допустив к участию в выборах только две разрешенные режимом партии — правящую партию АРЕНА (Национальный союз обновления) и оппозиционное Бразильское демократическое движение. К системе реальной власти эти органы и эти выборы никакого отношения не имели. Пост президента каждые пять лет замещал генерал, старший по званию и выслуге лет в вооруженных силах; президент назначал губернаторов штатов, которых затем одобряли соответствующие законодательные собрания.

Кроме того, в отличие от латиноамериканских авторитарно-бюрократических режимов второго поколения (Чили, Уругвай и Аргентина), проводивших ультралиберальный экономический курс, бразильский режим был этатистским: в основе его экономической политики лежал государственный дирижизм и протекционизм по отношению к частному сектору. Государство было важнейшим партнером транснациональных корпораций и бразильских частных компаний: государственное регулирование экономики сыграло решающую роль в мобилизации внутренних и внешних накоплений и их привлечении в средне- и долгосрочные производ-

* См.: Татьяна Ворожейкина. Авторитарные режимы XX века и современная Россия: сходства и отличия // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. Левада-Центр. № 4 (102) 2009.

** World Development Indicators. World Bank, 2006, Table 2.9.

ственные капиталовложения. Государственный сектор в годы военного режима приобрел невиданную в истории Бразилии силу и самостоятельность, обеспечивая до 40% капиталовложений и около 50% занятости. В государственной собственности находились наиболее экстенсивные, капиталоемкие отрасли экономики (инфраструктура, металлургия, добывающая промышленность, производство вооружений, добыча и переработка нефти).

Таким образом, глубочайшее социальное неравенство, разрушение демократических институтов, насилие как основа отношений власти и общества, ведущая роль государства в экономике — все это и многое другое стало платой за успешную модернизацию экономики в 1970-е годы. Этот успех обернулся длительной экономической стагнацией в 1980–1990-е и нес в себе семена тех трудностей, с которыми столкнулась Бразилия в период демократизации.

Мирный переход от авторитаризма к демократии является второй бразильской историей успеха, вошедшей во все учебники политологии и транзитологии под неудачным, на мой взгляд, названием *пакта элит*. Соглашение о не прямых выборах президента Бразилии, на которых в марте 1985 года победил кандидат от оппозиции Танкреду Невеш, наряду со знаменитым «Пактом Монклоа» в Испании (1977), считается примером успешной договоренности между правящими и оппозиционными группами элит, позволившей обеспечить постепенное «размягчение» авторитарного режима и его поэтапную трансформацию под контролем «сверху», без потери управляемости и выхода на поверхность разрушительных социальных сил. Именно так воспринимается пакт элит в российской либеральной публицистике — как самый безболезненный и самый эффективный способ перехода от авторитарно-

го режима к демократии, в том числе и в России.

С моей точки зрения, это сугубо искаженная картина того, как в действительности осуществлялся переход к демократии в Бразилии (и в Испании). Прежде чем выходцы из авторитарного режима и лидеры оппозиции смогли договориться, в течение десяти лет в Бразилии развивалось мощное демократическое движение, которое включало студентов, интеллектуалов, неправительственные организации, ассоциации адвокатов, журналистов, влиятельную часть епископата католической церкви, и параллельно ему — движение социальное, которое возглавили новые профсоюзы, возникшие на автосборочных предприятиях пригородов Сан-Пауло. Одним из руководителей демократического движения был будущий президент Бразилии Фернанду Энрике Кардозу, выдающийся ученый, социолог с мировым именем, который в 1968 году был поражен в правах и вынужден был на несколько лет уехать из страны. Профсоюзы возглавлял рабочий автозавода Луис Игнасиу Лула да Силва, выходец из самых низов бразильского общества, человек без образования, сумевший стать лидером Партии трудящихся и затем самым популярным президентом в демократической истории страны.

Когда началось демократическое движение в Бразилии, один из его лидеров, будущий президент страны Фернанду Энрике Кардозу начал искать союзников в первую очередь в рабочем движении, опираясь на которое демократическая оппозиция успешно расшатывала единство правящего блока. Есть замечательная фотография, где два будущих президента Бразилии — Фернандо Энрике Кардозу и Луис Игнасиу Лула да Силва — вместе стоят на трибуне на одном из митингов. Это потом, после восстановления демократии, они разошлись по своим



Джоанна Васконселос. Эмелина. 2011

квартирам, стали политическими противниками и соперниками в борьбе за президентский пост, когда каждый представлял и олицетворял собственный проект развития страны.

Без мощного демократического и социального движений никакой пакт элит в Бразилии был бы невозможен. Представление ряда российских либеральных публицистов о том, что суть процесса демократизации в Бразилии заключалась в простом отказе бразильского правящего класса от услуг военных по управлению страной, является в корне неверным. Чтобы это произошло, необходимо было наличие мощного внесистемного оппозиционного движения, включавшего социальные требования трудящихся и — шире — «низов», большинства населения. Иначе говоря, нужна была сила и постоянное давление общества, которые неуклонно подталкивали властные группы внутри диктатуры к заключению компромисса с оппозицией. Постепенная трансформация авторитарного режима в Бразилии представляла собой историю десятилетней борьбы общества за демократию, а не закулисную сделку внутри правящего блока. Бразильский опыт свидетельствует в первую очередь о том, что переход к демократии является успешным в том случае, когда он становится делом всего общества, а не только его активного либерального меньшинства.

Тем не менее первые годы демократии в Бразилии были и экономическим, и институциональным провалом. Экономические неудачи первого десятилетия гражданского правления объяснялись стремлением сохранить этатистскую модель экономики, которая была столь успешна в годы диктатуры и которая

исчерпала себя к середине 1980-х годов. Институциональный провал был связан с традиционной, проклятой для политического развития Бразилии в XX веке проблемой включения в политическую систему тех людей, которых исключала система социально-экономическая. Напомню, что именно такая, «исключающая» большинство населения модель лежала в основе высоких темпов экономического роста в 1970-е годы. Это проблема беднейшего, в том числе так называемого маргинального населения страны* — той его половины, которая в конце 1980-х — начале 1990-х годов выживала в рамках серой, неформальной экономики и не считала политические каналы представительства сколько-нибудь эффективным средством отстаивания своих интересов. Вместе с тем существующая система социального господства, на защиту которой и был направлен переворот военных 1964 года, исключала самостоятельное участие низов, «народного сектора» в политической системе.

С началом демократизации ситуация коренным образом изменилась. С 1979 года, после осуществления военным режимом политической реформы, в Бразилии появилась сильная и самостоятельная, независимая от государства левая Партия трудящихся (ПТ). Она опиралась на организованное профсоюзное движение, на ассоциации мирян католической церкви («низовые» христианские общины) и включала в себя уцелевших участников городских партизанских движений против диктатуры, активистов многочисленных левых партий** и объединений гражданского общества.

Лидер ПТ Лула, по всем опросам общественного мнения, должен был победить на первых прямых выборах президента

* *Тех, кто покинул сельскую местность, не нашел легальной работы в городах и живет в поселках нищеты — фавелах, окружающих все крупные бразильские города.*

** *Не связанных с руководимым КПСС «международным коммунистическим движением».*

страны в 1989 году. Перед лицом этой опасности большая часть правящих и господствующих групп сплотилась вокруг губернатора маленького северо-восточного штата Алагоас, Фернанду Коллора ди Мелу. За несколько месяцев крупнейшая бразильская телевизионная кампания «Глобу» сделала из практически неизвестного в стране человека «избирабельного» кандидата в президенты. Во втором туре голосования Коллор получает 50,01% голосов* (на 5,71% больше, чем у Лулы) и в марте 1990-го вступает в должность президента страны, впервые после 1960 года избранного на прямых демократических выборах.

Став президентом, Коллор, однако, не получил серьезной поддержки в конгрессе. Выдвинувшая его кандидатуру Партия национальной реконструкции собрала 8% голосов и получила всего два места в сенате и сорок в палате депутатов, что было явно недостаточно для проведения самостоятельной экономической политики и тем более для осуществления экономической реформы. Потребность же в ней была самой настоятельной: исчерпание ресурсов той экономической модели, которую осуществлял военный режим, привело на рубеже 1980–1990-х годов к экономическому кризису. Достаточно сказать, что, по данным Бразильского института географии и статистики, инфляция в 1989 году составила невероятную цифру — 1764%. Однако, согласно принятой в 1988 году Конституции Бразилии, для проведения экономической реформы, включающей либерализацию, приватизацию и реформу государственного бюджета, необходимо было каждый раз получать поддержку квалифицированного

большинства — двух третей конгресса. Бразильская партийная система крайне дробная, в стране действуют десятки политических партий**, которые вступают друг с другом в самые причудливые коалиции как на федеральном уровне, так и особенно на уровне штатов. На федеральном уровне эта система получила название «коалиционного президентства». Иначе говоря, чтобы править законно, президент должен формировать политическую коалицию в конгрессе вокруг каждого законопроекта, который он предлагает.

Не располагая подобной поддержкой (три крупнейшие политические партии Бразилии находились в оппозиции правительству), Коллор объявляет в марте 1990 года о начале радикальной экономической реформы («План Коллора»), включавшей финансовую стабилизацию, денежную реформу, замораживание 80% банковских счетов, приватизацию части государственной собственности и либерализацию. Понятно, что такая реформа затрагивала множество самых разных интересов и вызывала огромное недовольство, проводить ее решением только исполнительной власти, без согласования с основными политическими партиями, в условиях реального разделения властей в Бразилии было крайне рискованно, почти самоубийственно. С другой стороны, уже в 1991 году начинается коррупционный скандал, в котором оказывается замешан президент, его ближайшие родственники и сотрудники. В сентябре 1992-го палата депутатов подавляющим большинством голосов поддерживает отстранение Коллора

* На старте избирательной кампании, в начале 1989 г., Коллора поддерживали всего 5% опрошенных. Через десять лет, в 1999–2000 гг., страшная сила телевидения была в схожей ситуации продемонстрирована и в России с избранием Путина.

** В Бразилии не существует нижнего барьера для прохождения в федеральный конгресс и законодательные собрания штатов.

от должности президента, а в конце декабря, под угрозой неминуемого одобрения импичмента в сенате, он объявляет о своей отставке. Таким образом, первый демократически избранный президент Бразилии меньше чем через три года после вступления в должность был подвергнут импичменту. Этот кризис — всего через семь лет после возвращения страны к гражданскому правлению — был очень опасным для становящихся институтов бразильской демократии. Вместе с тем он был разрешен в рамках законных процедур, до того как правительственный кризис мог превратиться в кризис демократического режима*.

Отстранение президента Коллора от власти (по Конституции его сменил вице-президент Итамар Франко) стало низшей точкой поставторитарного политического развития Бразилии, с которой и начинается реальная институциональная реформа. Ее проведение связано с именем Фернанду Энрике Кардозу — сначала министра финансов в правительстве Франко, а затем президента страны (1995–2002). Как министр финансов Кардозу в 1994 году осуществил успешный план денежной стабилизации («План Реал»), который позволил наконец покончить с гиперинфляцией, разрушавшей экономику страны в течение полутора десятилетий. Однако экономический успех, очень важный сам по себе, не был главной задачей Кардозу. «Наша цель не в экономическом успехе, не в экономической реформе. Наша главная цель заключается в том, чтобы превратить государство и его институты из объекта частного присвоения в *общее дело*, в рес-

публику» (*res publica* по латыни «общее дело»). — Т.В.)**.

Иначе говоря, свою главную задачу Кардозу видел в том, чтобы отделить государственные институты от частных интересов правящих и господствующих групп, сделать эти институты публичными. Для этого он, во-первых, провел административную реформу, в рамках которой большинство административных должностей (за исключением политических назначений) на всех уровнях — федеральном, уровне штатов и муниципальном — замещаются по конкурсу. Во-вторых, была осуществлена экономическая реформа — либерализация и приватизация экономики, повысившая ее эффективность, позволившая существенно сократить государственное вмешательство и, следовательно, уменьшить влияние частных экономических интересов государственных чиновников. И что особенно важно, Кардозу проводил экономическую реформу постепенно, в течение двух своих президентских сроков, с помощью тех инструментов, которые ему предоставляла Конституция страны. Чтобы приватизировать государственную собственность, снизить таможенные тарифы и другие ограничения для частного бизнеса, провести пенсионную реформу, изменить порядок формирования и распределения государственного бюджета необходимо было, как уже говорилось, получить две трети голосов в палате депутатов и две трети голосов в сенате. Поскольку собственная партия Кардозу, Партия бразильских социал-демократов (ПБСД), никогда не имела большинства в конгрессе, он каждый раз должен был формировать коали-

* Juan J. Linz & Alfred Stepan. *Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996. Ch. 11 *Crises of Efficacy, Legitimacy and Democratic State «Presence»*: Brazil. P. 171.

** Fernando Henrique Cardoso. *In Praise of Arts of Politics // Journal of Democracy*, Vol. 7, Num. 3, July 1996, p. 10.



Сезар Бальдаччини. *Обнаженный*. 1962

цию из различных партий для поддержки важнейших законопроектов. Притом что различные группы интересов — крупных предпринимателей, агробизнеса, профсоюзов, государственных служащих — были представлены разными партиями, каждый раз такая коалиция была основана на компромиссе, часто вполне беспринципном с точки зрения заключаемых союзов.

Такая стратегия — осуществление экономической реформы путем достижения компромисса в парламенте — была выбрана Кардозу сознательно. Экономическая трансформация осуществлялась путем поиска консенсуса в обществе и политической системе, тем самым создавая и укрепляя демократические институты. В противоположность российским реформаторам, которым потребовалось вооруженным путем разогнать парламент в 1993 году, для того чтобы без помех осуществлять либерализацию и приватизацию экономики, Кардозу принципиально проводил экономическую реформу путем заключения «гнилых» компромиссов, часто жертвуя логикой реформ и темпами экономического роста, но добиваясь, чтобы демократия и законность стали привычкой. Надо признать, что это было особенно трудно в стране, где родилась знаменитая формула: «Друзьям — все, врагам — закон».

Я думаю, что в реализации этой стратегии одновременного осуществления экономической реформы и строительства демократических институтов заключается основное достижение правительства Кардозу. При этом его экономические успехи были весьма скромными, чтобы не сказать жесточе: темпы роста ВВП в 1990-е годы были низкими, бразильская экономика очень серьезно пострадала и от восточно-

азиатского кризиса 1997 года, и от российского 1998-го. Тем не менее именно институциональная реформа экономики и государства, осуществленная правительством Кардозу, заложила основу для экономических успехов и социальной трансформации страны в следующем десятилетии. Более того, поиск консенсуса, укрепление демократических институтов в 1990-е годы постепенно превратили их в эффективные каналы политического представительства, позволяющие реально отстаивать социальные интересы различных общественных групп, включая низшие, беднейшие слои населения.

Зримым выражением этого стала мирная передача власти левоцентристскому правительству Лулы, который в октябре 2002 года с четвертой попытки наконец выигрывает президентские выборы. Для страны, в которой на протяжении всего XX века главным средством борьбы с левыми был военный переворот, это означало эпохальный сдвиг. «Впервые выходец из рабочего класса, человек левых политических убеждений пришел к власти в крупнейшей стране Латинской Америки. Избрание Лулы и мирная передача власти свидетельствовали о силе бразильской демократической системы и давали бразильским левым шанс осуществить свои идеи на практике»*.

Два срока президентства Лулы (2003–2010) — это не только история бесспорного социально-экономического успеха, но и время наивысшего подъема Бразилии как страны и общества, достигнутого за 30 лет демократического развития. В основе этого успеха лежала в первую очередь активная социальная и перераспределительная политика правительства: повышение на ¼ минимальной заработной платы, вывод из тени неформальной занятости, расширение банков-

* Ted Goertzel. *O legado de FHC to Brasil de Lula*. // *Folha de São Paulo*, 5.01.2003.

ского кредита на те низкодоходные слои населения, для которых он раньше был недоступен. Важнейшей и наиболее известной из этих мер стала знаменитая программа «Семейный кошелек» (Bolsa Familia), согласно которой семьям с доходом ниже определенного минимума выплачивается небольшое ежемесячное пособие при условии, что дети регулярно посещают школу и получают прививки от наиболее распространенных инфекционных болезней, в частности от полиомиелита. Эта программа, начатая в качестве эксперимента еще при правительстве Кардозу, была в нулевые годы распространена на все страну: ее бенефициарами стали 13 млн семей, подавляющее большинство которых возглавляется женщинами. Кроме быстрого улучшения материального положения беднейших слоев населения эта программа была нацелена и на долгосрочный эффект. Она должна была разорвать порочный круг, связывающий бедность и низкий уровень образования: чем больше детей бросает школу, чтобы зарабатывать и помогать своим семьям, тем меньше у них шансов, став взрослыми, получить квалифицированную, хорошо оплачиваемую работу, тем меньше создается квалифицированных рабочих мест в экономике. Соответственно их дети также вынуждены из-за бедности бросать школу, и этот порочный круг воспроизводится из поколения в поколение. Разорвать его можно, только повышая в каждом следующем поколении уровень образования.

Кроме этого, базового, уровня начального и среднего образования, правительство Партии трудящихся направляло значительные средства на расширение доступа

низших слоев населения к высшему образованию. Во-первых, были установлены расовые квоты в крупнейших и наиболее престижных университетах страны. В жилах большинства населения Бразилии в той или иной мере присутствует кровь чернокожих рабов, которых в течение двух столетий завозили на сахарные, кофейные и хлопковые плантации из Африки. И по общему правилу, чем темнее у человека кожа, тем хуже его экономическое положение. Во-вторых, были созданы десятки новых государственных университетов, в которые также был облегчен доступ выходцам из беднейших слоев населения.

Результатом всех этих и других мер правительства Лулы стало существенное сокращение неравенства в распределении доходов: с 2002 по 2012 год доля верхних 20% населения сократилась с 62,3 до 57,2%, доля верхних 10% — с 46,3 до 41,7% располагаемых доходов*. Соответственно выросла доля нижних 80% населения. Еще более очевидно уменьшились в Бразилии бедность и нищета: доля населения, проживающая ниже международно признанной черты бедности (доходы ниже 2 долларов в день на человека), сократилась с 21,3% в 2002 году до 6,8% в 2012-м**. Свыше 30 млн человек смогли за это десятилетие выбраться из бедности. В Бразилии возник новый средний класс, так называемый класс «С», который, по данным официальной статистики, составляет около 50% населения. Речь идет о десятках миллионов людей, которые вышли из теневой экономики выживания, у которых впервые в жизни появились банковские карточки, легальная зарплата, они впервые в жизни стали работать по пись-

* *World Development Indicators. World Bank, 2015, Table 2.9. Эти цифры, может быть, и не столь выразительны, но они позволили Бразилии перестать быть чемпионом континента по этому показателю и представляли собой заметный сдвиг.*

** *World Development Indicators. World Bank, 2015, Table 2.8.*

менному контракту. Этот социальный сдвиг принес и ощутимый экономический эффект: рост покупательной способности и потребления низших слоев населения привел к резкому расширению внутреннего рынка, стал одним из важнейших факторов экономического роста в прошлом десятилетии.

Лула, таким образом, выполнил свое важнейшее предвыборное обещание. Вступая в должность президента, он поклялся, что, когда он будет покидать ее, в Бразилии больше не будет голодающих, не будет семей, которые едят меньше двух раз в день. Благоприятная конъюнктура мирового рынка в 2000-е, высокие цены практически на все товары бразильского экспорта — сою, мясо, птицу, пшеницу, сахар, кофе — позволили правительству Лулы столь эффективно осуществить перераспределение и столь существенно снизить бедность, не затрагивая доходов самых богатых и в целом интересов правящих и господствующих групп Бразилии. Более того, в течение первого срока пребывания у власти экономическая политика левоцентристского правительства Лулы сохраняла преемственность в отношении тех принципов и направлений, которые были заложены предыдущим правительством Кардозу.

Политически этот курс обеспечивался союзами в рамках демократических институтов, в условиях уже упоминавшегося «коалиционного президентства». Важнейшим и самым влиятельным союзником Партии трудящихся в парламенте как при Луле, так и при его преемнике Дилме Руссефф была Партия бразильского демократического движения

(ПБДД), та же самая партия, которая была и главным союзником Партии бразильских социал-демократов Кардозу. Кроме того, в правящую коалицию входило еще около десяти более мелких партий*. С одной стороны, это означало продолжение и укрепление культуры политического компромисса, заложенной в предыдущем десятилетии Кардозу, и было, несомненно, позитивным моментом. С другой стороны, ПБДД, в которой значительное влияние имели региональные правящие группы традиционалистского толка, все больше паразитировала на этой системе, получая министерские посты и пост вице-президента**. ПБДД — это партия власти в буквальном смысле этого слова: партия, у которой практически нет идеологии; партия, всегда входящая во власть на правах младшего партнера, поскольку без ее поддержки в федеральном парламенте не может действовать ни одно правительство. Постепенно ПБДД (и, к сожалению, не только она) превращалась в партию беспринципных политиканов, торговцев политическим влиянием. И это было, несомненно, оборотной стороной культуры политического компромисса, в целом столь благотворной для стабильности демократических институтов в Бразилии.

Эти частности не преуменьшали, однако, важнейшего достижения правительства Лулы. На рубеже 2000–2010 годов казалось, что успешно решена или по крайней мере решается *центральная проблема социального развития Бразилии* — поляризующее воздействие экономического роста на общество. На протяжении всей предыдущей истории страны большинство населения было лишено доступа

* Всего в Бразилии действует около 40 политических партий, из них порядка 20 представлены в конгрессе.

** Главой ПБДД с 2001 года является нынешний исполняющий обязанности президента Бразилии Мишел Темер, дважды — в 2010 и 2014 годах — избиравшийся вице-президентом в паре с Дилмой Руссефф.



Оля Кройтор. Ситуация № 10. 2013

к плодам этого роста, что, в свою очередь, превращало политические институты в верхушечные, не отражавшие жизненных интересов большинства и потому — крайне неустойчивые. Оказалось, что можно успешно совмещать ранее несовместимое: либеральную в своей основе экономическую политику, жизнеспособные демократические институты, перераспределение и радикальный подъем уровня жизни беднейшей половины населения. Более того, создав каналы политического представительства для большинства и сделав их эффективным средством отстаивания интересов этого большин-

ства, правительство Лулы укрепляло одновременно демократические институты. Возник, казалось, самоподдерживающийся «круг благодати» как противоположность «порочному кругу». Особенно очевидным позитивное взаимодействие экономической, социальной и политической трансформации в Бразилии было на фоне происходящего в соседней Венесуэле. Там перераспределительная политика стала средством укрепления авторитарно-популистского режима, персоналистской власти, последовательно разрушавшей и экономику, и демократические институты.

Со временем, однако, и в этой несомненной истории бразильского успеха начинают накапливаться противоречия и семена последующих проблем. По мере ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры после кризиса 2008–2009 годов падают цены на бразильский экспорт, кончается эпоха «тучных коров» и возможность осуществлять активную политику перераспределения, не затрагивая при этом ничьих интересов, резко сокращается. Левоцентристское правительство все больше опирается на беднейшие слои населения, средние слои начинают от него постепенно отдаляться. И Лула в 2006-м, и Дилма в 2010 году наибольшую поддержку получают среди избирателей с самыми низкими доходами и в самых бедных штатах северо-востока страны. К 2010 году происходит очевидный раскол электората на бедных и богатых.

С этим непосредственно связано постепенное изменение характера политического режима, олицетворяемого фигурой Лулы: из лидера трудящихся он превращается в лидера бедных*. Соответственно и правительство, и режим все больше приобретают популистские черты. Под *попу-*

лизмом я понимаю власть, которая опирается на зависимые от государства слои, в первую очередь на бедных и низшие слои населения в целом, но не только на них. Это в то же время и предприниматели, связанные с госсектором и государственными заказами, это средние слои, находящиеся на государственной службе и т.д. По мере того как социальная база правительства сужалась, оно все больше прибегало к государственному вмешательству в экономику, государственному перераспределению в ущерб развитию рынка и стимулированию частного предпринимательства. Начиная со второго срока президентства Лулы (2007–2010) и особенно во время первого срока Дилмы Руссефф (2011–2014) в экономической политике правительства нарастают этатистские тенденции.

Кроме того, обострились политические проблемы «коалиционного президентства». Первый крупный коррупционный скандал, связанный с этой проблемой, случился в Бразилии в 2005 году и получил название Mensalão (месячное пособие). Чтобы каждый раз формировать коалицию в конгрессе в поддержку того или иного правительственного законопроекта, Партия трудящихся создала нелегальный фонд, из которого платила взятки («месячные пособия») депутатам других партий за «правильное» голосование. Это был вид «идеологической», если можно так выразиться, коррупции: замешанные в ней лидеры ПТ ни одного сентаво не положили в собственный карман, деньги были использованы ради «дела партии». Когда эта история вскрылась, она стоила поста и политической карьеры главе президентской администрации Лулы Жозе Дирсеу, который должен был стать следующим кандидатом в президенты Бразилии**. Это был крупнейший кор-

* André Singer. *Raízes sociais e ideológicas do lulismo*. // *Novos Estudos*, No. 85, Novembro 2009.

** Сейчас Жозе Дирсеу отбывает тюремное заключение.

рупционный скандал, который очень сильно подорвал репутацию ПТ, пришедшей к власти как «этическая» партия, партия «чистых рук», радикально отличающаяся от традиционных, насквозь коррумпированных политических партий Бразилии.

Инерция успеха, достигнутого в нулевые годы, позволила Партии трудящихся вновь победить на президентских выборах 2010 и 2014 годов. Причем выборы 2014-го Дилма Руссефф выиграла с колоссальным трудом и с минимальным преимуществом: во втором туре за нее проголосовали 51,6% избирателей против 48,4% у кандидата от ПБСД Аесио Невеша. Страна оказалась расколотой пополам, преимущественно по социальному и географическому признаку. Эта победа оказалась пирровой и для Дилмы Руссефф, и для ПТ в целом. Сохранение одной партии у власти в течение 13 лет — трех с половиной президентских сроков подряд — привело к ее глубочайшему институциональному истощению, потере собственной идеологической перспективы и «врастанию» в традиционные властные отношения, в которых почти размылся собственный социально-политический проект партии. Достаточно сказать, что 37 млн бразильцев не поддержали во втором туре президентских выборов 2014 года ни одного из кандидатов. Среди этих людей очень много тех, кто в 1990-м — первой половине нулевых составлял основную базу поддержки Партии трудящихся — интеллектуалов, студентов, активистов гражданских ассоциаций*.

Между тем в июне 2013 года, накануне проведения в Бразилии Кубка конфедераций и за год до футбольного чемпионата мира, на улицы крупнейших городов страны выходят сначала десятки, а затем сотни тысяч человек, протестующих против государственных расходов на строитель-

ство футбольных стадионов и спортивной инфраструктуры. Они требуют направить эти средства на улучшение образования, здравоохранения, городской инфраструктуры. Среди этих демонстрантов было большое количество тех, кто в предыдущее десятилетие стали основными бенефициарами социальной политики Партии трудящихся. Это были, в частности, студенты — дети из семей того самого класса «С», которые только в последние годы вышли из нищеты и смогли впервые позволить себе холодильник, телевизор, стиральную машину и даже подержанный автомобиль. Почему эти люди выступили с протестом против правительства, которое совершенно очевидно сделало их жизнь лучше? Объяснение, на мой взгляд, заключалось в самом беспрецедентном социальном прогрессе предшествующих 20 и особенно последних 12 лет. Требования протестующих были сконцентрированы вокруг важнейших проблем — защиты достоинства и прав граждан. Права на медицинское обслуживание без диких очередей; права на городской транспорт, цена на который соответствовала бы качеству и где не нужно было бы тратить по четыре часа в день в битком набитых автобусах по дороге на работу и обратно; права на то, чтобы полиция не била и не пытала, чтобы политические партии не были лишь бизнес-организациями для личного обогащения функционеров, чтобы коррумпированные политики были наказаны. По сути дела, эти выступления было главным свидетельством успеха ПТ: население превратилось в граждан, которые захотели быть протагонистами, действующими лицами своей собственной истории. В стране, где футбол всегда был важнейшим национальным символом и «опиумом для народа», граждане открыто предпочли футболу собственное достоинство и благосостоя-

* *Eliane Brum. La herencia más maldita del PT, El País, 17.03.2015.*

ние! Одно это свидетельствовало о том, насколько изменилась страна. Но партия, проведшая к тому времени более 10 лет у власти, не смогла этого понять и просмотрела колоссальные сдвиги, произошедшие в обществе. «Партия улицы потеряла улицу, решив, что она ей больше не нужна»*. Напротив, она превратилась по преимуществу в партию тех, кто зависит от государства и не способен на самостоятельную политическую организацию и самовыражение**.

На этом фоне в промежутке между протестами 2013-го и президентскими выборами 2014 года в Бразилии разгорелся скандал, который нанес тяжелейший удар Партии трудящихся и, по-видимому, покончил, по крайней мере в среднесрочной перспективе, с левоцентристским политическим курсом. Этот скандал также вырос из колоссального успеха, огромной удачи Бразилии: в конце второго срока правления Лулы было объявлено, что на атлантическом шельфе страны найдены огромные запасы нефти глубокого залегания. Лула торжественно объявил, что разработка этих месторождений должна будет способствовать развитию бразильской промышленности, производству оборудования, бурильных технологий, развитию портовой и транспортной инфраструктуры. Все это должно было быть исключительно бразильским, разработанным и произведенным в Бразилии, для того чтобы добыча нефти не привела, как в других странах, к «сырьевому проклятию», а, напротив, дала бы толчок экономике и обществу.

Из этой сияющей перспективы вырос коррупционный скандал Lava Jato (автомойка), до основания потрясший экономику, общество и политическую систему в стране. Чтобы заключить контракт с государственной нефтяной компанией Petrobras,

практически все без исключения крупнейшие строительные и инфраструктурные фирмы платили взятки государственным чиновникам, депутатам, сенаторам, губернаторам штатов. В коррупционные действия были вовлечены не только представители правящей партии и ее политические союзники в конгрессе, в особенности ПБДД, но и часть оппозиции. Всего по делу арестовано 139 предпринимателей, которые находятся в заключении под следствием. Общая сумма взяток оценивается в фантастическую цифру 10 млрд реалов или 2,8 млрд долларов. Общее число людей, которым предъявлены обвинения, составляет 179 человек, из них 47 — политические деятели, включая председателя палаты депутатов (теперь уже бывшего) Эдуардо Кунью и председателя сената Ранана Калейроса. Не случайно оба они представляют ПБДД. Но и правящая Партия трудящихся, включая бывшего президента Лулу, оказалась серьезно замешана в этом скандале.

Скандал начался в конце первого срока Дилмы, непосредственно перед президентскими выборами 2014 года, и полностью парализовал деятельность правительства в 2015-м. В первые месяцы 2016-го страна переживала худшую с 1930-х годов экономическую рецессию. Правящая коалиция распалась, поскольку ПБДД перешла в оппозицию. На этом фоне произошло резкое изменение природы протестного движения: в 2015–2016 годах сотни тысяч человек выходили на улицы бразильских городов, требуя отставки Дилмы Руссефф, выступая против ее социально-экономической политики и всего политического курса ПТ. «Долой Дилму!» был главный лозунг этих манифестаций. В этой ситуации крайне ослабленного правительства, президента, потерявшего общественное доверие и большую часть со-

* *Ibid.*, *El País*, 17.03.2015.

** *André Singer*, *op.cit.*

юзников, оппозиция берет курс на импичмент Дилме Руссефф. 17 апреля 2016 года палата депутатов двумя третями голосов выступила за временное отстранение президента от должности, 12 мая это решение было поддержано двумя третями сената. Окончательное решение об импичменте, в исходе которого никто не сомневается, должно быть вынесено сенатом до конца августа 2016 года*.

В чем конкретно обвиняют Дилму Руссефф? За что отстраняют от должности президента, за которого на выборах проголосовали 54,5 млн бразильцев? Первое нарушение заключается в увеличении расходов государственного бюджета без одобрения конгресса. В 2015 году правительство своим декретом утвердило дополнительный кредит, чтобы уменьшить дефицит государственного бюджета. Закон об импичменте предусматривает ответственность за нарушение закона о бюджете и легальном использовании государственных средств. Бюджет утверждает конгресс, следовательно, за это формальное нарушение президент подлежит отстранению от должности. При этом правительство утверждает, что это не было увеличением бюджетных расходов, а лишь перераспределением средств внутри бюджета. Второе нарушение заключается в том, что правительство задержало выплату примерно 1 млрд долларов Центральному банку по программе аграрного кредита. Банк выделил сельскохозяйственным производителям кредит из собственных ресурсов, а правительство через месяц вернуло деньги в ЦБ. Это рассматривается как бюджетная манипуляция, как получение правительством незаконного кредита от государственного банка.

Иначе говоря, президент страны отстранен от должности за минимальные техни-

ческие нарушения. Больше предъявить Дилме Руссефф нечего, поскольку против нее не выдвинуто никаких обвинений в коррупции, она лично никак не замешана в деле Petrobras. В то же время против 300 из 367 депутатов, проголосовавших за ее отстранение от должности, возбуждены административные или уголовные дела, в том числе и по делу Petrobras. Против 60% сенаторов, проголосовавших за импичмент, также есть обвинения о причастности к этому делу.

Таким образом, второй раз за четверть века Бразилия проходит через импичмент демократически избранному президенту. В отличие от 1992 года, когда отстранение президента Коллора от власти поддерживали 98% бразильцев, за импичмент Дилме выступают менее 60%. Страна и в этом вопросе оказывается расколотой практически пополам. Главный же вред, несомненно, заключается в негативных последствиях импичмента для демократических институтов, которые с таким трудом строились. Характерна позиция Кардозу, который до начала 2016 года выступал решительно против импичмента на том основании, что он будет разрушителен для институтов демократии. Что бы там ни было, страна должна отвечать за президента, которого она выбрала. Чтобы выразить свое отношение к нему и его партии, существуют выборы, которых необходимо дожидаться, дав президенту отработать свой срок. Однако затем, по мере углубления политического кризиса, Кардозу изменил свою позицию, поддержав весьма слабые юридически аргументы оппозиции.

Вместе с тем импичмент превратился в социальный реванш тех сил, которые представляют традиционные правящие и господствующие группы Бразилии и которые четыре раза подряд не смогли добыть-

* 31 августа 2016 г. сенат Бразилии проголосовал за отставку Дилмы Руссефф. (Прим. ред.)



Бретт Уэстон. Океан. 1937

ся отстранения Партии трудящихся от власти на демократических выборах. Таким образом, историческая попытка левоцентристских сил перевести социальные противоречия в институциональное русло, к сожалению, провалилась. Стремление решать социальные проблемы институциональными методами в стране с крайней поляризацией доходов оказалось в значительной мере иллюзией. Надо признать, что система этого не выдержала и вернулась в традиционное для себя состояние. Это очевидно даже на символическом уровне: новое правительство Бразилии состоит из белых, богатых и весьма пожилых мужчин, в нем нет ни одной женщины, ни одного сколько-нибудь смуглого лица.

Несомненна и ответственность Партии трудящихся за постигший Бразилию институциональный провал. С моей точки

зрения, ей не нужно было цепляться за власть, не нужно было выигрывать президентские выборы 2014 года. Чтобы демократические институты служили эффективным каналом отстаивания различных социальных интересов, власть должна меняться. Демократические институты — это институты инструментальные, они хорошо работают только тогда, когда различные политические силы, различные партии у власти чередуются, а не увековечивают свое господство.

Бразилия, как уже не раз подчеркивалось в этой статье, страна, в которой поражения порождают будущие победы, а успехи несут в себе источники грядущих провалов. Ближайшее будущее покажет, какие уроки извлечет бразильское общество из постигшего его институционального срыва и насколько глубокими окажутся его социальные и политические последствия.

Знакомим читателя с нашими свежими изданиями, публикуя аннотации и фрагменты текста, дающие представление о книгах



Кристофер Паттен. Что дальше? Выживание в XXI веке. Перевод с англ. яз. Chris Patten. What next? Surviving the Twenty-first Century. Penguin books Ltd. Allen Lane, 2008. Книга готовится к изданию в 2017 г.

Кристофер Паттен — известный британский политик, последний губернатор Гонконга (1992–1997), один из крупнейших экспертов по международным делам. В этой книге он выступает как блестяще информированный глубокий аналитик широкого спектра актуальных и критических сфер глобальной картины мира в начале XXI века. Терроризм и распространение оружия массового поражения; исчерпание потенциала традиционных моделей экономического роста; симптомы климатического коллапса и варварская эксплуатация природных ресурсов; острые проблемы здравоохранения и наркотрафик и др. Тональность повествования в целом вызывает тревогу, но такой эффект, увя, обусловлен убедительной аргументацией, основанной на обширном личном профессиональном опыте автора и богатом фактологическом материале.

Глава 12 ПОТЕПЛЕНИЕ

Природа, мистер Оллнат, предназначена для того, чтобы человек над ней возвышался.

Кэтрин Хепберн — Хамфри Богарту в кинофильме «Африканская королева»

Работа идет споро, но все это выглядит как конец света.

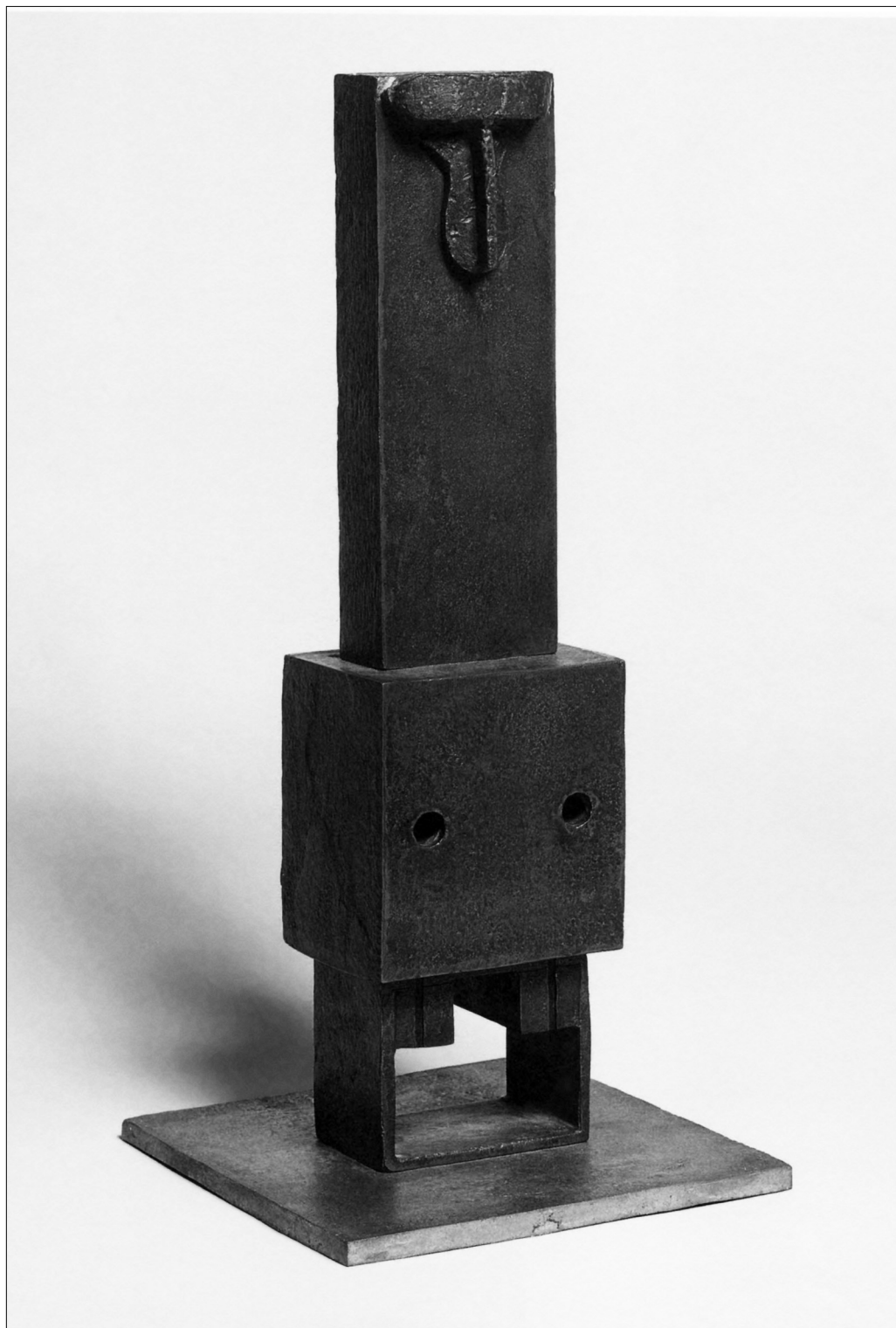
Франк Шервуд Роуланд, лауреат Нобелевской премии, рассказывая жене о своих исследованиях в области истощения озонового слоя

Как вам прошедший XX век? Вертелась ли Земля? А скрипки звучали? Превосходила ли радость побед горесть бедствий? В любом случае вы дожили до завершения века: вам выпало жить преимущественно во второй его половине, у вас на это было больше шансов. Большинство из людей на планете, которым выпала столь счастливая судьба, проживут более долгую

и здоровую жизнь, чем предыдущие поколения. Мы получили образование лучше, чем наши предки сто лет назад. Технологии и изменение социальных установок и привычек существенно улучшили положение женщин в обществе. Мы едим больше (и, скорее всего, лучше), путешествуем больше, у нас больше свободного времени, да и новости поступают нам лучше и быстрее, чем нашим родителям. Мы пьем чистую воду. Технологии согревают нас в холодном климате и освежают в жарком. Ничего подобного земля не видела со времен Эдемского сада.

Ученые, посвятившие жизнь изучению комара, утверждают, что у этого вредного насекомого в жизни только две цели — поесть и совокупиться. Если бы историю нашей планеты писал комар, к примеру азиатский тигровый, прервавший на время свою работу по разнесу вируса лихорадки Западного Нила в Нью-Йорке, то насекомое могло бы сказать о *Homo sapiens* то же самое, что мы сказали о комаре, и злобно добавило бы, что еще мы воюем. Тезис о соитии и потреблении подкрепляется цифрами. В прошлом веке население планеты увеличилось в четыре раза, а множителем роста городского населения стало число 13. Промышленное производство выросло в 40 раз, потребление энергии — в 13, выбросы углекислого газа — в 17, потребление воды — в 9, вылов морской рыбы — в 35 раз. При этом площадь лесов существенно сократилась, и мы потеряли множество видов птиц и млекопитающих. Многие виды пока еще держатся. Благодаря созданию смертоносного оружия — гарпунной пушки — мы поставили на грань исчезновения некоторые виды китов. Я люблю китов; неспроста в ветхозаветной книге Бытия говорится: «И сотворил Бог рыб больших», а вьетнамцы хоронят выбросившихся на сушу китов. При всем этом мы убивали этих величественных млекопитающих в невероятных количествах; согласно данным Всемирного фонда дикой природы, с 1904 по 1979 год в Южном полушарии люди убили почти 750 000 финвалов. И если мы не изменимся, то надвигающееся на нас бедствие станет вполне заслуженным, хотя киты, по всей вероятности, исчезнут раньше людей.

За прошлый век люди оказали на нашу планету влияния больше, чем все остальные существа вместе взятые. Воспользовавшись дешевой энергией, доступом к чистой воде и относительно стабильным, благоприятным климатом, мы стремительно расплодились и увеличили мировую экономику в 14 раз. По заявлению Дэн Сяопина: «Разбогатевший достоин славы». Его слова применимы не только к Китаю в XX веке, но и к веку в целом. В основе успеха, причем в США даже в большей степени, чем в Европе, лежало могущество, которого мы достигли благодаря углю, нефти и газу — геологическим результатам тысячелетий воздействия солнечного света на растительные организмы. Король Великобритании Георг III как-то спросил Мэттью Болтона, делового партнера изобретателя Джеймса Уатта и первого продавца паровых двигателей, о том, как он зарабатывает на жизнь. «Ваше величество, — ответил тот, — я занимаюсь производством товара, вожделенного всеми властителями». На вопрос, что он имеет в виду, Болтон уточнил: «Энергию, ваше величество». Правители и ныне ценят энергию, потому что она напоминает им о собственной власти, подданным же нравится мощь, которая движет их автомобилями и питает телевизоры.



Ман Рэй. Само по себе I. 1918

Заметное воздействие человека на окружающий мир началось более 2,5 млн лет назад, когда гоминиды научились изготавливать каменные орудия труда, вследствие чего получили возможность изменять окружающую среду с целью сбора плодов и охоты. По мнению археологов, первобытный человек сталкивался с такими экологическими проблемами, как эрозия почвы и снижение плодородия, засоление и выбивание пастбищ скотом. Сельское хозяйство как таковое началось с одомашнивания растений и животных. К 7000 г. до н.э. сельское хозяйство стало доминирующей отраслью на Ближнем Востоке и начало распространяться в Южную Европу и Северную Африку. В античную эпоху греки и римляне приносили на завоеванные территории новые зерновые культуры и системы земледелия. Вырубка лесов, по всей вероятности, началась еще в эпоху бронзы и железа. Вырубка вполне обоснованно ассоциируется с морскими походами афинян и соответствующей потребностью в древесине для судостроения. После падения Римской империи развилась система открытых полей, затем — огораживание, а уже в XVIII веке произошла аграрная революции. Уголь и пар стали источником энергии для промышленности, а рост численности рабочей силы в городах стимулировался излишками продуктов питания, получавшихся благодаря севообороту, повышению урожайности, увеличению пахотных земель и применению в сельском хозяйстве научных достижений. Население — растущее, несмотря на эпидемии, загрязненность и плохие санитарные условия, — вопреки мнению Томаса Мальтуса кормило себя, причем в Европе частично за счет колониальных ресурсов, включая непритязательный картофель. В эпоху колониализма на новые континенты попали чужеродные для этих мест животные, сельскохозяйственные культуры и болезни. Многие биологические виды исчезли; люди умирали от новых болезней. Посетителям Королевской капеллы в Гранаде, в которой покоятся католические короли Изабелла и Фердинанд, предлагается воздать должное распространению иберийской культуры и католической религии в Северной и Южной Америке. К середине XVI века, в течение 50 лет после первого контакта с европейцами, население Мексики сократилось с 25–30 млн до 3 млн человек. Благоприятнее было бы умерить ликование, даже самым рьяным католикам, утешающим себя тем, что некоторые из погибших американских индейцев успели принять крещение.

За время моей жизни (а родился я в 1944 году) рост экономики практически непрерывно ускоряется. Считается, что с 1500 года и до конца прошлого века мировая экономика выросла в 125 раз. Причем к 1820 году экономика выросла всего лишь в три раза, а реальный взлет произошел только после промышленной революции. Мы быстрее росли, больше вырубали, больше добывали, больше вылавливали, больше сжигали. Именно в этом состоит проблема. Мы вели себя так, будто можем делать все, что заблагорассудится, без учета воздействия на окружающий мир. Мы играли с будущим нашей планеты.

Всем известно, что стабильного климата на нашей планете не было никогда. Всего лишь 20 тысяч лет назад — миг по геологическим меркам —

Земля была скована последним ледниковым периодом. Завершился он примерно 12 тысяч лет назад, и в течение 10 тысяч лет люди жили в условиях практически стабильной температуры, за исключением немногочисленных отклонений — возможного потепления в XI веке (хотя в целом в Средние века было холоднее, чем сегодня) и похолодания в XVII. Мы жили в благодатных условиях, не похожих ни на жару на Венере, от которой плавится свинец, ни на холод на Марсе, от которого крошится сталь. Но способы, которыми мы развивали нашу цивилизацию, были издевательством над Геей (так называл Землю ученый Джеймс Лавлок, выдвинувший гипотезу о том, что наша земля похожа на организм размером с планету, где все тесно взаимосвязано, в том числе и погода). Экосистема, подобно опылителю и цветку, находится в состоянии полной взаимозависимости. Человек не отделен от природы и не может поступать с ней, как ему заблагорассудится. Наши действия влияют на такую взаимозависимость, оставаясь при этом ее частью. В первой книге Библии — и это согласуется с утверждениями Аристотеля — сказано, что природа создана для того, чтобы мы правили ею по своему усмотрению. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и Бог сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею; и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Но было бы безумием, преступным безумием, полагать, что упомянутое здесь *владычество* означает абсолютную или неограниченную власть. В любом случае было бы странно, если бы христиане вели себя так, будто Бог полностью уступил Свои права человеку и устранился от мирских дел. Ведь все остальное в Библии — это, вне всяких сомнений, история об усилиях, предпринимаемых Богом, Его пророками и Его Сыном для разъяснения, что люди несут ответственность за свои поступки, по меньшей мере перед Всевышним. И поэтому аксиома владычества — это лишь явное утверждение ответственности человека, с предоставлением ему временных полномочий.

Галилею понадобилось время, чтобы убедить своих современников в гелиоцентричности нашей планетной системы. Ватикан долго отрицал, что именно Земля вращается вокруг Солнца по смещенной эллиптической орбите, а не наоборот. Утверждение о геоцентричности, по причине его связи с Римом, повторялось из века в век и приписывалось даже папе Бенедикту XVI, который, согласно недостоверной информации, отрицал научное открытие Галилея. Наука об изменении климата и глобальном потеплении попала в схожую ситуацию. Но у нас нет времени переубеждать всех, кто отрицает выводы большинства ученых (в среде которых царит на удивление полное согласие) о том, что климат становится теплее и что мы — люди — в значительной степени несем за это ответственность. Ах да, надо не забыть упомянуть о чрезвычайной сложности климатологии, о неисчислимых переменных, циклах внутри циклов и обратной связи. Обязательно использовать сослагательное наклонение и ни в коем случае — не активные глаголы. Понатыкать «вероятно», «возможно» или «может

быть» в каждое второе предложение. Одержимость бесконечными придирками, которые преподносятся как политкорректность в вопросах изменения климата, зачастую оказывается ничем иным, как оправданием бездействия. Ведь доказательства будут оспаривать даже после гибели последнего белого медведя и затопления прибывающим океаном жилищ миллионов бангладешцев. Мы не можем ждать, пока орудия рациональности разрушат все редуты иррациональности; осада может продолжаться бесконечно долго. Нам следует начать действовать сейчас, пока не слишком поздно. Для чего «слишком поздно»? Для того чтобы большинство из нас жили привычной жизнью; чтобы наши дети и внуки жили с тем же уровнем комфорта, как многие из нас; для того чтобы многие жители Земли просто продолжили жить.

...В книге я предпринял попытку описать большинство глобальных проблем, с которыми сталкиваются национальные государства. Всеобъемлющего и глобального ответа на эти проблемы не существует. Но мы можем выработать наиболее оптимальные способы противодействия по крайней мере тем из них, которые, подобно распространению ядерного оружия, могут уничтожить нашу планету или сделать непригодными для проживания ее отдельные части. В большинстве случаев нам нужно четкое осознание важности более тесного сотрудничества национальных государств на региональном и глобальном уровне. Мы должны смириться с необходимостью передачи определенной доли суверенитета на международный уровень и даже на согласованное внешнее вмешательство в сферы, которые долгое время относились к суверенной юрисдикции. Необходимо согласиться на регламентированное разделение полномочий, создание механизмов разрешения споров, регулирование деятельности властей, а также повысить уровень прозрачности их действий и сформулировать региональные и глобальные правила. Ничто из перечисленного не драматично по сути, но драматичным может стать сам процесс реализации этих мер, подобно тому как для формирования импульсов, позволивших нам создать Организацию Объединенных Наций и Бреттон-вудские учреждения, понадобилась Вторая мировая война.

Климатические изменения лежат в плоскости, никак не пересекающейся с другими проблемами, обсуждаемыми в книге. Для описания этой конкретной проблемы трудно подобрать слова, лишенные оттенка истеричности. Лично мне никаких исторических аналогий найти не удастся. В 30-е годы Черчилль метал молнии, предупреждая о надвигающейся буре, и впал в отчаяние после того, как мир отказался внимать ему. Черчилль предупреждал свободные и суверенные государства о страшной военной угрозе, связанной с применением всех имевшихся тогда видов вооружения. Значимость нависшей над нами сегодня проблемы ничуть не уступает значимости войны — с той только разницей, что проблема климата касается всего человечества, его настоящего и будущего. Для ее решения потребуется сотрудничество между национальными государствами на поистине беспрецедентном уровне и признание того, что государства не смогут определять свою внутреннюю политику самостоятельно, так как



Бэнкси. Влюбленная в бомбу. 2005

последствия будут важны для судьбы всего человечества. И это вопрос не только экологической политики или экономики как таковой. Это вопрос всей политики — политики настолько всеобъемлющей, какой только она может быть. А во главе стран должно встать настолько отважное и находчивое политическое руководство, какого мы еще

никогда не видели. С проблемой невозможно справиться при помощи лукавых комбинаций: выстроить критиков с одной стороны, их противников — с другой, а самому встать в золотой середине. Межпартийное противостояние тоже абсолютно неуместно. Необходима выработка согласованного полномасштабного решения. Такое решение нужно всем. Такое решение нужно всем уже сейчас...

В 2004 году главный научный консультант британского правительства сэра Дэвид Кинг утверждал, что изменение климата — это «самая серьезная из стоящих сегодня перед нами проблем, более серьезная, чем даже угроза терроризма». Его слова вызвали скандал. Но это было правдой. Покажите мне террористов, которые способны растопить вечную мерзлоту, изменить погодный режим в северной Атлантике, вызвав тем самым засуху в Дарфуре, или увеличить разрушительную силу ураганов, подобных Катрине?

Если вы решили не страховать свой дом от пожара, наводнения или кражи, то вы хотя бы точно знаете, что будет в случае, если что-то из перечисленного все-таки произойдет. Но у нас нет полной уверенности в точности моделируемых последствий сохранения на нынешнем уровне объемов выброса углекислого газа в атмосферу. Ученые делают предположения на основе имеющейся информации; они создают компьютерные модели; они строят догадки; иногда даже попадают пальцем в небо. Скептическое отношение к точности некоторых предсказаний я считаю вполне обоснованным. Неопровержимо только одно утверждение: у нас нет хороших новостей. Пламя приближается, и дом, с большой вероятностью, загорится. Меня больше всего тревожит то, что ученые называют «положительной обратной связью», которая не сулит нам ничего положительного. Это значит, что совокупный эффект в непредсказуемый момент приведет к точке опрокидывания: если положить на стопку книг одну лишнюю, то опрокинется вся стопка. Похоже, что изменение климата не происходит в соответствии с постоянным вектором. Изменения происходят рывками, каждый из которых чуть приближает нас к миру, где рывки станут более частыми и более разрушительными. Так что, разве страховой полис — плохая идея?

Реакция на информацию об изменении климата оказалась разной. Нечто подобное происходило после первых предупреждений ученых о вреде курения или, к примеру, об опасности использования асбеста при строительстве зданий. Вот и сейчас заинтересованные стороны отказываются признавать пагубные последствия своей деятельности. Тем самым они помогают патронам дискредитировавшей себя индустрии утверждать, в формулировке сенатора от Оклахомы Джеймса Инхофа, что изменение климата — это «величайшая из мистификаций, которым когда-либо подвергался американский народ», или по меньшей мере, что все это бездоказательно. Экологическая политика всегда проводилась вопреки возражениям такого рода. Отрасли промышленности, подвергавшиеся обвинениям в выбросах, непременно опровергали все утверждения о том, что выбрасываемые или используемые в процессе производства вещества наносят ущерб природе. Обвинения в отношении использования хими-

ческих пестицидов (например, ДДТ), выдвинутые Рэйчел Карсон в опубликованной в 1962 году и получившей мировую известность книге «Безмолвная весна», обрушили на ее голову гнев представителей агрохимической промышленности. Ее называли противником науки и даже истеричкой. Администрация Буша, если бы она действовала 50 лет назад, стала бы одним из критиков Карсон, назначив, по своему обыкновению, защитников отрасли арбитрами для защиты отраслей, которые они же и лоббировали. В администрации Буша более 100 высокопоставленных должностных лиц следили за тем, чтобы законы в отношении медицинских препаратов, политика в отношении землепользования и продуктов питания и нормативы по загрязнению воздуха не противоречили интересам компаний и отраслей, в которых они когда-то работали. Любые ограничения в экологической сфере ущемляют чьи-то интересы. Японцы научно обосновывают убийство китов. Некоторые добывающие компании настаивают на своем неотъемлемом праве копать там, где им вздумается. Застройщики считают меры по планированию землепользования и созданию районов ограниченной застройки нарушением принципов рыночных отношений. В свое время представители отрасли ископаемых энергоносителей финансировали мощные нападки на тех, кто указывал на неблагоприятные последствия сжигания их продукции. Автопроизводители хвастали ужесточением стандартов по расходу топлива и уровню выбросов.

Предвзятая аргументация резонирует с эгоизмом общества в целом. Засухи в Африке не причинят особого вреда обитателям Северного полушария. Мы не будем смыты из-за повышения уровня Тихого или Индийского океана, хотя нам и придется исключить Мальдивы из списка направлений для зимнего отдыха, ибо таких островов на карте не будет. Но сегодняшние проблемы, даже с учетом очевидности их существования, ничто по сравнению с теми, которые могут возникнуть в будущем. Оставим же завтрашние проблемы будущим поколениям — нашим детям и внукам, сами же будем наслаждаться сегодняшним днем. В итоге опросы свидетельствуют о том, что молодые люди обеспокоены проблемами экологии больше своих родителей.

Эгоизм подкрепляется безосновательно оптимистичным технологическим детерминизмом. Время все решит. Ученые и технологи во всем разберутся. Заботу о будущем нужно доверить будущему. Нас спасет ядерный синтез... ну, или водород. Присущая человеку изобретательность, выручавшая нас на протяжении тысячелетий, не подведет и сейчас. Это утверждение может оказаться истинным; но в отсутствие убедительных доказательств того, что мы сможем производить нужную нам энергию без опасных последствий, имеет смысл предпринимать и другие меры. Более того, если мы так уверены, что ответ на все вопросы, несомненно, существует и только ждет часа своего обнаружения, то целесообразнее добиваться от правительств и частных корпораций увеличения инвестиций в исследование и разработки в сфере энергетики...

...Как я уже говорил в начале главы, решение проблем глобального потепления лежит в значительной степени в политической плоскости, а не в

плоскости экономики или экологии, и именно политикам следует начать обсуждение конвенции, которая последует за Киотским протоколом и свяжет обязательствами Китай и Соединенные Штаты. Сэр Николас Стерн с определенной долей оптимизма утверждал, что «по мере повсеместного признания научных выводов о проблеме изменения климата, общественное мнение воспрепятствует политикам в преуменьшении значимости основательных действий». К сожалению, политики редко действуют рационально. Если бы лягушки могли голосовать, проголосовали бы они за выключение газовой горелки до того, как в нагревающейся воде они сварятся живьем? Прошу экологов и ученых не воспринимать мои слова как проявление неуважения, но глобальное потепление нельзя и дальше считать проблемой, поднятой специалистами в узкой области знаний. Если бы такое отношение возобладало, то вице-президент Гор выиграл бы президентскую гонку, а не Нобелевскую премию мира... Глобальное потепление — это вопрос внешней политики и безопасности; вопрос торговли и бизнеса; вопрос обеспечения возможностей и развития; вопрос стратегического управления; вопрос, который касается 70% живущих сегодня и всех, кто, возможно, будет жить в 2050 году. Это проблема генералов, священников, магнатов, лидеров профсоюзов, юристов, фермеров, государственных служащих, врачей и наших экстренных служб, а не только экологических НПО. Речь идет о внесении изменений в личную жизнь каждого, нередко с неблагоприятными последствиями, которые мы не в состоянии самостоятельно предусмотреть или тем более оценить. Речь идет о сбалансированности политических действий и технических решений с более эффективным применением рыночных механизмов там, где это возможно. Глобальное потепление — это не просто одна из важных проблем, это *основная* проблема. К ее решению необходимо подходить реалистично и решительно.

Нужно отвергнуть мысли об опасности всемирной «антиуглеродной диктатуры», которая неумолимо перейдет от контроля за каждым отдельным случаем выброса до попытки контроля численности населения планеты и выдачи «разрешений на размножение». Непростой задачей будет выстраивание глобального механизма, включающего международный надзор за политикой на национальном уровне, выработку процедур урегулирования споров и обеспечение выполнения решений отдельными странами. Задумываться о том, что предстоит сделать после достижения описанных амбициозных целей, пока преждевременно. Нам следует сосредоточиться на решении этих практических задач, какими бы трудными они ни оказались. Нам следует запустить процедуры, которые без особых затрат и потрясений позволили бы спасти нас и будущие поколения. Для этого потребуется объединить усилия всех ответственных и оптимистично настроенных политиков от Вашингтона до Пекина и от Москвы до Канберры. У нас осталось не так много времени на согласование конвенции, которая преобразит нашу жизнь и спасет планету. Такой международный договор согласовать будет труднее, чем Версальский. Но он *должен* оказаться гораздо более успешным.

Раскаявшийся коммунист

RICHARD PIPES

ALEXANDER YAKOVLEV

The Man Whose Ideas Delivered
Russia from Communism



Richard Pipes. *Alexander Yakovlev: The Man Whose Ideas Delivered Russia from Communism*. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 2015. — X, 152 p.

Александр Николаевич Яковлев, знаменитый «прораб перестройки», писал ужасные тексты. Так, в одной из своих брошюр он, в качестве посла Советского Союза не понаслышке знавший о канадской жизни, заявлял, что Канада давно превратилась в полицейское государство, ужасно терзающее своих граждан. В других работах он бичевал американский империализм, агрессивный блок НАТО, циничный мир чистогана и прочие реликты прошлого, мешавшие мирному процветанию СССР. Одновременно тот же человек разрабатывал планы коренной реконструкции советской системы, предполагавшие ее либерализацию в классическом

смысле слова и включавшие переход к рыночной экономике, внедрение конкурентных выборов и прочее. К этим проектам оказался восприимчив Михаил Горбачев, только-только собиравшийся затеять свою перестройку. Более того, многие считают, что все основные идеи, озвученные новым генеральным секретарем ЦК КПСС в бурные перестроечные годы, были сформулированы именно Яковлевым. Книга написана в жанре исторической биографии: автор проходит по всем этапам жизненного пути Яковлева, первостепенное внимание уделяя, естественно, его деятельности в годы перестройки. Он особо останавливается на сложных взаимоотношениях своего героя с Горбачевым, не оценившим, как полагает Пайпс, своего сподвижника в полной мере. В приложении даются два яковлевских текста: первый из них написан в 1972-м, в годы самого дремучего застоя, а второй — в 1985-м, в разгар перестройки.

Объясняя свой интерес к столь противоречивой фигуре, какой, судя по авторскому описанию, был Яковлев, американский историк пишет, что его герой «не разделял убеждения большинства русских в том, что государство обязано во всем опекать своих граждан, защищая их от внутренних и внешних угроз; [отстаиваемая им] трактовка роли государства в духе “не лезьте не в свое дело” не имеет прецедентов в русской политической культуре» (р. IX). Это, в свою очередь, превращало члена ЦК в самого настоящего либерала. Увлекаясь в последние годы малыми литературными формами, Ричард Пайпс уже предложил читателям несколько ярких исторических портретов: народовольца и сотрудника охраны Сергея Дегаева, еще одного народовольца, а потом и монархиста Льва Тихомирова, министра народного просвещения графа Сергея Уварова. Но, насколько мне известно, советские персоналии среди героев американского историка прежде отсутствовали. Теперь же галерею пополнил один из самых видных и неоднозначных деятелей перестройки. Разумеется, главным вопросом, интересовавшим автора, стал вопрос о том, откуда в недрах коммунистической системы появлялись подобные люди, в конечном итоге ее ниспровергшие.

Прочитав новую книгу, четкого ответа на это лично я не получил. Исходя из авторского описания, появление Яковлева было абсолютно случайным. В партийном аппаратчике, преданно служившем коммунистическому режиму, ни на каком этапе его жизненного пути нельзя было разглядеть реформатора. И все же он таковым стал, что нельзя не признать бесспорным фактом. Отсюда, собственно, и гипотеза, к которой подводит чтение нового сочинения американского историка. Системы, выпячивающие на первый план личность и пренебрегающие институтами, — а в России при всех режимах политическая система оставалась именно такой — реформируются не закономерным, а случайным образом. Их судьбы зависят от воли конкретных людей, непредсказуемо трансформирующейся. Такое открытие и разочаровывает, и воодушевляет одновременно. Как и любая хроническая диктатура, российская политическая система обваливается и расплзается всякий раз, когда верхушку пирамиды покидает очередной вождь. Это нехорошо, потому что подобный процесс всегда отягощен немалыми издержками как для государства, так и для его граждан. Но с этим же обстоятельством связана и определенная надежда. Реформатор в России может появиться буквально в любой момент — даже тогда, когда его совсем не ждут. Откуда появились Яковлев и Горбачев? Да ниоткуда. Трудно было вообразить себе, что коммунистическая система произведет таких новаторов. Прилагая ту же мысль к современности, уместно спросить себя: а может ли атмосфера современной России родить преобразователей, способных очистить болото нынешнего царствования? На первый взгляд, это почти невероятно; но на второй взгляд, как свидетельствует изучение советской истории, — очень даже возможно. Надеждой на это, собственно, и живем. И тексты Пайпса поддерживают эту надежду.

Андрей Захаров



Контрапункт

Александр Волков,
доктор исторических наук

ЭТО БЫЛО НАВСЕГДА, ПОКА НЕ КОНЧИЛОСЬ*

Заголовок моих размышлений об этой книге просто повторяет ее название, потому что оно мне очень понравилось. Настолько, что не хотелось его испортить, ослабить впечатление от оригинальности, своеобразия и новизны даже самого языка книги, возникающее с первых же слов. Да это, собственно, не очень-то и размышление — хочется просто рассказать о ней, даже пересказать в какой-то мере, чтобы побудить читателей журнала с ней непременно познакомиться лично.

Примечательно, что предисловие к этому труду, по сути, представление книги написал антрополог. Сам этот факт, да и текст предисловия дают возможность понять своеобразие позиции автора книги: он не обществовед, не историк, не политик, не социолог, хотя в какой-то мере — тот и другой и третий, четвертый... Он в моем сознании в качестве автора, исследователя, мыслителя предстает прежде всего просто как *homo sapiens*, то есть человек мыслящий, задумавшийся над поведением таких же, как сам, людей в предложенных обстоятельствах, пытающийся проникнуть в логику этого поведения. А уже из понимания этого он делает выводы о системе общественных отношений, которая его интересует.

Автор книги, по мнению Александра Беляева, написавшего предисловие, «представляет дисциплину социально-культурной антропологии, точнее, подраздел исторической антропологии, но книга выходит за дисциплинарные рамки традиционных антропологических и исторических исследований». В ней предлагается оригинальный подход для исследования того, как в целом развиваются и переживают кризис политические системы. Хотя тематически эта книга являет собой исследование советской системы «позднего социализма» и особенностей «последнего советского поколения», исследовательский подход, который в ней предлагается, «актуален для анализа многих других исторических и культурных контекстов, включая либеральные общества Запада, государства постколониального мира и государства постсоветского пространства. А в более широком философском и методологическом смысле книга представляет собой попытку критически

*Алексей Юрчак. *Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение.* — Пер. с англ. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. — 604 с.

переосмыслить многие эпистемологические парадигмы, которые сегодня доминируют в социальных науках».

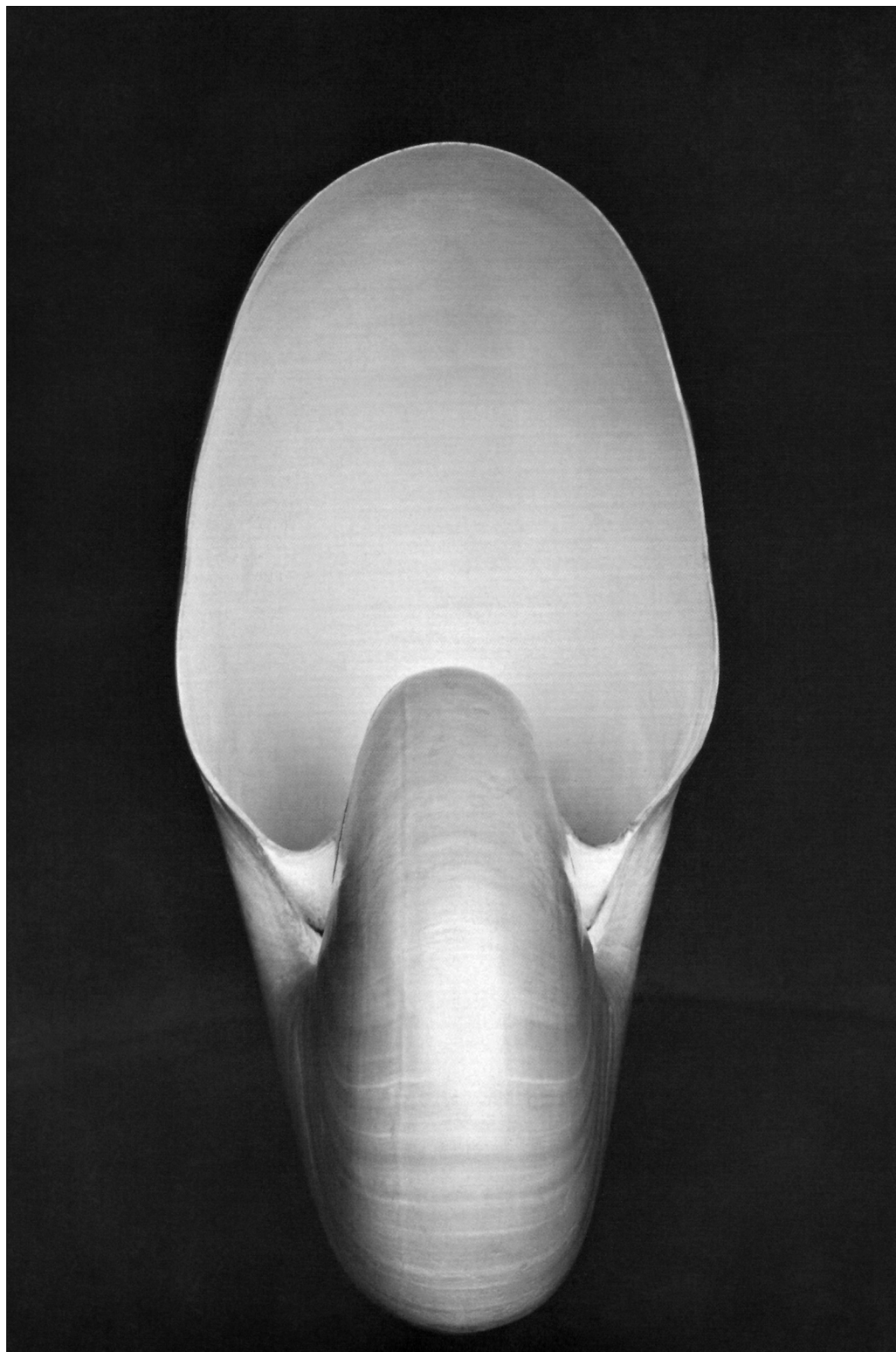
Думается, что подход, предложенный в книге Юрчака, более чем пригоден для понимания не только советского прошлого, но и постсоветского настоящего, сегодняшнего общества, а, возможно, в чем-то и будущего России. Мне эта книга помогла понять прежде всего самого себя, настоящего и прошлого, жившего в том «позднем социализме». Не оправдать в чем-то, а именно понять собственное отношение к тому, что происходило, да и происходит в моих отношениях с обществом и государством. Потому и пишу этот текст, рассчитывая не только на ученых, многие из которых, наверное, эту книгу уже читали, не только на политиков, которым она окажется очень полезной, но и на «нормальных людей», на любого читателя, который задумывается о собственном существовании в окружающем мире, о высоких смыслах своих действий. Поэтому не пытаюсь охватить все темы и подтемы, ветви размышлений автора, профессора Калифорнийского университета Алексея Юрчака, которыми чрезвычайно богата книга, не стремлюсь что-то оценивать, рецензировать — только о том, что самого меня особенно впечатлило.

«...Никому не приходило в голову, что в этой стране вообще что-то может измениться. Об этом ни взрослые, ни дети не думали. Была абсолютная уверенность, что так мы будем жить вечно». Это слова известного музыканта и поэта Андрея Макаревича из телевизионного интервью 1994 года. С них Алексей Юрчак начинает свое рассуждение. В первые постсоветские годы, продолжает он, многие бывшие советские граждане вспоминали свое недавнее ощущение доперестроечной жизни схожим образом. Тогда советская система казалась им вечной и неизменной, а быстрый ее обвал оказался для большинства неожиданностью. Вместе с тем многие вспоминали и другое примечательное ощущение тех лет: несмотря на полную неожиданность коллапса, они странным образом оказались к этому событию готовы. В смешанных ощущениях граждан проявился удивительный парадокс советской системы: хотя в советский период ее скорый конец представить было практически невозможно, когда это событие все же произошло, оно довольно быстро стало восприниматься как нечто вполне естественное и даже неизбежное.

Чем же объясняется это странное сочетание — согласия граждан жить в том вечном государстве, восприятие его как естественного и приемлемого устройства жизни, с неожиданным спокойным, если даже не одобрительным восприятием его краха?

Начну с того, что привлекло мое особое внимание и в чем-то совпало с собственными мыслями, изложенными, в частности, в моей статье в журнале «Общая тетрадь»*. Одним из мотивов написания книги Алексеем Юрчаком стало желание оспорить некоторые проблематичные постулаты о

*Александр Волков. *Откуда и куда идем?* // *Общая тетрадь*, 2015, № 23 (68), с. 106.



Эдвард Уэстон. Наутилус. 1927

природе советского социализма, часто используемые в академических и журналистских текстах как на Западе, так и в России. Будто бы большинство советских людей воспринимало идеи социализма и советскую систему не только как ошибочные, но и как безнравственные. Крушение тем и было будто бы предопределено. Доказательством этого служит, например, широко распространенное словосочетание «советский режим», которое используется для характеристики советского государства и общественного строя, а это предполагает постоянное государственное насилие. Для описания советской действительности широко применяются бинарные оппозиции, такие как *подавление — сопротивление, свобода — несвобода, официальная культура — контркультура, конформизм — нонконформизм* и т.д. С начала 1990-х годов эта терминология активно использовалась в России и других странах бывшего Советского Союза и Восточной Европы для описания социалистического прошлого. В этом контексте *Homo Sovieticus* не мог быть ничем иным, кроме как рупором партийных идей и лозунгов. А единственным советским субъектом, способным иметь собственный голос, оказывался нонконформист-диссидент, который занимался тем, что «противопоставлял реальные факты официальной фальши», делая это, как пишет политолог Джон Янг, в общении «за закрытыми дверями с такими же разочарованными друзьями и передавая из рук в руки неразрешенные рукописи или кассетные звукозаписи».

В основе такого подхода лежит невероятно упрощенная *бинарная* модель общества. Автор книги последовательно и дотошно, опираясь на огромный статистический материал, на безмерное множество документов, собственных бесед с людьми, интервью с представителями различных слоев населения, показывает несостоятельность такого черно-белого изображения действительности.

Безответственно было бы отрицать, пишет Алексей Юрчак, что советская система причинила массу страданий миллионам людей, что она подавляла личность и ограничивала свободы. «Однако, если мы сведем анализ реально существующего социализма к анализу подавляющей стороны государства, нам не удастся разобраться в вопросах, сформулированных в начале книги. Проблема в том, что в моделях социализма, основанных на бинарных оппозициях и делающих упор на подавляющей стороне системы, теряется один крайне важный и, казалось бы, парадоксальный факт: значительное число советских граждан в доперестроечные годы воспринимало многие реалии повседневной социалистической жизни (образование, работу, дружбу, круг знакомых, относительную неважность материальной стороны жизни, заботу о будущем и других людях, бескорыстие, равенство) как важные и реальные ценности советской жизни, несмотря на то что в повседневной жизни они подчас нарушали, видоизменяли или попросту игнорировали многие нормы и правила, установленные социалистическим государством и Коммунистической партией. Простые советские граждане активно наполняли свое существование новыми, творческими, позитивными, неожиданными и не продиктованными сверху смыслами — иногда делая это в полном соответствии с провозглашенными задачами государства, иногда вопреки им, а иногда в форме, которая не

укладывается в бинарную схему за — против. Эти положительные, творческие, этические стороны жизни были такой же органичной частью социалистической реальности, как и ощущение отчуждения и бессмысленности».

Алексей Юрчак в ходе своего анализа обращается к самым разным слоям, группам, общественным объединениям граждан, демонстрируя, как исследователи подчас некритически пользуются аналитическими понятиями, сформированными при рассмотрении совсем иных политических и социальных контекстов. В результате, например, при описании деятельности «комсомольских работников» автоматически используются такие понятия, как «приспособленчество» и «конформизм», а при описании деятельности неформальных «рок-музыкантов», напротив, такие понятия, как «нонконформизм» и «сопротивление». Это упрощает или искажает реальную картину сложного советского общества.

В отличие от этих подходов, замечает Александр Беляев, автор книги не стремится загнать реальные социально-исторические явления в заведомо известные аналитические рамки. Вместо этого он описывает новую, ранее не описанную историю — например, о том, как в позднесоветский период в идеологическом языке партии протекали процессы «гипернормализации» и «перформативного сдвига», или о том, как в советском обществе сформировались особые социальные пространства — сообщества и «публики своих», как в нем возникло необычное явление «воображаемого Запада» и появился особый вид взаимоотношения субъекта и государства — «состояние внеаходимости», то есть исключенности из официального дискурса, и т.д. Это не вписывается в систему традиционных понятий, которые доминируют в социально-политических исследованиях социализма.

Поскольку сам язык предлагаемого нам исследования отличается от привычной терминологии, каждое новое понятие требует подробного описания, разъяснения для читателя, тем более российского. Это одна из причин, почему автору не удалось просто перевести свою книгу с английского языка на русский, как он вначале предполагал. Пришлось совершенно заново написать ее на русском языке, учитывая и особенности нашего восприятия текста и в значительной мере — уже высказанные по английскому тексту замечания и возражения критиков, что обогатило и сделало более убедительным ее текст. У меня нет возможности описать все особенности понятийного аппарата автора, но кое-что все же необходимо хоть коротко рассмотреть.

Автор постоянно использует понятие «авторитетное слово», или «авторитетный дискурс», предложенное нашим выдающимся философом и культурологом Михаилом Бахтиным (1895–1975). Этот дискурс занимает особое положение в дискурсивном режиме той или иной эпохи. Он организован вокруг некой внешней, не поддающейся сомнению идеи-абсолюта или догмы (религиозной, политической, научной) и поэтому обладает особыми свойствами. Он кодируется в специфической форме (особым языком или шрифтом) и поэтому резко отличается по форме от всех других видов дискурса, которые с ним сосуществуют. Все другие виды дискурса вторич-

ны по отношению к нему — они могут существовать только при условии, что имеется это авторитетное слово. На него должны постоянно ссылаться, цитировать его и т.д., но при этом невозможно критиковать его, вмешиваться в него или ставить под сомнение. Власть авторитетного дискурса над аудиторией заключается не в том, что она с ним непременно соглашается, а в том, что воспринимает его как единственно возможный, обязательный.

Но ведь «авторитетное слово» не остается неизменным! В идеологической структуре социалистического государства содержался внутренний парадокс, который французский политический философ Клод Лефор назвал общим парадоксом идеологии современного государства, а Алексей Юрчак называет *парадоксом Лефора*. Этот парадокс заключается в том, что между идеологическим дискурсом современного государства и его идеологической практикой существует неизбежный разрыв. Возникает противоречие между использованием некой объективной истины в качестве основы легитимности государственного правления и невозможностью доказать средствами государственной идеологии, почему эта истина действительно верна. Особенно — в применении к каждому данному периоду жизни общества. Этот парадокс в структуре любой современной государственной идеологии, говорит Лефор, делает ее заведомо неустойчивой. В какой-то момент он может привести к кризису идеологии, а значит, и кризису легитимности государственного правления, которое на этой идеологии базируется.

По мере развития советского общества в силу ряда причин, описанных автором, авторитетное слово приобретало черты догматического языка, все больше отрываясь от реальной действительности. Углублялось расхождение между идеологией и практикой, формой и содержанием, что создавало определенный простор для интерпретаций канонических и актуальных коммунистических установок, а следовательно, для многообразия в понимании необходимых действий.

Например, в 1981 году «Правда» в очередной раз известила трудящихся о том, что многомиллионная первомайская демонстрация в Москве «убедительно продемонстрировала нерушимый союз партии и народа...». Однако на практике большинство участников демонстрации не особенно вникали в буквальный смысл лозунгов и призывов. Не знали они и имен большинства членов и кандидатов в члены политбюро (разве что знали нескольких первых руководителей), портреты которых были изображены на огромных стендах, пlyingших над колоннами демонстрантов. Буквальный смысл всех этих высказываний авторитетного дискурса был теперь не столь важен (что, однако, не означает, что эти высказывания превратились в пустые и бессмысленные символы).

Советские граждане принимали участие и в других политических ритуалах государства — например, в различных выборах в местные и центральные органы власти. Там и тут всегда был лишь один официальный кандидат, который всегда получал почти стопроцентную поддержку избирателей. Всеобщее участие в выборах и полная поддержка кандидатов могли бы считаться проявлением полного согласия населения с политикой партии и пра-

вительства. И в каком-то смысле так оно и было. Однако множеству граждан, принимавших участие в выборах, в общем-то стало неважно, за кого именно они голосуют. Иным даже имя кандидата было незнакомо, а не пойти на выборы как-то неловко, перед кем-то потом еще и нужно будет оправдываться. Легче привычно и для всех понятно «выполнить свой гражданский долг».

Короче говоря, исполнение, а равно и неисполнение подобных ритуалов мало что значило, а советское общество не состояло из двух лишь категорий граждан — коммунистов и диссидентов. В огромном большинстве это были «нормальные люди».

«Нормальный» советский человек не был ни активистом, ни диссидентом. Он участвовал в формировании и воспроизводстве официального идеологического дискурса, но делал это в основном на уровне *формы* высказываний, одновременно наделяя их новыми, неожиданными *смыслами*. В результате такого отношения к высказываниям и ритуалам советской системы «нормальный человек» создавал новые пространства свободного действия, которые официальный дискурс системы не в состоянии описать и которых система не ожидает, поскольку они не совпадают с ее дискурсом, но и не находятся в оппозиции к нему. Как показано в книге, эти особые пространства свободы — автор называет их пространствами *внеаходимости* — могут появляться в самых разных контекстах. Автор рассказывает о мыслях и чувствах людей, с которыми беседовал — в кочегарке и кабинете комитета комсомола, в квартире друзей и в лаборатории ученых-физиков. Они ему поведали, как, привычно соблюдая некие сложившиеся правила, делали свое дело, интересное им и полезное для других людей, для общества, для страны, привычно не испытывая от этого никакого дискомфорта.

Вспоминаю в этой связи свою и двоих своих друзей-единомышленников работу в «Правде». Казалось бы, самая что ни на есть партийная газета, работавшая под самой жесткой опекой ЦК КПСС, «самое острое оружие нашей партии», идеологическая тяжелая артиллерия. Но мы пришли туда работать совсем не ради пропаганды идеологии. Мы были единомышленниками в борьбе за экономические реформы в существующем обществе, за товарно-денежные отношения, как говорили тогда, что было эвфемизмом, заменявшим «капиталистическое» слово «рынок». Тираж «Правды» подходил тогда к 10 млн экземпляров, она была очень влиятельной газетой. Напечатать в ней статью со смелой мыслью, «протащить» хоть одну нетривиальную формулировку означало серьезно воздействовать на умы людей, в том числе на тех, что принимают решения. Вот мы и шли в «Правду», чтобы влиять! Мы вступили тогда в конфликт даже с двумя отделами ЦК КПСС (это отражено в двух интересных документах, опубликованных в книге «Пресса в обществе (1959–2000)»), все трое печатались, опираясь на правдинские статьи, одновременно и в популярном среди интеллигенции журнале «Новый мир». Когда же ситуация резко изменилась (это произошло после ввода в 1968 году союзнических войск в Чехословакию), просто ушли из газеты в научно-исследовательский институт. То есть мы не были ни конформистами, ни диссидентами, а просто использовали реальные условия для решения задач, казавшихся нам жизненно важными.

Из множества новых понятий, которые использует автор книги, интересно и важно понятие «перформативный сдвиг». Алексей Юрчак различает в заявлениях авторитарного дискурса констатирующую и перформативную составляющие. Первая — это просто описание фактов, реальности, вторая — преобразующая эту реальность. Скажем, судья произносит приговор: «Виновен!» Именно в этот момент подсудимый становится для всего общества преступником, что изменяет его социальный статус и в какой-то мере его окружение. Подобное перформативное воздействие слова на реальность социалистического общества во многом меняло его сущность и образ. В контексте позднего социализма доминировало, как объясняет сам автор, воспроизводство нормы идеологического высказывания, ритуала или символа в первую очередь на уровне их *формы*, при этом их смысл смещался, становясь отличным от буквально «заявленного». Этот принцип описан в книге как «перформативный сдвиг».

Сегодня кажется, замечает автор, что этот принцип вновь стал широко практиковаться в функционировании государственных институтов, дискурсов и СМИ, во взаимоотношении государства и граждан. Все чаще крайне важной является необходимость воспроизводства именно *формы* закона, высказывания, ритуала, официальной практики, при этом их *смысл* в конкретном контексте меняется до неузнаваемости. Например, как показывает множество судебных процессов последних лет, особенно процессов с политической подоплекой, российскому суду сегодня намного важнее воспроизводить именно *форму* закона (на уровне точности официальных формулировок, процедурной стороны делопроизводства, ритуальных действий в зале суда), но не буквальный смысл, который в законе вроде бы должен присутствовать. В результате процесс расследования и судебный вердикт может строго следовать форме закона, но иметь мало отношения к его буквальному смыслу.

Другое интересное понятие — упомянутое выше — «внезаходимость». Суть его — в частичном смещении человеческого существования словно в иное измерение — это способность субъекта, находясь внутри системы и функционируя как ее часть, одновременно находиться и действовать за ее пределами, в ином месте. Автор приводит в пример Иосифа Бродского, который строил свое существование на неинформированности о неких реальных фактах и высказываниях, тех, что были ему неинтересны. Та «невовлеченность» в общественные дела, о которой говорит Юрчак, не была разновидностью аполитичности, апатии, ухода в себя. Она подразумевала не только «несопротивление» фактам и высказываниям системы, но их полное принятие, однако принятие на уровне формы при неинформированности об их буквальном смысле. Многие люди делали некое любимое дело, как бы игнорируя обстоятельства, которые не мешали им это делать, не будучи протестантами, диссидентами. Они считали разумнее и интереснее использовать возможности, которые открывались в результате формального воспроизводства авторитетных символов. Это давало им возможность надевать свое существование теми смыслами, которые система была не в состоянии контролировать.

Сегодня все шире нашими гражданами практикуются способы устройства своей жизни одновременно «внутри и за пределами» государственной

системы. Это может проявляться в разных формах — в дистанцировании субъекта и целых социальных сред как от политического дискурса государства, так и от политической активности оппозиции, в нежелании смотреть государственные телевизионные каналы, причем независимо от «политической» ориентации конкретного человека (это практикуется и государственными чиновниками, и людьми, воспринимающими себя как часть «оппозиции», и теми, кто ни к первой, ни ко второй группе себя не относит). Такое поведение у нас называют еще «внутренней эмиграцией». И множество людей в такой двойственной позиции существовало и существует. Беда наступает только тогда, когда действующие в государственной системе власти сторонники бинарного восприятия реальной действительности начинают искать в этой сфере «внезаходности» любимую ими «пятую колонну».

Так, в книге Алексея Юрчака подробно исследуется, как советские люди постепенно и незаметно выходили из-под влияния идеологием и нормативных установок партийно-государственной системы, создавали смыслы, языки, образы жизни, системе неподконтрольные, отчего в конце концов от системы осталась только оболочка из омертвевших догм, а поставленный во время перестройки вопрос «Зачем они вообще нужны, какое отношение имеют к реальной жизни?» уничтожил и эту иллюзорную скрепу. По мнению автора, именно перемены в общественном сознании, его созревание, а не какие-либо внешние воздействия, не заговор коварного Запада, не цены на нефть, о которых мы так любим говорить, привели к разрушению советского государства и трансформации общества. Они, эти общественные процессы, действуют и в новых условиях, в сегодняшней жизни...

Затевая свои размышления о книге Юрчака, я сознательно не прочел ни одной рецензии на эту книгу. Сделав это по завершении своего труда, убедился, что многим книга понравилась, но некоторые авторы высказывают и бездну претензий к ней. Что ж, с чем-то можно согласиться, а с чем-то нет. Сам я посмеялся над тем, что в газете «Правда» передовые статьи будто бы писались коллективно и главным образом сотрудниками ЦК КПСС. Но это мелочь. А несогласие с тем, что распад Советского Союза, по мнению автора, не был неизбежным, или упрек автору в отсутствии упоминания о низкой цене на нефть как одной из причин крушения державы заставляют стать на защиту позиции Алексея Юрчака. Одно из основных его достоинств в том, что он описал, как советские люди обустроили для жизни множество локальных миров, ничуть не похожих на тот, о котором рассказывают в телевизионных программах, как советский режим обзавелся (с изнанки и незаметно для самого себя) множеством вполне симпатичных человеческих лиц. Таким образом, автор раскрыл некие чрезвычайно важные механизмы современного функционирования, развития и трансформации политической системы.

Бабочка на стекле, или Похороны факта



*Денис Драгунский,
журналист, писатель*

Мне уже не раз приходилось слышать эту историю. Маленький мальчик приехал на дачу. Сидит он в комнате на подоконнике, и вдруг на стекло с наружной стороны садится бабочка. Мальчик хочет рассмотреть ее получше — прикладывает к стеклу два пальчика, раздвигает их и удивляется, что бабочка не увеличивается, как на экране айфона или айпада.

История забавная, невинно-милая, но вместе с тем ужасающая.

Она не о том, что весь мир теперь в гаджетах, все кругом такое цифровое и т.п. Она о том, что современные дети — да и взрослые тоже — потихоньку перестают отличать реальный мир от виртуального. Вещь — от ее изображения. Актера — от роли. В общем, факт — от вымысла.

Факту не повезло. Факт — это одно из самых недолговечных изобретений человеческой мысли.

Хотя, разумеется, и слово, и понятие «факт», как и «фикция», существовало с древних времен. Есть два латинских глагола: *facio* — «делать» (в самом широком смысле) и *fungo* — «выделывать, вылепливать», происходящие от индоевропейских корней, первый из которых означает «устанавливать», второй — «лепить из глины».

Возможно, в некую уж совсем древнюю, «допраиндоевропейскую» эпоху это был один корень с неким весьма обобщенным значением «делания-устанавливания». Так или иначе, в латинском языке оба глагола применялись при обозначении изготовления вещей, но с существенной разницей: делать из металла — *facio*, делать из глины — *fungo*. Хрупкость глиняного изделия обусловила развитие значений этих слов: *fungo* стало обозначать «выдумывать, сочинять (небылицы)», в то время как *facio* означало делание всерьез.

То есть *factum* (факт) и *factum* (фикцию) различали — вернее, старались различать. Потому что наряду со словом *factus* («сделанный», то есть вещественный, реальный) было и *facticius* («сделанный», но искусственный;

так сказать, сфабрикованный). Но самое главное — все это различие происходило на уровне здравого смысла, повседневной речевой практики. Так говорят, так все считают — значит, так оно и есть.

Что же касается факта как научной категории, то у него история куда более короткая — всего около 300 лет.

Торжество факта (проверенного, подтвержденного), который противопоставлен фантазии, началось с Фрэнсиса Бэкона, с его рассуждений о «призраках», туманящих человеческий разум, и, разумеется, с сенсационной книги «Предупреждение судьям» (1631). Автором ее был иезуит Фридрих Шпее фон Лангенфельд, незаурядный поэт и, как оказалось, выдающаяся фигура в развитии европейской мысли и вообще миропонимания.

Шпее был назначен духовником и последним исповедником тех, кого инквизиция приговаривала к смерти за колдовство.

Выслушав исповеди двухсот «ведьм», он пришел к потрясшему его выводу: никаких ведьм на самом деле нет, а все полеты на метле и совокупления с дьяволом — это самооговоры несчастных женщин, сделанные под пытками и под диктовку палачей. То есть это не только страшные сказки, но и порочные фантазии самих инквизиторов.

Рассказывают также, что страх таких оговоров сам Шпее испытал в молодости: некий старый инквизитор, желая подшутить над ним, привел его на допрос «ведьмы», и эта женщина по наводящим вопросам инквизитора тут же опознала в молодом священнике черта, с которым она летала на шабаш...

Кстати, недаром знаменитый принцип Томаса, сформулированный в 1928 году («если люди определяют ситуации как реальные, то они реальны по своим последствиям»), иллюстрируется именно судами над ведьмами: если мы верим в выдумки о ведьмах, мы реально сжигаем на костре реальных женщин.

Это относится к любым социальным, культурным и этническим фобиям: вера в мифы о чьей-то злокозности ведет к реальным погромам.

После публикации книги Шпее «колдовские процессы» в Европе пошла на убыль. Но эта книга стала не только гуманитарным, но и неким умственным рубежом; можно предположить, что до этих пор в обществе не было строгого разграничения факта и фантазии или оно существовало на периферии общественного сознания.

Торжество факта как некоего своеобразного «социально-мыслительного института» и даже фетиша, идущее далее через энциклопедистов к позитивистам, было поколеблено на рубеже XIX–XX веков глубинной психологией. Психоанализ убедительно продемонстрировал, что фантазийный внутренний мир как регулятор поведения не менее «фактичен», чем достоверные факты реальности.

Наконец, в 1935 году львовский микробиолог и историк науки Людвик Флек в своей книге «Возникновение и развитие научного факта» доказал, что пресловутый «объективный факт» есть не столько предмет исследования ученых, сколько продукт деятельности научного коллектива.

Каковы задачи, каков уровень развития науки, какова технологическая вооруженность, таков и факт.

Прекрасно помню свои чувства при чтении книги Флека. Это книга огромного обаяния, если так можно сказать о научном тексте. Обаяние здесь не только интеллектуальное, но и ценностное и даже эмоциональное: явственно ощущаешь, как подрагивают казавшиеся незыблемыми опоры объективности, реальности и фактичности собственного опыта.

Однако до конца XX века все эти проблемы были уделом сравнительно небольшой группы философов и науковедов.



Пауль Клее. Театр комедии. 1921

Но те же самые философы в обыденной жизни вели себя как нормальные люди, не теряя критериев реальности — ни в политике, ни в быту. Ибо, как ни рассуждай о проекциях, фантазмах и динамике факта, бушующий огонь, мчащийся паровоз и оголтелый диктатор не перестают быть опасными для жизни.

Окончательный и массовый перевод факта из реального мира в виртуальный стал возможен только в средах Интернета, хотя почву для этого подготовило телевидение. «Неверно, что ТВ показывает новости. Наоборот, новости — это то, что показывает ТВ. Неверно, что рейтинг политика отражает его популярность. Наоборот, популярность политика формируется его рейтингом». А уж что показывают и как делают рейтинги — потребителю информации это не докладывают.

Впрочем, таково следствие из упомянутого выше закона Томаса, сформулированного самим автором, замечательным

социологом прошлого века: «Если люди считают кого-то великим — значит, он великий».

Конечно, нас коробит от политтехнологического цинизма телевизионной эпохи, однако в Интернете дело обстоит еще радикальнее.

Впрочем, это очень старый разговор.

«Достовернее ли стала история, с тех пор как размножились ее источники? — иронически спрашивал Гончаров в своем «Фрегате «Паллада» (1862). Этот вопрос за десять лет до того задал знаменитый граф Уваров: «Конечно, источники истории со времени открытия книгопечатания размножились до бесконечности, критика сделалась настойчива и искусна, факты записываются тщательно до мелочей, но надежнее ли оттого их достоверность? Это положение вещей благоприятнее ли для разыскания истины?» (журнал «Современник», 1851, № 1).

Современность дает ответ определенный и резкий: нет!

К текстам и визуальным образам Интернета в принципе неприменим критерий истины или вымысла: само размещение в Интернете погружает предмет в воронку виртуальной реальности. В этой воронке чудовищным вихрем крутятся сведения и факты, сцепляясь и выстраиваясь в цепочки, которые распадаются так же быстро, как и возникают, и задача пользователя — решить, что с этим водоворотом делать, как его оценивать.

На любой аргумент, на любой линк можно дать огромное множество контраргументов и линков.

Канадский теоретик медиа Маршалл Маклюэн писал о «мировой деревне», в которой живет человечество с того времени, как телевидение стало главным СМИ. Но тогда, в 1960-е годы, это была еще только метафора.

Сейчас, с появлением социальных сетей, значительная часть человечества превратилась в глобальную завалинку, во всемирную скамеечку у подъезда. Люди, упоенно и навязчиво водящие пальцами по экранам своих смартфонов и планшетов, — это размножившиеся до стомиллионных, а то и миллиардных чисел суевверные бабульки, верящие во все для забавы и ни во что не верящие серьезно.

Парадоксальным образом высокие технологии возвращают людей в умственную древность. В античность поздних веков, в эпоху конкурирующих культов и хрупких империй. В эпоху утонченной философии и столь же утонченного распутства, в эпоху жестоких деспотов и капризных толп народа, требующего хлеба и зрелищ. Говоря по-нашему — торгово-развлекательных центров.

Инстанция власти, диктующей единую и бесспорную истину, разрушена. Зато власть может легко управлять социальными сетями, вторгаясь в них и распростра-

няя все новые и новые мифы — которые, как мы помним, могут иметь совершенно реальные, в том числе очень опасные, последствия.

Но упоение реальностью мифа позволяет о последствиях забыть или, хуже того, вписать их в миф. Это легко получается, когда дело идет о чужой крови.

Человек, упоенный сталинским, например, мифом, считает репрессии необходимыми, но никогда не примеряет их к себе. В своих фантазиях он — генерал МГБ.

Маленький мальчик пытается увеличить живую бабочку, водя пальчиками по стеклу.

Мальчики побольше играют в компьютерную игру, часами, сутками, месяцами только и делая, что убивая десятки, сотни, тысячи игрушечных врагов.

При виде ДТП или кровавой драки люди выдергивают из карманов смартфоны, чтоб заснять такой прикольный сюжет.

Дикторы телевидения говорят: «В результате ракетного удара ликвидировано не менее тысячи боевиков».

Видят ли они разницу между живыми людьми и картинками на экране? Не знаю. Взрослые мужчины и женщины на вопросы «Откуда вы знаете? Почему вы так считаете?» отвечают: «По телевизору сказали. В Интернете было». Чувствуют ли они разницу между фактом и вымыслом? Не уверен, что они задумываются над этим.

Легче всего сказать: всё! Факт умер, факт похоронен. Отплакали, отгоревали и дальше пошли — учиться жить в мире больших государственных мифов, маленьких личных фантазий и веселых пропагандистских песенок.

Не надо.

Манекены бывают очень красивыми. *Красивее, чем в жизни.* Но на них не жеваться.

От горожанина к гражданину: долгий путь к «гражданству»



Максим Трудолобов,
журналист

В русском языке есть слова, которые очевидно похожи между собой, но очевидно же и различаются, выполняя разные задачи. Это, например, «волость» и «власть», «золото» и «злато», «горожанин» и «гражданин». Слова из таких пар иногда имеют значения пересекающиеся, а иногда совсем далекие. Волость и власть разошлись совсем, а золото и злато — не так далеко.

В парах такого рода первое слово обычно исконно русское, а второе заимствованное из церковнославянского языка. Родившиеся в греческом городе Фессалоники (или Салоники) просветители Кирилл и Мефодий перевели в IX веке богослужебные книги с родного для них греческого на язык обосновавшихся к тому времени (с VI–VII вв.) в их городе и его довольно отдаленных окрестностях славян. По мере распространения христианства этот язык и славянская азбука пришли на Русь вместе с церковной службой и переводными книгами. С тех времен разговорный и книжный языки в нашей культуре различались. В парах слов, о которых мы говорим, первое слово (например, «волость» или «горожанин») каждый говоривший на русском языке знал с детства как бытовое слово, а второе («власть» или «гражданин») — мог услышать во время богослужения или встретить при чтении или переписывании книг. Первое слово было обычное разговорное, а второе — для особых случаев.

Разговорное и книжное слова изначально, как правило, имели одно и то же значение, но по мере развития языка и накопления литературного багажа, функции их расходились. За первыми часто закреплялись общеупотребительные, конкретные и бытовые значения, а вторые все чаще использовались (помимо богослужения) в абстрактных рассуждениях, высокой риторике и поэзии. «Золото» — это металл, элемент из таблицы Менделеева, а «злато» — то, над чем чахнет Кощей, поэтически окрашенное недоброе богатство. «Волость» — административная единица, а «власть» — чуть ли не самый важный политический термин в русском языке. Так и с горожанином — гражда-

нином: городским бывает романс, а гражданской — поэзия; «горожанин» — просто житель города, а «гражданин» — что-то высокое и не очень понятное.

Размежевание значений этих слов было долгим. Историк Павел Лукин на примерах из русской письменности XI–XIV веков показывает, что в оригинальных русских текстах слова «горожанин» и «гражданин» значили «житель города». А вот в переводных текстах появляется другое значение. Например, в отрывке из переведенного на древнерусский язык не позднее XIII века византийского сборника поучительных изречений из святынь книг, а также мудрецов античности («Пчела»): «Ти гради добръ стоять, въ нихъ же гражане князя слушаютъ, а князь закона» (То государство хорошо управляется, чьи граждане подчиняются правителю, а правитель — законам). Похожим образом слово «гражданин» («гражданин») употребляется в других переводных памятниках, например в древнерусском тексте «Иудейской войны» Иосифа Флавия. Иногда и в переводах слово «гражданин» значит «горожанин», и наоборот, в оригинальные тексты могло проникать значение «гражданин», но все-таки размежевание двух значений на «родное» и «переводное» выявляется хорошо. Понятие «гражданин» было, таким образом, импортированным в русский язык. «Полисная, гражданская терминология оставалась чуждой живому древнерусскому языку, — пишет Лукин. — В живом древнерусском языке отсутствовали понятия, соответствующие греческим понятиям *πόλις* и *πολίταις*». Не случайно, между прочим, сторонники «полисной» теории древнерусского общественного строя вынуждены подыскивать для обозначения древнерусских «граждан» понятия, либо имевшие очень общее значение («люди»), либо вообще не существовавшие в реальном языке.

Размежевание церковнославянского языка и разговорных употреблений различных

слов продолжается все последующее время. И, вероятно, к XVIII веку за словом «гражданин» окончательно закрепляется то особенное значение, не «городское», а «государственное», которое близко нынешнему. Этим языковым изменениям сопутствовали и изменения в осмыслении источников государственной власти. В России, как и в Европе, идут поиски рациональных оснований человеческого общежития. К началу XVIII века идея русского государства из преимущественно религиозной становится преимущественно светской. В те времена это, конечно, все еще монархическая идея, но в ее основе уже не мистическое перемещение центра православного мира из Рима в Константинополь, а затем в Москву («Третий Рим»), а — естественный закон и общественное согласие.

При Петре I появляются выражения «добро общее» и «государственный интерес». «Петру принадлежит важная заслуга первой попытки дать своей бесформенной и беспредельной власти нравственно-политическое определение, — писал Ключевский. — Настойчиво твердя в своих указах о государственном интересе как о высшей и безусловной норме государственного порядка, он даже ставил государя в подчиненное отношение к государству как верховному носителю права и блюстителю общего блага». В трактате Феофана Прокоповича «Правда воли монаршей во определении наследника державы своей» русский исследователь Александр Лаппо-Данилевский усматривал влияние идеи договора, восходящей к Томасу Гоббсу. «Наследная монархия имеет начало от первого в сем или оном народе согласия, — пишет Феофан. — ... При учреждении наследной монархии народ “воли общей своей совлекается” и отдает ее монарху своему для того, чтобы он владел им к общей пользе, причем обязуется “единожды воли своей совлекшись”, никогда не употреблять ее и повиноваться монарху и его наследникам».



Барбара Хепворт. Струнная фигура. 1956

В 1726 году появляется переведенная по настоянию Петра I книга немецкого просветителя и правоведа Самуила Пуфендорфа «Об обязанностях человека и гражданина» (в русском переводе XVIII века — «О должности человека и гражданина по закону естественному»). Пуфендорф, писавший в XVII веке, категорически отрицал право гражданина на индивидуальное неповиновение, а идея представительства интересов в республиканском духе раннему немецкому Просвещению не была свойственна.

В оде «Должности общежития» поэта Василия Петрова (1736–1799), переложенной с французского стихотворения Антуана Леонара Тома, гражданин — это, как и в переводе Пуфендорфа, «должность» (то есть в современном русском значении «обязанность»). «Любезна должность гражданина / Забвенна ныне у

людей!» А в книге Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» слово «гражданин» обретает тот противоречивый смысл, который нам хорошо известен: «Трудно становится исполнение должности человека и гражданина, ибо нередко они находятя в совершенной противоположности». Это характерное для русской культуры значение нам знакомо также благодаря поэзии Кондратия Рылева, Николая Некрасова и даже Евгения Евтушенко («Поэт в России — больше, чем поэт. В ней суждено поэтами рождаться лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства, кому уюта нет, покоя нет»). Понятие «гражданин» остается поныне скорее публицистическим и поэтическим, чем юридически оформленным статусом человека, наделенного правами и обязанностями и активно пользующегося этим состоянием.

CONTENTS
№ 1–2 (70) 2016

TO OUR READER

Protection of Human Rights as the Art of the Impossible <i>Mikhail Fedotov</i>	5
---	---

THEME OF THE ISSUE

Civic Enlightenment — To a Society of Citizens <i>Yuri Senokosov</i>	8
The Law and Enlightenment <i>Arsenii Roguinskii</i>	16

CHALLENGES AND THREATS

Players Retire <i>Jürgen Habermas</i>	21
--	----

WAR AND PEACE

Do Russians Want War? <i>Andrei Kolesnikov</i>	30
---	----

RUSSIA AND EUROPE

A Legal Dialogue, the Morality and the Hardships of Translation <i>Elena Lukyanova</i>	41
Why Russia is (non)Europe <i>Vassilii Zharkov</i>	46

A VIEWPOINT

Russian Society: Feelings and Expectations <i>Alexei Makarkin</i>	59
Russian Society: Values and Actions <i>Ella Paneyakh</i>	69

HISTORY TEACHES

Thomas Hobbes and the Taming of Leviathan <i>Andrei Zakharov</i>	78
The Universal Values <i>Leon Conrad</i>	88

CIVIL SOCIETY

- Civic Education in the Varying Context of Human History
Alexander Sogomonov 102

DISCUSSION

- Conflict of Worldviews: An Attempt of Irrational Explanation
Ivan Ninenko 129
- On Irrational Explanation
Rodion Garshin 136

HORIZONS OF UNDERSTANDING

- Institutes and Democracy in the Modern World:
 Brazil — From Success to Failure
Tatiana Vorozheikina 144

ANNOUNCEMENT

- What Next? Surviving the Twenty-First Century
Chris Patten 162

BOOKS

- A Repentant Communist
Andrei Zakharov 172
- Counterpoint
Alexander Volkov 174

NOTA BENE

- Butterfly on the Glass, or Funerals of the Fact
Denis Dragunskii 183
- From Town Dweller to Citizen: A Long Path to “Citizenship”
Maxim Trudolyubov 187

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Главная тема:

СВОБОДА И ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

Наши авторы:

Герхарт Баум

Лев Гудков

Андрей Захаров

Алексей Кара-Мурза

Джон Ллойд

Алекей Макаркин

Владимир Рыжков

Мария Снеговая

Зилке Темпель

Сергей Тереценков

Максим Трудолобов

Йошка Фишер

Екатерина Шульман

Николай Эпле

Александр Эткинд

Подписано в печать 11.10.2016.

Формат 70×108/16.

Усл.-печ. л. 12.

Тираж 500 экз.

Заказ №

Школа гражданского просвещения

127006 Москва,

Старопименовский пер., д. 11/6, строение 1

<http://www.civiceducation.ru>

ISBN 978-5-91734-107-5